Новый Журнал

69

THE NEW REVIEW

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, July 2, 1946 and June 11, 1960 (74 Stat. 208) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1960.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 25, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must by stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required by the act of June 11, 1960 to be included in all statements regardless of frequency of issue). 1117.

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 28th day of September, 1961, James Sweetman, Notary Public, State of New York, Qualified in New York County, My Comission Expires March 30, 1963.

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцать первый год издания

КН. 69 НЬЮ ИОРК **1962**

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, September 1962
Quarterly, No. 69
2700 *Broadway, New York* 25, *N. Y.*
Subscription Price $9. — *for one year*
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вячеслав Иванов — Из «Римского Дневника 1944 года» 5
Из архива И. А. Бунина 15
Вл. Корвин-Пиотровский — Тени 20
Л. Ржевский — В бинокль 24
А. Ростовский — Стихи 30
Д. Кленовский — Стихи 31
Вл. Злобин — Стихи 33
Н. Берберова — Страшный суд 35
Глеб Глинка — Стихи 47
А. Величковский — Стихи 49
Леонид Зуров — Воспоминания 51
О. Можайская — Стихи 62
Артур Лурье — О мелодии 63
Вячеслав Иванов — Мысли о поэзии 72
Д. Мережковский — Что сделал св. Иоанн Креста 96
Стихи из СССР 131

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Из записок Леонида Пастернака 138
Л. Врангель — «Русское Богатство» и «Мир Божий» . . 161
Воспоминания В. Л. Бурцева 170
И. Г. Церетели — Воспоминания о Февральской революции 208

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Н. С. Тимашев — Два юбилея 226
А. Билимович — Объединяющаяся Европа 233
Федор Степун — Россия между Европой и Азией 251
Др. Н. А. Реймерс — Логика смысла и логика истины . . 277

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

Р. Г. — И. Н. Коварский 288
Р. Г. — Н. Е. Ефремов 289

БИБЛИОГРАФИЯ:

Ф. Степун — J. Mackiewicz. Der Weg ins Nirgendwo. *Н. Тимашев* — Orthodox Encounter, by N. Zernov. *В. Завалишин* — А. Седых. Далекие, близкие. *Д. Шуб* — Г. Аронсон. Россия накануне революции. *М. К.* — А. Голдберг. АФТ-КПП 291
Книги для отзыва 304

PRINTED IN USA BY RAUSEN BROS.. 142 EAST 32 ST., NEW YORK 16, N.Y.

Печатаемые нами стихи Вячеслава Иванова публикуются впервые. Мы это делаем с любезного разрешения Clarendon Press. Это издательство по инициативе Оксфордского Университета в ближайшее время выпускает сборник стихотворений Вячеслава Иванова под заглавием «Свет Вечерний». Стихи этого сборника отобраны и распределены самим автором. Он же дал сборнику заглавие. В «Свет Вечерний» входят стихи, написанные после 1912 года, когда вышла последняя книга лирики Вячеслава Иванова «Нежная тайна». В «Свет Вечерний» входит также больше ста стихотворений, написанных Вячеславом Ивановым в 1944 году. Он собрал их в порядке их написания и назвал — «Римский Дневник 1944 г.». Мы печатаем 20 стихотворений из этого «дневника».

Оксфордскому Университету и издательству Clarendon Press мы приносим нашу благодарность, как за разрешение опубликовать стихотворения Вячеслава Иванова, еще не появлявшиеся в печати, так и за то, что они выпускают сборник стихотворений большого русского поэта-символиста. *РЕД.*

ИЗ «РИМСКОГО ДНЕВНИКА 1944 ГОДА»

Великое бессмертья хочет
А малое себе не просит
Ни долгой памяти в роду,
Ни слав на Божием суду, —

Иное вымолит спасенье
От беспощадного конца:
Случайной ласки воскресенье,
Улыбки милого лица.

2 января

Тебе завет, потомок мой,
Земли грядущий поселенец.
От зверя-предка путь прямой
К звериности глухонемой.
От зверя кто спасет? Младенец.

Его лишь ты в себе спаси:
Еще невинный, он играет
С лучом и к Богу в небеси,
Смеясь, ручонки простирает.

5 января

Густой пахучий вешний клей
Московских смольных тополей
Я обоняю в снах разлуки
И слышу ласковые звуки
Давно умолкших окрест слов,
Старинный звон колоколов.

Но на родное пепелище
Любить и плакать не приду:
Могил я милых не найду
На перепаханном кладбище.

16 января

Опушилися мимозы,
Вспухли почки миндалей,
Провожая Водолей.
А свирепых жорл угрозы
Громогласней и наглей.

За грядой олив грохочет
Дальнобойная пальба.
Вся земля воскреснуть хочет;
Силе жизни гробы прочит
Мертвой силы похвальба.

1 февраля

И поэт чему-то учит,
Но не мудростью своей:
Ею он всего скорей
Всех смутит иль всем наскучит.

Жизнь сладка ль на вкус, горька ли,
Сам ты должен распознать,
И свои у всех печали:
Учит он — воспоминать.

11 февраля

Подмывает волна,
Подымает челна,
На песках задремавшего днище.
Что ж? Ты в путь оснащен,
Да и шквал укрощен,
Челн, мое подвижное жилище.

До рассвета ночлег,
А прилива разбег
Парусов лепетаньем приветим.
Может-быть, от кормы
Тень не ляжет, как мы
Корабельщика Ангела встретим.

15 февраля

Я посох мой доверил Богу
И не гадаю ни о чем.
Пусть выбирает Сам дорогу,
Какой меня ведет в Свой дом.

А где тот дом, — от всех сокрыто;
Далече ль он, — утаено,
Что́ в нем оставил я — забыто,
Но будет вновь обретено,

Когда от чар земных излечен
Я повернусь туда лицом,
Где — знает сердце — буду встречен
Меня дождавшимся Отцом.

28 февраля

Себя надменно не кори,
Что бóльшего не совершил;
О том, что мог, не говори,
Коль не нашлось на дело сил.

Кто стан свой знает, сердцем прост.
Не тот же ль твой, как не тянись,
Останется природный рост?
За тенью славы не гонись.

Тень за тобой, не ты за ней;
Порой короче тень, чем ты,
Порой протянется длинней —
Чтоб исказить твои черты.

Будь слуха страж: твоя струна
(Звал душу лирою Платон)
Всегда ль равно напряжена
И верен ли звучанья тон?

Искусство ангельской руки
В целительном наитьи сна
Так нагнетет твои колки,
Чтобы не лопнула струна.

16 марта

За ветром в первый день Апреля,
Ты слышишь арфу Ариеля?
Откуда звон? Оттоль? Отсель?
Ау, воздушный Ариель!

Весны, еще сердитой, нега
В чертогах воздуха звучит...
А Красного Креста телега
Груз окровавленный влачит.

Эльф нежный, страшный, многоликий.
Дохни на стан их бурей дикой,
Завей их в шалые огни,
И распугай, и прогони!

1 апреля

«Ты жив!» — ручей журчит
И камень моет.
Недвижим, тот молчит:
Его покоит

Беспамятство. «Ты жив!» —
Веселый спорщик
Бурлит нетерпелив:
«Проснись, притворщик!»

Но плёск и звон струя
Напрасно множит...
Так, жизнь небытия
Понять не может.

13 апреля

Различны прежде были меры
Владыки, воина, жреца,
Пирата, мастера, гетеры,
И земледельца, и купца.

Теперь один запас понятий,
Один разменочный язык
Равняют всех в гражданстве братий;
Обличья заменил ярлык.

Бьют тем-же шаром те-же кегли
Бунтарь, епископ и король,
Клейма фабричного избегли
Вы, чья не обуяла соль.

Мир плоско выравнен, а духа
Единомысленного нет;
Летит Эринния — Разруха —
За колесницею побед.

24 апреля

Так, вся на полосе подвижной
Отпечатлелась жизнь моя
Прямой уликой, необлыжной
Мной сыгранного жития.

Но на себя, на лицедея,
Взглянуть разок из темноты,
Вмешаться в действие не смея,
Полюбопытствовал бы ты?

Аль жутко?.. А гляди, в начале
Мытарств и демонских расправ
Нас ожидает в темной зале
Загробный кинематограф.

11 мая

Европа — утра хмурый холод
И хмурь содвинутых бровей
И в серой мгле Циклопов молот,
И тень готических церквей.

Россия — рельсовый широкий
По снегу путь, мешки, узлы;
На странничьей тропе далекой
Вериги или кандалы.

Земля — седые океаны
И горных белизна костей,
И — как расползшиеся раны
По телу — города людей.

23 мая

Затаеннее Природа
Глуше плещется волна:
Человеческого рода
Тяжба все не решена.

Не ропщи ты на годину,
Не гадай и по звездам,
Как решит свою судьбину
Расколовшийся Адам.

Ты — ловитва; мощный Рыбарь
Волочит по морю сеть:
На песке ль, — не твой то выбор, —
В неводу ли умереть.

15 июня

Укромной кельи домосед,
За книжным поставцом отшельник,
Будь песен общник и бесед,
Сверчок, невидимый присельник.
Соперник мой Твой гимн, звеня
Как степь, мое надменье малит.
«Сверчок распелся — Бога хвалит»
Не всуе молвится. Родня
Домашним духам, стрекот мирный
С моей сливая ленью лирной,
Живи в почете близ меня.

4 июля

С тех пор как путник у креста
Пел «DE PROFUNDIS», — и печали,
И гимнам чужды, одичали
В безлирной засухе уста.

Благословенный, вожделенный
Я вновь увидел Вечный Град,
И римским водометам в лад
Взыграл родник запечатленный.

Не надолго. Был духу мил
Отказ суровый Палинодий:
Прочь от языческих угодий
Он замысл творческий стремил.

Но в час, когда закат оденет
Полнеба в злато, хоровод
Взовьется ласточек, — вот, вот
Одна, другая вдруг заденет

Тебя крылом, в простор спеша:
Так ныне каждый миг летучий
Волной лирических отзвучий
Спешит напутствовать душа.

8 августа

Скорпий жалит с небосклона,
И была мне суждена
Боль от язвин Скорпиона;
Ими жизнь освящена.

Помню снег окрай дороги,
Пред усадьбою костры,
На рассвете с гробом дроги...
С той мучительной поры

Сколько темных лет промчалось.
Но стоит передо мной,
Что случилось, что венчалось
Света славой неземной.

22 октября

Шепчет: «Светом повеяло,
Христос родился».
Отпустил, что содеяла, —
И в Нем ты — вся.

Содроганье последнее —
И застыли уста.
Есть ли слово победнее
Это вести Христа?

17/30 октября

Усопших день, всех душ поминки, —
И с разоренных пепелищ
Несет родня цветов корзинки
В пустырь поруганных кладбищ.

Но успокоенным не нужны
Ни мавзолеи, ни цветы.
Их не повинность немоты,
Но мысль томит, что *мы* недужны.

О мертвых память *нам* нужна,
А им — живых под солнцем радость.
Им в Божьей памяти дана
Неотцветающия младость.

2 ноября

Вы, чьи резец, палитра, лира,
Согласных Муз одна семья,
Вы нас уводите из мира
В соседство инобытия.

И чем зеркальней отражает
Кристалл искусства лик земной,
Тем явственней нас поражает
В нем жизнь иная, свет иной.

И про себя даемся диву,
Что не приметили досель,
Как ветерок ласкает ниву
И зелена под снегом ель.

29 декабря

Вячеслав Иванов

ИЗ АРХИВА И. А. БУНИНА

АЛЯ*

В далеком уездном городе, в далекой ранней молодости...

Приезжал из деревни брать книги в городской библиотеке — там и встретил в первый раз, вышли вместе, разговорились — оказалось, что наговориться по дороге нельзя, зашли в пустой городской сад, сели на скамью в главной аллее и опять без конца расспрашивали друг друга:

— Вы не кончили гимназию? А я кончила только прогимназию, у папы нет средств продолжать мое образование, он машинист на товарных поездах... Я теперь читаю «В лесах и на горах», а вы? Я люблю больше Лермонтова, чем Пушкина, а вы? Так вы правда приедете на будущей неделе? Мне столько еще надо спросить вас! Меня зовут Аля. А вас?

Когда во второй раз сидели в саду, говорили уже мало. Все целовал ее руку, она все ниже клонила голову.

---

* Рассказ «Аля», перепечатанный Верой Николаевной, был исправлен и сокращен Иваном Алексеевичем. Хотя в сборник «Темные аллеи» Иван Алексеевич этот рассказ не включил, но рассказ находится в пакете, о котором Иван Алексеевич в приложении к своему литературному завещанию написал: — «Но что будет в этом предполагаемом последнем томе и какой он будет по счету? Это зависит от того, напишу ли я еще что-нибудь после книги «Темные аллеи» и некоторого другого написанного мною за последние годы и еще не изданного отдельной книгой (смотри пакет, в котором «Зимний сон» и прочее)».

Все, что было опубликовано в «Новом Журнале» (из архива Ивана Алексеевича) Верой Николаевной, а потом и мною (рассказы, заметки, стихи) взято из материалов, предназначенных Иваном Алексеевичем для печати. *Л. Зуров.*

Приехав накануне новой встречи вечером, остановился, как всегда, на постоялом дворе, пил чай в жалком номере, при одной темной свечке, и заснул под шум дождя, думая: нет, завтра Бог даст милое утро, солнце... будут легкие тени на сырых дорожках сада и опять буду сидеть и ждать ее, и выступят на глазах слезы сладкой жалости и счастья, когда увижу, как она спешит ко мне в своей серенькой юбочке и голубой рубашечке...

Но утром она не пришла. Не пришла и на другой день. На вокзале узнал: машинист Ковальский переведен на Донецкую дорогу, а на какой именно участок будет назначен там, неизвестно.

***

Мой дорогой,

Позвольте уклониться от ответа.

Пушкин был, конечно, прав, говоря «взыскательному художнику», что этот художник «сам свой высший суд»: всякий настоящий писатель, конечно, может кое-что сказать о себе не хуже других, ибо непременно должен быть хорошим критиком: ведь его работа каждую минуту требует строжайшей самокритики, ума, вкуса, такта, меры, тончайшего чувствования каждого звука, который он употребляет, да и всего произведения в целом, его тона, строя, смысла, цели... И все-таки критиковать самого себя публично, с надлежащей искренностью и подлинной простотой дело едва ли возможное.

От ответа на вопрос, что я думаю о «Жизни Арсеньева», уклоняюсь еще и потому, что никак бы не мог высказаться о ней в нескольких словах, — вещь эта во всяком случае довольно сложная. Кроме того та часть ее, которая выходит теперь под заглавием «Истоки дней», хотя и имеет самостоятельную ценность, есть все-таки пока только часть.

20 Дек. 29 г.

Я печатаю это письмо лишь потому, что оно находится среди заметок, предназначенных Иваном Алексеевичем для публикации.

Обычно черновики своих писем Иван Алексеевич не сохранял,

***

Я испытал нечто подобное[1] даже лет десять тому назад,[2] познакомившись в Ницце с дочерью этого генерала, то есть родной внучкой Пушкина: ведь передо мной опять было существо, в котором текла кровь человека для нас уже мифического, полубожественного! Она была такая же бездомная, бедная эмигрантка, как все мы, бежавшие из России, от большевизма, добывала в Ницце пропитание тяжким трудом, которым и надорвала себя так, что перенесла две операции. Оплатить вторую операцию, которая свела ее в могилу, у нее уже не хватало средств, — их нужно было добывать как милостыню у добрых людей. И я сделал тут все, что мог, но это уже ее не спасло. Так, на моих глазах погибла родная внучка Пушкина.[3]

а если их и сберегал (исключительно важные), то на них делал пометки: кому отправлено и когда. Такая пометка, возможно, и была сделана, но угол листа Иван Алексеевич оторвал. Однако, можно предположить, что письмо написано вымышленному лицу. Черновик Иван Алексеевич не только сохранил, но впоследствии работал над ним, как над рукописью. Он зелеными чернилами (письмо же написано в Грассе его любимыми черными чернилами, ими же сделаны первоначальные поправки) вторично местами изменил текст и поставил дату. *Л. Зуров.*

[1] Отрывок из воспоминаний перепечатан Верой Николаевной в Париже. Иван Алексеевич оторвал начало. В уничтоженной записи речь шла о сыне А. С. Пушкина генерале Александре Александровиче Пушкине, которого Иван Алексеевич когда-то увидел в одной из московских церквей. Сохранившийся отрывок исправлен синими чернилами. В первоначальном тексте была следующая фраза: «вдова некоего Розен-Майера и, благодаря такой фамилии, раз двое суток просидела под арестом у немцев, занимавших тогда Ниццу, будучи сочтена ими за еврейку». Это место Иван Алексеевич вычеркнул, а наверху написал: «такая же бездомная, бедная эмигрантка, как все мы, бежавшие из России, от большевизма». *Л. Зуров.*

[2] 15 мая 1941 года Елена Александровна Розен-Майер приехала в гости к Буниным и провела на вилле Жаннетт целый день. Она была сильно истощена, после завтрака отдыхала в комнате Веры Николаевны. *Л. З.*

[3] Елена Александровна умерла 14 августа 1942 года. Похоронена в Ницце. *Л. З.*

***

Высокий белый зал, где черная рояль
Дневной холодный свет, блистая отражает,
Княжна то жалобой, то громом оглашает,
Ломая туфелькой педаль.
Сестра стоит в диванной полукруглой,
Глядит с улыбкою насмешливо-живой,
Как пишет лицеист с кудрявой головой
И с краской на лице горячею и смуглой.
Глаза княжны не сходят с бурных нот,
Но, что гремит рояль, она давно не слышит, —
Весь мир в одном: «он ей в альбомы пишет!» —
И жалко искривлен дрожащий, сжатый рот.

1918 *Ив. Бунин*

ОБ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ К РАССКАЗАМ И. А. БУНИНА

Все печатаемое нами из архива И. А. Бунина тут же перепечатывается советской печатью, но, разумеется, без ссылки на «Н. Ж.». В этом сокрытии источника большой беды нет, на добрые нравы партийной печати рассчитывать не приходится. Гораздо хуже то, что перепечатываемые советской печатью из «Н. Ж.» рассказы И. А. Бунина иллюстрируются низкопробно-пропагандными рисунками. Ниже мы перепечатываем такой рисунок к рассказу И. А. Бунина «Паломница». Этот рассказ был напечатан в 67 кн. «Н. Ж.» (март с. г.), а перепечатан (с иллюстрацией) советским журналом «Неделя» (№ 17, от 22-28 апр.). Как известно «Неделя» это воскресное приложение к газете «Известия». Рисунок, вероятно, должен превратить бунинскую старую крестьянку-паломницу в опознанного «врага народа» в шляпе, в очках, в пальто чуть ли не с меховым воротником и даже, кажется, в обладательницу кожаных чемо-

данов. Мы не воспроизвели бы этот рисунок из «Недели», если бы он не говорил об уровне культурности руководителей советской печати и об уровне их пропаганды на 45 году диктатуры.

РЕД.

ПАЛОМНИЦА

На пароходе, на пути из Палестины в Одессу.

Среди палубных пассажиров — множество русских мужиков и баб, совершавших паломничество в Иерусалим и на Иордань, и, как всегда, в числе их немало тяжко больных «животом». Одну старушку «схватило» еще в Яффе. Жестокая холерина, все ждут — вот-вот умрет. Однако она твердо решила умереть только в Одессе; ей было лет восемьдесят, не менее; мала и слаба была она, как ребенок, смерти ждала даже с радостью: шутка ли — сподобиться умереть тотчас после такого святого подвига! Но вот узнала, что будет брошена в море, если умрет в пути — и решительно отказалась умирать до прибытия в Одессу. Так всем и сказала:

— Нет, подожду до Одессы.

И так и сделала: перекрестилась, скончалась только тогда, когда услыхала, что входим уже в одесский порт...

В самом деле это все не выдумка, а то удивительное самообладание, благочестие, с которым умирали когда-то русские мужики и бабы, то спокойствие, с которым они делали на смертном одре свои последние распоряжения и высказывали уверенность в жизнь будущую.

Только не напрасно ли приписывать такие смерти каким-то особенным свойствам русской души... Вот умирает тоже крестьянка и тоже чуть не столетняя, но во французской деревне, у нас в Провансе. Очевидец рассказывает:

Elle était si calme et tranquille que je lui dis en toute simplicité:

— Vous irez au Paradis, ma bonne Julienne.

— Paradis, me répondit-elle, où voulez-vous que j'aille?*



Рисунки Е. Шукаева

* Она была такая умиротворенная, спокойная, что я ей невольно сказал:

— Вы пойдете в рай, моя дорогая Жюльена.

— Рай, — ответила она, — а куда ж вы хотели, чтобы я пошла?

ТЕНИ

1

Цветы и молнии, — в саду
Огромной радуги подкова,
О, подожди, я выйду снова,
В забытый голос упаду
И, ветку мокрую срывая,
Тебя сияньем окроплю,
Скажу, что все еще люблю,
Скажу, что даже умирая —
О, подожди, — мне все равно,
Что годы между нами стали,
Что помнишь ты меня едва ли,
Что я и сам забыл давно,
Не вспомнить ни одной приметой, —
Так память мертвая молчит, —
Но нежностью, но болью этой
Как встарь душа кровоточит.

2

Письмо, которое не скоро
Еще напишется, — строка
В тонах минора иль мажора
Зовущая издалека,
Иль просто ветра суматоха,
Гул набегающей грозы, —
Предчувствие большого вздоха,

Предчувствие большой слезы, —
Конверт обычного формата
Без марок и без штемпелей,
Письмо откуда-то куда-то,
Для всех Изольд и Лорелей,
Для всех Офелий иль видений
Еще терзающих во сне, —
Внезапный перечень падений
В несуществующей стране.

3

Любви второй, любви бесплодной
Волшебных формул не дано, —
Ночь льется синевой свободной
В огромное твое окно.
Дыши, — но в воздухе певучем
Звезды заказанной не тронь, —
Мы падать звезды не научим
В уже бессильную ладонь,
Так падать, сердце обжигая,
Выскальзывая так из рук,
Что даже в имени — Другая —
Забытый возникает звук,
Тот вздох, в котором все дрожало
И трепетало, и влекло
Как свежевырванное жало
Иль перебитое крыло.

4

Вступленье к осени, — на пляже
Лишь стаи чаек, — все равно, —
С дождем случайным заодно,
Все ближе музыка и даже
Влетает брызгами в окно,

Тем шелестом, тем трепетаньем, —
Дыханьем с тенью пополам,
Что оживают по углам
Ветвей туманным сочетаньем.
В летучих флейтах и смычках
Продольный блеск неторопливый, —
Должно быть в легких облаках
С большими розами в руках
Проходит Шуберт молчаливый, —
В твои разлуки вовлечен,
В твои закаты опрокинут,
Из жизни осторожно вынут,
Опущен в полусмерть иль сон,
Где слов привычных и не надо,
Где только вздох иль темный стих, —
Цветы потерянного сада
На коврике у ног твоих.

5

Еще без темы и без плана,
Дыханьем ритмы находя
(О, розы, полные тумана,
О, розы, полные дождя),
Скитаться от стола к порогу,
На валкий натыкаться стул,
Прислушиваясь понемногу
Как в лампе наростает гул,
И электрическим разрядом
Перебегая в темноте,
Три ведьмы вдруг запляшут рядом
(Три вспышки на твоем щите) —
О, Макбет! Слушай заклинанья,
Таинственные взрывы слов, —
Глухие стоны иль признанья
Вот этих стульев и столов.

6

Двойник, поэт иль кто-то третий
Подслушает его слова,
Знакомых истин дважды два,
Набор невнятных междометий,
И плоской тенью притворясь,
Легко фонарь переступая,
Куда-то в ночь, куда-то в грязь,
Куда-то в смерть, — но, тень простая,
Он отступает на чердак,
(Он слишком к высоте привязан), —
Мрак, оживленный кое-как,
Бессмертьем наскоро наказан.
И вдруг — стремительным перстом
Он карандаш чернильный тронет,
Тетради выложит, потом
Как в омуте в мечтах утонет —
О чем, о Боже мой, о чем
Он будет плакать до рассвета, —
Что́ тень ему простая эта,
Что медлит за его плечом?

Вл. Корвин-Пиотровский

В БИНОКЛЬ

Если вы живете в довольно-таки северном городе, если окна ваши при этом выходят в ботанический сад и если у вас есть бинокль, то... фразу эту можно закончить по-разному, но можно и не заканчивать вовсе, потому что и незаконченная она хорошо образует вступление.

В неверном, стремящемся расщепиться надвое кружке за окулярами уже с конца февраля не видно снега. Он лежит лишь кое-где в рытых для водяных растений водоеминах и между грядками; лежит с предсмертно-серым конопатым лицом, раздумывая, вероятно, о превратностях судьбы и — как можно было бы вспушиться на этих же самых широтах, не будь неподалеку теплых течений.

На самих грядках и по обочинам аллей в это время белеет лишь россыпь коротконогих дощечек с названиями на выдуманной латыни того, что должно будет подле них зазеленеть или вырасти. Дощечек, которые позже, когда всё на самом деле пойдет цветом и зеленью, особенно станут нелепыми, как если бы кому вздумалось для наглядности и науки снабдить чье-либо прекрасное лицо этикетками вроде: «Глаза», «Нос», «Губы обыкновенные» и тому подобное.

Впрочем, самая ранняя флора пренебрегала ботаникой, и именно потому я так и не удосужился узнать по имени мелких, в желтую звездочку, цветов, которые первыми, как веснушки на переносице, высыпали по пригретым скатам дорожек. За ними, тоже минуя ботанические реестры, вставали на рыжих еще газонах заговорщицкие группки подснежников; неожиданно и стрельчато, как маленькие космические ракеты, выстреливали из-под земли крокусы, розовые, чайные и фиолетовые.

Наконец, — это уже в середине апреля, — по аллеям расставляли скамейки, и на них, одурманенные апрельскими сладкими запахами и вожделением, сплетаясь руками и застывая, как изваяние, расцветали парочки...

Одна из скамеек приходилась как раз напротив моего окошка. Стояла она возле стеклянного павильона-оранжереи, по форме напоминавшего граненый, вытянутый в длину камень на перстнях, который иногда называют маркизой. Он освещался изнутри неоновым светом круглые сутки, и, если глядеть на него в потемках, особенно летних и звездных, нетрудно было примыслить ему и руку, и весь плавно распластанный астральный абрис ночи, уронивший на эту руку со светящимся перстнем сонную голову...

В этом парнике у меня было двое знакомых: огромный, несуразно раскоряченный кактус — он мрачно щерился на божий свет, когда снимали перед ним на день стеклянную стенку, и камелия, стройная, в рост «Miss World», в деревянной кадке — ее с началом весны выволакивали наружу и ставили рядом с кактусом, за скамейкой.

Гуляя однажды по парку, я пристал к экскурсии, состоящей из учительниц, увядших от педагогики, но все еще алчно, как промокашка, впитывающих в себя разные бесполезные знания, и узнал кое-что об обоих. Впрочем, о кактусе почти и нечего было узнавать, кроме того, что он стар. Другое дело — камелия. Тут было много рассказано о ее невозможном характере и повадках. Она была действительно капризна и непостоянна, как куртизанка. Она могла взять и не завязать вовсе бутонов и, словно обидевшись на покровителя, не купившего ей новых сережек, остаться на целый год со своими вызывающе зелеными, в ювелирный рубчик, листьями, не обещая цветения. Она способна была скинуть с себя уже готовый, уже почти распустившийся цвет, мраморно-розовый, как девичьи щеки, ежели ее хоть чуть-чуть потревожит грубый северный ветер. Подумаешь: ветер! Как будто

может в этом краю, со всех сторон обложенном морем, не быть постоянного ветра...

Кактус ее презирал. Впрочем, может быть, это только казалось. Может быть, даже любил, но притворялся, что презирает, ибо был стар и горд и не мог расчитывать на взаимность. Горд, может быть, и особой, ностальгической гордостью: пустыня, суховеи, смерчи, оазисы... всё мощное, необъятное, дикое. И вдруг — стеклянная клеть, искусственное солнце, цивилизованные зеваки, соленый дух северного моря и под ногами кадушка!

Он был необыкновенно уродлив, кактус. И сварлив, и из его как подагрой раздутых бугров, старческих морщин и колючек неудержимо струился скепсис. Иной раз, когда, в перерыв между моими писаниями, мы разглядывали друг друга, он в прищур, я в бинокль, мне казалось, он презирает и меня — за то, что пишу неправдоподобно и непросто по слогу, и мне становилось смешно, потому что я думал: «Что если бы я тебе, тоже неправдоподобному по обличью, предложил бы сходить в парикмахерскую — подстричься и вывести начисто всю свою колючесть и бородавчатость?»

Впрочем, вряд ли бы он снизошел до дискуссии...

Как-то раз к парнику подошла одна совсем еще юная пара: девушка в плащике цвета дождя с серебром, на котором солнце зажигало блики, похожие на весенние подсыхающие лужицы, и паренек в рыжей замшевой куртке с петушиным стоячим вихром на макушке. Добредя до скамейки, оба тотчас же привалились друг к другу в плотном и бесконечном поцелуйном приступе.

Был май и, кажется, воскресенье. Мимо плыли семейные группы, детские колясочки с подвязанными на нитке разноцветными воздушными дутиками; парадные одиночки с тростью и невидяще поджатыми губами; стриженные под английский газон пудели; таксы... Пара на скамейке не шелохнулась...

Тут-то я разглядел в первый раз, что парниковые мои знакомцы разговаривают. Конечно, если считать за разговор короткие реплики кактуса, свысока и сквозь зубы.

— Фи! — сказала камелия. — Как им не совестно! Смотрите: прошел университетский ректор, ипискус, а они...

— Не «ипискус»*, а епископ... — прошипел кактус. — И когда, наконец, перестанете вы удивляться самым обычным вещам!

Он был не совсем прав, кактус: пара заслуживала внимания. Особенно паренек, очень еще желторотый — круглое лицо с невыраженным подбородком, глаза с доверчивым выкатом (в театре таких зовут «простаками» и дают играть только обманутых любовников), и неуклюже робкие руки. Девушке под его поцелуйным порывом, я видел, было тяжело и неловко. Она дважды то выбрасывала вперед, то подбирала под скамью ноги в кожаных лапотках на деревянной подошве, которые носят здесь, каким-то чудом удерживая на ступне. А когда она, наконец, из-под него повыпросталась, я рассмотрел и вирус маленькой, как буря в рюмке, весенней драмы: он ей уже надоел. Это было заметно по тому, как вытерла она нижнюю губку, которую он обслюнявил, капризную и очень полную, еще и подраспухшую, вероятно, от поцелуев, и как равнодушно-небрежно, минуя его восторженный взгляд, подкинула к глазам часовую браслетку. Он был, повидимому, романтичен, этот мальчик — редкое явление в этой стране, где слишком много красавиц, перепроизводство красавиц со всеми вытекающими отсюда последствиями, и прежде всего — равнодушием. От равнодушия юноши здесь стаиовятся сонными, девушки, с молодых зубов спеша вкусить от плода, рано трезвеют и охладевают к романтике...

Они еще несколько раз схватывались целоваться, но с каждым разом короче и словно бы торопясь. В последний

---

* Собственно: «хибискус», ботаническое название китайской розы.

приступ, заметил я, ножка в лапотке дернулась особенно нетерпеливо, и лапоток соскочил, и маленькая ступня вслепую, сердитыми сверху толчками, пыталась нашарить его на песке. Ах, эти движения, поднятая одна бровь, морщинка на переносице — я читал их, как читают книгу!

Потом девушка поднялась, кивнула решительно и ушла. Паренек же остался в совершенно телячьей растерянности, когда ироническому наблюдателю со стороны хочется протянуть за него: «Му-у-у!»... Он стоял и следил, как качалась на свободном шарнире, все уменьшая и уменьшая амплитуду и постукивая, калитка, в которую она вышла. Потом побрел вглубь аллеи.

— Гм!.. — сказал кактус, истекая презрением.

А мне стало не по себе. В эти несколько секунд припомнил я все, как ни странно, все до единой скамеечки, зимние, с тающим под тобою снежком, летние, под августовскими звездами, и такие же вот весенние, в романтических вирусах, — скамеечки, на которых когда-то сиживал сам и которые сейчас так беспощадно-пронзительно ощутились вдруг в прошлом. Ощущение заурядное, но пусть тот, кто его не испытал, перевалив за полвека, и способен пронести забвение старости дальше первого зеркала, швырнет в меня камень...

В таком раскисшем — «Как хороши, как свежи были розы» — настроении я уж и опустил было бинокль, как вдруг увидел старушку, древнюю, согбенную, которая, с трудом волоча ноги в уродливых ортопедических, сиротского блеска, обутках, подползала к оранжерейной скамье. По странной случайности был на ней тоже блестящий, серебристого перелива, дождевик, и, когда она села, безразличное к нашим земным различиям и заботам солнце, зажгло на нем яркие похожие на весенние лужицы пятна.

Она сидела, вцепившись костлявыми пальцами в борт скамьи, чуть раскачиваясь в такт дыханию и жалко подрагивая головой.

Жалость к ближнему всегда спасает от обидной жалости к самому себе. Мне стало легче. И уже совсем легко и по-обывательски любопытно, когда, поведя в сторону биноклем, я снова поймал в конце аллеи романтического паренька. Он шагал, вытянув шею, впившись выпуклыми глазами в серебристый блик впереди, — весь волнение, надежда, восторг и стремительность. Было очевидно: он вообразил, что вернулась его подруга...

Я думаю, он сильно был близорук. Иначе не подошел бы так близко к застывшей на скамейке старухе.

Но он подошел почти вплотную, и даже заглянул ей в лицо. И она подняла голову на шорох его шагов и, я видел отчетливо, улыбнулась ему запавшими старческими губами, как пиковая дама — герою пушкинской повести.

Не знаю, ощутил ли он мистические бемоли этого маленького бытийного эпизода, какие ощутил я...

Но — как он отпрянул!!

— Вот так фикус! — пожала плечами камелия.

— Не «фикус», а фокус! И не трясите листьями, вам вредно... — сказал кактус.

А я пошел к своему письменному столу. Чтобы записать:

«Если вы живете в довольно-таки северном городе, если ваши окна при этом выходят в ботанический сад, и если у вас есть бинокль, то»... И так далее.

Л. Ржевский

НИАГАРА

Вот он, как говорят, водоворот;
С каким волнением надменным
На скулы камня, сброшенного в брод
Седой тюрбан наматывает пены!

То он причесан весь и светлорус,
То вдруг взлохматится и как попало
Крутым обвалом на гранитный брус
Лебяжье скатывает одеяло.

И спрыгивают волны с высоты,
Ломаясь ребрами в дымящей яме, —
Седо-зеленым скопищем воды
В береговой разглаживаясь раме.

ВСТРЕЧА

Смотрю на сквер, на купола и вдаль ту,
Откуда в город хлынули лучи...
Каштан листвой по теплому асфальту
Качает бликов белые мячи.

Фонтан легко подбрасывает кольца:
Привет тебе нью-йоркская весна!
И руку бриллиантовую солнца
Я жму протягиваясь из окна.

А. Ростовский

**
*

Пусть не душа, пусть слабое дыханье,
Пусть только затуманено стекло,
Но всё-таки мое существованье
Каким-то дуновеньем процвело.

И может быть среди далеких странствий,
На рубеже какого-то пути
Смогу я на туманное пространство
Свои инициалы нанести.

И стану наконец самим собою,
Тем, кто познал, что совершилось с ним,
И кто пока заботливой судьбою
От непосильной радости храним.

**
*

Афродита из влажной пены
Вышла, знойна и весела,
Афродите былой на смену,
Той гречанке, что умерла.

Я бродил с ней вдвоем по пляжу,
Я твердил, что в нее влюблен,
Что она мне желанней даже
Самой лучшей из древних жен.

Уверял ее: «Дита, знаешь,
Ты не хуже ее ничуть!
Ты как пена в объятьях таешь
И твоя словно мрамор грудь!»

На срезанной вершине скал
Луна лежала, как на блюде.
Я голоса не услыхал,
Сказавшего: «Любви не будет».

Мне смысл почудился иной:
Не понимал, не мог понять я,
Что тяготело надо мной
Как бы нездешнее проклятье.

Но жизнь летела без меня
Куда-то в радостном подъеме.
И не было ее огня
В моем опустошенном доме

Лишь голос — тот же — мне твердил:
«Не совладать тебе с тоскою.
«Любовь? Ты сам ее убил,
«Своей же собственной рукою».

Владимир Злобин

СТРАШНЫЙ СУД

Как хороши, как свежи были розы!

— Я познакомился с Ланским двадцать лет тому назад, еще в России (в год, когда наш государь император отрекся от престола). Он только что вышел в офицеры, ему было лет двадцать пять. Это был молодой человек вполне комильфо, однако, с примесью того, что называлось в нашем обществе авантюризмом. Кажется — страстный игрок и большой амater до женщин. С фронта он вернулся с Георгием, много шумел по Москве, но бывал всегда только в приличном обществе. Потом я встречал его на юге России, когда уже начались безобразия. Он ни в одном городе не мог ужиться, вероятно, по беззаботности своего характера, и во время гражданской войны я видел его и в Киеве, и в Крыму, и в Одессе. Одно время он, говорят, скупал какие-то земли в Херсонской губернии. Под Севастополем храбро дрался, как подобает кадровому офицеру. Позже я встретил его уже в Константинополе, он, если не ошибаюсь, держал там ночной ресторан, дела его шли блестяще. В Париже мне не довелось с ним столкнуться. Я слышал, что он одно время сильно нуждался, ночевал чуть ли не на улице. В конце концов он женился на этой вот даме, которую я сейчас вижу в первый раз. Мнение мое о нем, если позволено будет сказать, сложилось такое: в высшей степени порядочный человек, энергичный, но не очень умный...

— Благодарю вас, — прервал председатель, — ваше мнение суду совершенно не интересно.

— ...не очень умный, — заторопился свидетель, — неустойчивый.

— Я знал Ланского хорошо. Мы несколько лет прослужили с ним вместе в акционерном обществе Арсэвита. На службе это был исполнительный, аккуратный человек. Ему даже доверяли иногда крупные суммы. Ни о какой принадлежности его к какому-либо тайному обществу я никогда не слыхал. Жену его я видел несколько раз. Она иногда заходила за ним в контору. Мы никогда не слышали, чтобы он изменял ей; женщины, кажется, его совершенно не интересовали. По-моему, он был слегка неравнодушен к спиртным напиткам. О политике мы говорили с ним редко, насколько я мог понять, он был умеренных взглядов. Потом он ушел из Арсэвиты. Случилось это внезапно, он объяснил, что нашел другое место, в каком то кинематографическом деле. Это было в ноябре. С тех пор я потерял его из виду.

— Я близко знала Ланского и его жену, потому что мы долгое время жили с ними на одной лестнице. Она иногда заходила к нам днем, когда муж бывал на службе. Мой брат и я часто бывали у них по вечерам. Они жили дружно. Он конечно был человек не совсем обыкновенный, с тягой к лучшей жизни, но мне кажется, в последнее время семейная жизнь понемногу переменила его. Он бывал очень занят и иногда возвращался домой только к ночи. Мне никогда не приходило в голову, что у него могла быть вторая жизнь. Когда мой брат умер, я переехала и стала бывать у них реже. В последние месяцы мы почти не видались. Мне кажется, приблизительно с Рождества они стали жить очень уединенно. На предварительном следствии вышло так, будто я сказала, что мой брат перед смертью признался мне в том, что Ланской якобы хочет убить одного человека. Это было не совсем так и в протоколе записано неверно. Брат сказал мне: Ланской странный человек: он мог бы убить и не дрогнуть. Вот и всё. Но я все-таки никак не могу поверить...

— Благодарю вас, — сказал председатель и поставил перед собой руку веером.

— Нам доподлинно известно, — медным голосом прогремел прокурор, еще не старый, худой, с начесом на лоб си-

зых волос, — нам известно из показаний других свидетелей, —и он трахнул кулаком по лежавшим перед ним бумагам (но никто не поверил ни кулаку, ни голосу, и на минуту в воздухе сгустилась тень театрального представления), — нам совершенно ясно, что подсудимая была в интимных отношениях с вашим покойным братом. Что вы нам скажете по этому поводу?

— Нет, этого не было. Была только дружба, и с нею, и с ним, с Ланским. Брат мой был уже очень болен в это время. Я вообще считаю...

— Вы свободны, — сказал председатель и задвигал тяжелыми, негнущимися бровями.

Но Аллочка, нарядная, в белых перчатках и в нарочно для этого случая купленной новой шляпе, надушенная, большеглазая, не хотела уходить.

— Я хочу еще добавить, что когда Ланские только что поженились и он был без места, Ланская брала на дом шитьё и несколько месяцев они жили на то, что она зарабатывала.

Председатель опять выставил перед собой руку веером.

Маленький, с огромным носом фотограф подбежал к Аллочке, вспыхнул магний и двенадцать присяжных (шесть усатых и шесть безусых) увидели в упор на них устремленные умоляющие, полные слез Аллочкины глаза. Она шарахнулась из-под магния и едва не упала на следующего, подходившего в развалку, с черным пластырем на одном глазу. Этот глаз у него был глубоко вдавлен, а другой имел в себе что-то птичье.

— В десятом часу вечера, в тот самый четверг, только что мы с женой пообедали, в дверь постучали. Какой-то мосье спрашивал Ланского. Я сказал: четвертый этаж налево и заметил, что на мосье было старое коверкотовое пальто. До того дня я никогда его не видел. Приблизительно через час, я еще не ложился, я услышал, как кто-то тяжело спускается с лестницы. Я увидел Ланского; он вел мадам, обняв ее за талию. Я нажал кнопку, чтобы открыть им дверь, мадам у лица держала платок и была без шляпы. Я подумал: а где же

— Я знал Ланского хорошо. Мы несколько лет прослужили с ним вместе в акционерном обществе Арсэвита. На службе это был исполнительный, аккуратный человек. Ему даже доверяли иногда крупные суммы. Ни о какой принадлежности его к какому-либо тайному обществу я никогда не слыхал. Жену его я видел несколько раз. Она иногда заходила за ним в контору. Мы никогда не слышали, чтобы он изменял ей; женщины, кажется, его совершенно не интересовали. По-моему, он был слегка неравнодушен к спиртным напиткам. О политике мы говорили с ним редко, насколько я мог понять, он был умеренных взглядов. Потом он ушел из Арсэвиты. Случилось это внезапно, он объяснил, что нашел другое место, в каком то кинематографическом деле. Это было в ноябре. С тех пор я потерял его из виду.

— Я близко знала Ланского и его жену, потому что мы долгое время жили с ними на одной лестнице. Она иногда заходила к нам днем, когда муж бывал на службе. Мой брат и я часто бывали у них по вечерам. Они жили дружно. Он конечно был человек не совсем обыкновенный, с тягой к лучшей жизни, но мне кажется, в последнее время семейная жизнь понемногу переменила его. Он бывал очень занят и иногда возвращался домой только к ночи. Мне никогда не приходило в голову, что у него могла быть вторая жизнь. Когда мой брат умер, я переехала и стала бывать у них реже. В последние месяцы мы почти не видались. Мне кажется, приблизительно с Рождества они стали жить очень уединенно. На предварительном следствии вышло так, будто я сказала, что мой брат перед смертью признался мне в том, что Ланской якобы хочет убить одного человека. Это было не совсем так и в протоколе записано неверно. Брат сказал мне: Ланской странный человек: он мог бы убить и не дрогнуть. Вот и всё. Но я все-таки никак не могу поверить...

— Благодарю вас, — сказал председатель и поставил перед собой руку веером.

— Нам доподлинно известно, — медным голосом прогремел прокурор, еще не старый, худой, с начесом на лоб си-

зых волос, — нам известно из показаний других свидетелей, —и он трахнул кулаком по лежавшим перед ним бумагам (но никто не поверил ни кулаку, ни голосу, и на минуту в воздухе сгустилась тень театрального представления), — нам совершенно ясно, что подсудимая была в интимных отношениях с вашим покойным братом. Что вы нам скажете по этому поводу?

— Нет, этого не было. Была только дружба, и с нею, и с ним, с Ланским. Брат мой был уже очень болен в это время. Я вообще считаю...

— Вы свободны, — сказал председатель и задвигал тяжелыми, негнущимися бровями.

Но Аллочка, нарядная, в белых перчатках и в нарочно для этого случая купленной новой шляпе, надушенная, большеглазая, не хотела уходить.

— Я хочу еще добавить, что когда Ланские только что поженились и он был без места, Ланская брала на дом шитьё и несколько месяцев они жили на то, что она зарабатывала.

Председатель опять выставил перед собой руку веером.

Маленький, с огромным носом фотограф подбежал к Аллочке, вспыхнул магний и двенадцать присяжных (шесть усатых и шесть безусых) увидели в упор на них устремленные умоляющие, полные слез Аллочкины глаза. Она шарахнулась из-под магния и едва не упала на следующего, подходившего в развалку, с черным пластырем на одном глазу. Этот глаз у него был глубоко вдавлен, а другой имел в себе что-то птичье.

— В десятом часу вечера, в тот самый четверг, только что мы с женой пообедали, в дверь постучали. Какой-то мосье спрашивал Ланского. Я сказал: четвертый этаж налево и заметил, что на мосье было старое коверкотовое пальто. До того дня я никогда его не видел. Приблизительно через час, я еще не ложился, я услышал, как кто-то тяжело спускается с лестницы. Я увидел Ланского; он вел мадам, обняв ее за талию. Я нажал кнопку, чтобы открыть им дверь, мадам у лица держала платок и была без шляпы. Я подумал: а где же

их гость? И куда они так поздно? В этот день, смею сказать, к нам приехала дочка с зятем. Дочка тогда ожидала младенца и мы положили ее на нашу кровать, и зятя тоже, а сами с женой легли на полу, на матраце, который для такого случая специально нами приобретен.

— Ближе к делу. Это никого кроме вас не касается.

— Прошу прощения. Я сейчас. О чем это я? Да, так вот легли мы и заснули, а утром я встал и пошел выносить золу во двор, и вдруг вижу: в квартире Ланских свет горит. Девять часов утра, солнце, а у них зажжено электричество. Каждый час ходил я смотреть, и звал соседей. Звонили, стучали, а к вечеру позвали полицию. Когда взломали дверь, то мосье в коверкотовом пальто лежал, как я уже имел честь докладывать, лицом вниз посреди спальни, а шляпа его была положена на стул. Радиоаппарат был опрокинут, револьвер валялся тут же, и кровь, когда его подняли, до того залепила ему все лицо, что в первую минуту я не узнал его и подумал, что это сам Ланской.

Медленно, спокойно, с барской самоуверенностью на широком бритом лице (которое его друзья и любовницы называли мордой) подходил к барьеру Калязин, поводя глазами и играя низким покашливаньем.

— Да, она провела ночь у меня, — сказал он, в упор глядя на председателя, — она пришла часов около двенадцати, а ушла в семь. Мы оба не сомкнули глаз, конечно, потому что оба были взволнованы. Сперва она сказала, что потеряла мужа на улице, а домой боится идти, потому что у нее такое нервное состояние. Потом она плакала и говорила, что муж бросил ее. Поймите мое положение! Ведь мы, господин председатель, друзья с ней — только, ни-ни чтобы этого или там как-нибудь. Я ее знаю с юности. Ну там, в юности, может, и была какая-нибудь глупость, да ведь это давно забылось. С тех пор я был три раза женат, да и она нескольких мужей переменила.

Где-то дрогнул смешок. Председатель опять поднял руку веером.

— Войдите в мое положение, — повторил Васька Калязин, рисуясь и изображая из себя старинных кровей аристократа, друга детства Николая Второго, одним словом, де Калязина, — сидит у меня женщина и плачет. А утром, чуть рассвело, иду, говорит, в полицию. Ну, тут уж я отговаривать стал. Подожди, говорю, голуба, хоть до вечера. Может с тебя сойдет, говорю, дурь. А то каково же мое положение? А она мне: мы, говорит, человека убили.

Прокурор, откидывая рукава черной мантии и простирая жилистые кулаки в пространство, вскочил со своего кресла. Все, что он ни делал, было фортиссимо, и рядом с ним, величественным трагиком, все остальные казались комедиантами любительской сцены.

— Я кажется услышал правильно? — загремел он. — Она сказала «мы» убили?

Адвокаты заметались на своей скамье и один из них выкрикнул фальцетом:

— Это было сказано фигурально. Притом она была на грани истерического припадка.

Васька Калязин подождал минуту, словно собираясь с мыслями, и с удовольствием повторил:

— Мы, говорит она, сейчас человека убили. И кто он, говорит, мне совершенно неизвестно. Муж мой, говорит, вывел меня из дому, завел на какой-то перекресток, против сада какого-то, сказал, чтобы я его ждала, а он только за папиросами сбегает. Я его ждала — сколько, не помню, может быть час, а может быть и пять минут, а потом пошла, куда глаза глядят. И вот до тебя дошла. Не гони, говорит, дай мне передохнуть, я, говорит, утром постараюсь тот угол против сада найти, может быть, он меня еще там дожидается. А не найду, говорит, так еще в одном месте поищу...

Присяжные шевельнулись.

— И уж если в этом месте не найду, то тогда предамся в руки правосудия.

И Калязин низко поклонился.

— Господин Пшепетовский, — сказал председатель и уронил лицо в руки (у него была такая привычка, и залу каждый раз казалось, что он сейчас застонет от съедающей его скуки). — Господин Пшепетовский, спросите подсудимую, что она хотела сказать, когда хотела сказать, ну да, то есть, что она подразумевала, когда говорила, что встретит мужа в одном месте? Было ли это условленное у них место свидания, или квартира какая, и почему имелось такое место, для каких надобностей? Не скажет ли она нам адрес, и не объяснит ли почему в конце концов она никуда не пошла, а прямо отправилась от свидетеля в комиссариат полиции?

Маленький, толстый человек быстро встал со своего места, облокотился о дубовую низкую загородку, за которой сидела Лена Ланская и нагибаясь к ней, и смущаясь, спросил:

— Президент опрошают: где имеется «одно место»? Где оно такое есть? Они опрошают: было или не было звидания у вас и с супругом?

Он смущался от того, что не знал русского языка, но русский переводчик был занят в этот день не то в Версале, не то в Мо, и Пшепетовскому пришлось заменить его, чем отчасти он был полыцен.

Она сидела на длинной дубовой скамейке совершенно одна. За ее спиной стояли городовые. Но минутами ей начинало казаться, что тут же рядом с ней сидит он, которого нет. Только он сделан не из плотного вещества, из которого сделаны адвокаты и городовые, а из чего-то прозрачного, и виден ей одной, и сквозь его бессмысленно улыбающееся лицо и грудь (жилет, галстук, булавка) сквозила зала: лицо пристава, румяное, с глазами похожими на изюм, выпускающего и впускающего свидетелей, лица репортеров, среди которых был один русский, тихо сказавший ей, когда она вошла: «Держитесь. Могут дать пять лет». Он сидел здесь, на лавке, очень бледный, смотрел на нее с милым и нахальным видом, словно только что соврал ей что-то. И опять его не было, и она старалась не поворачивать головы в ту сто-

рону, чтобы только чувствовать, но не видеть его присутствия.

Русский репортер эмигрантской газеты крепкими пальцами с короткими широкими ногтями маленьким карандашным огрызком начал писать на листе бумаги:

«Один. Скобка. Точка. Почему он вывел ее из квартиры? Почему не убежал один? Она боялась остаться с трупом. Выиграть время. Хотела бежать в участок. Муж боялся, что она побежит в участок.

Два. Скобка. Точка. Почему он обещал ее встретить в условленном месте? Это всё вранье, добра ей не принесет. Он знал, что не вернется в тот угол. Бежал. Куда?

Три. Скобка. Точка. Спросить маму, сколько стоит билет к тете Веке и ехать в субботу, если меньше тридцати. В противном случае намекнуть, чтобы оплатила проезд туда и обратно».

Потом пошло столбиком:

«27.50
8.90
2.20

38.60»

Он посмотрел на Фемиду с весами, на большие часы и продолжал:

Четыре. Скобка. Точка. Опознали убитого по документам в кармане немедленно. Месть? Старые счеты? Сколько лет ждал? Ее — за соучастие. Хорошенькая.

38.60.

Если самому за билет — останется 8.60 и ждать до вторника.

Пять. Скобка. Точка. Скучно мне. Скучно. Ску. Очень ску. Как тому направо, который выпустил слюну на подбородок, заснул. Сегодня — 220 строк, завтра 180 строк, пос-

лезавтра приговор. Клише. Портрет. 38.60 и еще может быть 1.25. Туговато.

Туго.

Вата.

Тугов

Дата.

Карачун.

Зарплата

Кременчуг.

маловата.

На все вопросы она отвечала через переводчика. Пшепетовский старался создать атмосферу доверия, наклонялся к ней отечески и смотрел ей в лицо большими, серьезными карими глазами, в которых плавал ее взгляд, заплывал в них глубоко, и тогда она опускала веки. От Пшепетовского сильно пахло нафталином и окурками и иногда ей опять на ум приходили какие-то странные подозрения, что Ланской здесь, но не на скамейке призраком самого себя, а в публике, живой, здоровый, отпустивший бороду, обритый наголо, стоит вон там, в глубине зала, стиснутый другими любопытными, стоит и слушает, свободный, легкомысленный, смешливый, издали смотрит на нее и старается не смеяться. Он велел ей никому никогда ничего не говорить больше того, что люди сами знают. Ах, какое интересное правило! Люди ничего не знают. И она научилась не говорить. Вот она с адвокатом в незнакомой пустой комнате. Адвокат говорит, что должен знать, на чем построить свою защиту. А ей хочется вылететь на крыльях в высокое окно, прямо в небо, по которому ходят трамваи. Адвокат был знаменитый, таких умных людей она никогда на своем веку не встречала, он выпытал у нее многое, а потом вдруг в один непохожий на другие день остановил ее, сказал, что ему довольно знать и большего он знать не хочет, что ему это только испортит всю музыку. Он так и сказал: «музыку», и она подумала тогда: «неужели это все только музыка, и я часть этой музыки — тири-лири-там-там-там... И больше ничего».

— Нет, господин председатель, — отвечала она по-русски, и Пшепетовский сейчас же переводил ее слова, — нет я никогда не видела его. Я понятия не имела, что у моего мужа была любовница. Муж никогда не говорил мне, где он бывал. Этот человек бросился на него. Муж оставил меня одну. Когда он пришел, мы ужинали. Я не знала его имени, только на следствии мне сказали. У него в руках был револьвер, вот тот, что нашли под радиоаппаратом, да, тот самый, что лежит здесь. Они дрались, а у меня не было голоса, и я не кричала. У меня пропал голос, я даже не могла шопотом...

— Мадам притворяется глупее, чем она на самом деле, — выкрикнул прокурор с таким наслаждением, будто наконец окончательно уличил ее. — О, она далеко не дура, это мы все знаем, но она притворяется маленькой несчастной дурочкой, чтобы спасти свою мило причесанную преступную головку.

Он хотел еще закричать «ха-ха», но опасаясь, что это выйдет слишком искусственно, только вызвал громкое клокотание в горле — как бы скрытого смеха.

— Господа присяжные, — тихо и внятно сказал адвокат и поднялся с места, и все поняли, что это был сдержанный, серьезный человек, отец семейства, любитель Монтеня и Валери (а кричал только что фальцетом и прыгал вокруг прокурора кто-то совсем другой, вероятно его талантливый помощник). — Господа присяжные, я требую уважения к женщине. Ее еще не обрекли казни и, я надеюсь, не обрекут, ибо я скажу вам нечто, из чего будет ясно, как чисто, невинно, самозабвенно, самоотверженно, как преданно, как бескорыстно, — он был знаменит своими прилагательными: низал их на тонкий, гибкий стальной прут, согнув этот прут дугой, словно надевал на него кольца, и вдруг отпускал его, и прут со свистом выпрямлялся, выкидывая глагол: — любила. Она любила его, господа присяжные, — и он повернулся всем корпусом к двенадцати неподвижным фигурам, словно окончательно подчеркивая, что председатель давно оглох и напрасно к нему обращаться.

Часовая стрелка над Фемидой дрогнула. И я, сидевшая рядом с русским репортером, вдруг увидела в высоком окне башню, на которой зажглось три огня. Три луны висели прямо передо мной: два циферблата башенных часов (повернутые ко мне боком) и настоящий круглый, бледноватый месяц, похожий на эти одутловатые циферблаты, как брат. Три луны висели в небе, и сто лет тому назад эти три луны непременно предвещали бы что-нибудь недоброе.

— Но я принужден напомнить вам одно постановление, — продолжал чей-то голос, — одно постановление восемьдесят седьмого года. (Это, кажется, был второй помощник защиты). И это постановление...

Его голос не успел спуститься к концу фразы. Внезапно что-то произошло. Все головы повернулись вправо. Высокие двери с вырезанными на них мифологическими фигурами поплыли в разные стороны. Я думала о трех лунах и упустила мгновение, когда председатель сказал приставу с медной бляхой — «впустите следующего». Двери поплыли и в зал вошла жена убитого. Адвокаты торжествующе взглянули на прокурора, по публике прошел ветерок, прошелестевший в молью траченных меховых воротниках.

«Шесть. Скобка. Точка. Два билета на «Отдайся мне!» — 5.90. Откуда взять. Занять? Магдалина, кто дал тебе такое имя? У меня еще не бывало Магдалины.

Роза
Елена
Тамара
Дезире
Жанна
Симонна
Надежда

а теперь будет Магдалина. Магдалина, отдайся мне!»

Три луны сто лет назад предвещали бы мировую катастрофу, падение царств, нашествие врага, пленение городов и весей, глад, мор, погибель, а сейчас у нас они горят и

светят совершенно зря, никто не замечает их, кроме меня. И помощник адвоката грозится прочитать одно постановление восемьдесят седьмого года. Одно постановление... Слева сидит человек с серьезным лицом, похожий на Тургенева, справа сидит другой — он тоже похож на Тургенева, но как это ни странно — они вовсе не похожи один на другого. Мне хочется есть. Мне хочется домой. Я ничего не предугадываю, в голове моей плывут какие-то образы. А русский репортер все строчит. Часы показывают без десяти шесть и скоро объявят перерыв.

— Я не знаю этой женщины, я никогда не видела ее. Я даже не знала, что она существует, — что-то дерзкое, слишком яркое и сильное начинает звучать в ее голосе. Она старше Лены Ланской, ей лет под сорок, — и по правде говоря и знать не желаю, кто она...

— Я призываю вас к порядку.

— Ланской был шесть лет моим любовником. Он никогда не говорил мне, что он женат. Муж узнал об этом из анонимного письма, он решил убить Ланского. Я сказала об этом ему, он купил револьвер. Мы решили бежать, но как видите, я — здесь...

— Свидетельница, ближе к делу.

— Ближе и быть нельзя... Мы решили бежать, но в последнюю минуту Ланской решил поступить иначе — он решил бежать один. Так я понимаю его поведение.

— Если он решил сбежать от жены и любовницы, — раздался шопот за моей спиной (это «Пари-Суар» шептал «Таймсу»), — то зачем было убивать человека?

— Ш-ш-ш! Он убил защищаясь, теперь все ясно, сейчас конец. Ланскую выпустят.

Присяжные любят такие минуты. Усатые и безусые смотрят в упор на свидетельницу. Прокурор прикуриул. (Я, кажется, стараюсь острить?). Два Тургенева вдруг проснулись, один высморкался, другой откашлялся. Русский репортер строчит: «...разорвалась бомба. Это было за пять минут до

конца. Адвокаты выпустили под занавес жену убитого и она заявила...»

Женщина поворачивается и я вижу ее профиль, с твердым подбородком, сверкающим глазом...

...«Где-то, когда-то, давно-давно я прочла одно постановление»...

Н. Берберова

Рассказ написан в Париже, в апреле 1940 г.

ТЕНЬ

Многое было, бывало.
Сердце, должно быть, устало
От безысходности всех
Чаяний, бед и утех.

День — из готовых понятий,
Ночь без открытых объятий.
Люди, как тени вокруг,
Тень, как единственный друг.

С тенью гуляю по парку.
Тени становится жарко.
В жгучие летние дни
Тень отдыхает в тени.

Но на морозе и стуже
Ей разумеется хуже.
Ненависть дышет вокруг.
Тень, как застенчивый друг.

Кто разберёт и узнает:
Тень ли меня отражает,
Ночью, иль в солнечный день,
Я отражаю ли тень?

С тенью мы слишком похожи.
И, как по тени, прохожий
Может по мне, на пути,
Не замечая пройти...

Я это — тень от былого
Дикого, нежного, злого,
Тень на стене не моя,
Тень это — подлинный я.

МЫ

Нас минами рвали,
Нас фосфором жгли,
Но мы устояли,
Костьми не легли

Едва уцелели
В боях и в плену.
Приплыли без цели
В чужую страну.

Рожденье второе
И новая жизнь.
Один или двое,
Цепляйся, держись!

Всё в жизни короткой
Хватай на лету.
Работой и водкой
Глуши пустоту.

Но мозг, словно в зыбке,
Качает тоска.
И спрятан в улыбке
Собачий оскал.

В боях мы не пали,
Костьми не легли.
Нам души взорвали,
Сердца нам сожгли.

Глеб Глинка. 1962.

1

Как далеко до светлых дней,
Военных подвигов детей.
Лучам в ответ
Небесный створ,
Незримый свет,
Неслышный хор.
А зори, зори в небе мчат,
Степные травы не молчат,
И помнят вас,
Там, на краю
В последний час,
В степном бою...
Без родины, без имени,
Не знаю где обнимемся...

2

М. М.

Дорога спит. Прощальной тишины
Лесные шорохи прервать не смеют.
Последним заревом освещены,
Вершины сосен розово светлеют.
Не перед чудом каждый лист затих,
Но в ужасе — пред ожиданьем чуда.
Уходит солнце. Жду шагов твоих,
Но никогда ты не придешь оттуда.

3

У берега в молчаньи музыкальном
Спадают ветки в солнечном тепле.
Трепещут и колышатся печально,
И отражаются в речном стекле.

Лучи скользят, сквозь трепет неустанный,
В холодную прозрачную волну.
И падает зеленый лист нежданно,
И тень его плывет за ним, по дну.
Мы впереди искали наслаждений,
Искали славы, счастья и наград,
И вдруг остановились в умиленьи
Пред тем, что было двести лет назад.

4

Пробую, как птица, разбежаться,
Замахать руками и подпрыгнуть,
И на воздух медленно подняться,
Без побед технического ига.
И лететь, то прямо, то спиралью,
И вертеть, как механизмы вертят,
Чтоб в душе остаток безначалья
Не сменился чувством полусмерти.

А. Величковский

ВОСПОМИНАНИЯ

Год тому назад в усадьбе, построенной Сергеем Васильевичем Рахманиновым на берегу Люцернского озера, скончалась его младшая дочь, Татьяна Сергеевна Конюс.

После смерти отца она бережно охраняла усадьбу и умерла в доме, возведенном по чертежам отца.

Я редко встречал столь глубокую любовь дочери к отцу. Каждый приезд Сергея Васильевича в Париж был для Татьяны Сергеевны великой радостью, счастьем. После концерта отца она устраивала у себя большой прием, в ее гостиной собирался ныне отошедший в вечность артистический и художественный мир — Глазунов, Бунин, Сомов, Коровин, французские критики и музыканты. Потом наступал для Сергея Васильевича отдых. Отец приходил к Татьяне Сергеевне с утра и она трогательно его опекала. Как менялось лицо Татьяны Сергеевны, как хорошело, ее узнать было нельзя.

Никогда не забуду, как однажды в тихий вечер Сергей Васильевич, с бесконечно усталыми и печальными глазами, рассказывал о своей молодости, о встречах с Антоном Павловичем Чеховым, которого он всю жизнь любил не только, как художника, но и как человека.

Татьяна Сергеевна стояла за его стулом, молча слушала, положив на плечо отца руку. Помню, как он медленно повернув голову к ней, благодарно погладил лежавшую на его плече руку. В этом было столько нескрываемой нежности и любви. И какой радостью засияли глаза Татьяны Сергеевны.

Этой любовью был освещен мирный вечер, та печальная, спокойная беседа о Шаляпине, о рыбной ловле с Чеховым, о русской природе.

А Сергей Васильевич тогда был уже предельно утомлен, все движения его были замедлены.

Я смотрел на его как бы тронутое пеплом лицо, на коротко подстриженные волосы и думал, до чего умные, печальные и усталые глаза у Сергея Васильевича.

На столе стояла кривая бутылка с его любимым наполеоновским коньяком. Он наливал, угощал, но пить ему уже было запрещено. Разрезанные пополам американские сигареты лежали на столе. Печально покачивая головой, неторопливо он вставлял половину сигареты в темный мундштук. Во всем было спокойствие, простота. Ни одного лишнего движения. Он никогда не играл, всегда был сам собою.

Он рассказывал и о боях в Москве во время октябрьской революции, когда маленькую Таню пришлось закрыть в ванной комнате, чтобы она не бегала по квартире. На улице шла стрельба, с Ходынки подвезли артиллерию. Подойдя к окну, Сергей Васильевич увидел, как упал перебегавший улицу юнкер.

— Я смотрел на него и ничего еще не понимая думал, что вот-вот он поднимется, встанет, побежит дальше. Я смотрел, а время проходило, он продолжал лежать. Он был убит на моих глазах.

Помню, как Татьяна Сергеевна — а это было в 1937 году — по телефону известила отца, что скончался Федор Иванович Шаляпин. Сергей Васильевич был в Сенаре. На берегу Люцернского озера он с Натальей Александровной переживал все, и до чего была бледна и взволнована во время торжественного отпевания, а потом и на кладбище во время погребения Шаляпина Татьяна Сергеевна.

Потом наступили поистине страшные времена. Война, захват немцами Парижа. Рахманиновы были в Америке. Татьяна Сергеевна с мужем и сыном Сашей остались во Франции. Россия была залита кровью. Привезенные немцами во Францию русские военнопленные, как древние рабы, работали не только

на побережье Атлантического океана, но и на юге, в городе, где голодали Бунины. В Грассе мы видели русские телеги, дуги, новгородских, захваченных в плен русских коней. Душа была охвачена страхом за Россию, за участь всего мира.

В это время за океаном скончался Сергей Васильевич.

Наталья Александровна Рахманинова прибыла из Америки в Париж в те времена, когда Ивану Алексеевичу Бунину сделали тяжелую операцию. Она приехала с Татьяной Сергеевной в клинику, но к Ивану Алексеевичу никого не пускали. Мы беседовали в коридоре.

Наталье Александровне должны были сделать в Америке глазную операцию, но она не верила в ее благополучный исход. Молчалива и покорна она была всегда, но смерть мужа ее как-то внутренне обескровила, жизнь без Сергея Васильевича потеряла для нее всякую ценность. Поздно вечером, когда я ее провожал, Наталья Александровна, остановившись перед своим отелем на улице де ла Тур, сказала:

— Если бы я была уверена, что где-то там встречу Сергея Васильевича, то с радостью сегодня же умерла.

Татьяна Сергеевна похоронила мать. Молча, с поразительной стойкостью она переживала потери, продолжала жизнь, вместе с Борисом Юльевичем любила принимать тех, кого знал и любил отец, в той же гостиной, где когда-то Сергей Васильевич при мне попросил Николая Орлова сыграть для него новые вещи Метнера.

Над пианино, как и при Сергее Васильевиче, висел прекрасный портрет Татьяны Сергеевны, написанный умершим до войны Сомовым. Нежную акварель его, висевшую в той же комнате, она очень любила — на опушке березовой рощи в легком тумане пасутся кони, русские пастушки раздеваются на берегу речки.

В ее гостиной бывал Добужинский, изменившийся после войны, с болезненно пополневшим после перенесенного удара лицом. Он рассказывал о Новгороде, в котором провел детство. А в комнатах, как и при жизни Сергея Васильевича, ви-

сели его работы: революционный Петроград — Нева с вмерзшими в лед буксирами; изумительный Псков в снегах с Троицким собором на скалистом холме, тревожным небом, черными, похожими на галок, ларьками на рыбном базаре. Псков он нарисовал в тяжелый год военного коммунизма, а удалось ему это сделать, — рассказывал он, — только потому, что Калинин согласился выдать ему разрешение на посещение северных городов.

Вскоре Добужинский умер, — сын привез из Америки гроб, похоронил отца на русском кладбище за Парижем.

Да, Татьяна Сергеевна продолжала принимать, как при отце, при гостях была оживлена, весела, но за последние годы что-то в ней изменилось.

— Пора умирать, — как-то сказала она.

— Татьяна Сергеевна, что вы!

Любимая мохнатая собака у ног, на столе белая сирень из парижских теплиц, тюльпаны, розы на высоких стеблях, улыбка, бледное лицо.

И потом, через год, задумавшись, она повторила эти слова, а тонкая упрямая морщинка прорезала ее лоб.

Как и мать, она не боялась смерти.

Во всех комнатах всегда стояли цветы, она любила одеваться, не пропускала концертов, знала всех талантливых пианистов, у нее был отличный слух, прекрасный музыкальный голос.

Все отцовское она оберегала, а особенно усадьбу Сенар, любимую его студию с большим окном, из которого видны вершины совсем русских усадебных елей и берез, посаженных им не на Волхове или на берегах Ильмеия, а на берегу Люцернского озера — и вот небо, воды, отражающие закат, воды Люцернского озера.

Помню, как она показывала деревья, посаженные отцом, кусты роз, а озеро изумительно открывалось, но для меня это было место печали, какой-то незримый рахманиновский некрополь, хотя Сергей Васильевич и Наталия Александровна были похоронены за океаном.

Вечера в Студии Сергея Васильевича, где его рояль, рабочий стол, где мы втроем — Татьяна Сергеевна, Вера Николаевна Бунина и я — слушали в тишине усадебного дома то, что он здесь, на берегу Люцернского озера написал, — внутренняя трагедия, напряженная страстность, — а до чего внешне спокойным всегда казался Сергей Васильевич. Я помню, как слушала Татьяна Сергеевна, закрыв глаза, музыку отца, переживая все молча, — она всегда была бледна, а тут, несмотря на легкий загар, казалась еще бледнее и строже, — а в окна смотрел закат, но какой, охвативший все небо, — вот из тех немного даже страшноватых закатов — а гигантские швейцарские ели, что после его смерти переросли каменную террасу, напоминали Скандинавию, север, дикие места за Ладогой, неведомые русские леса.

Вера Николаевна была тогда чрезвычайно бледна, она незадолго до моего приезда потеряла сознание. Татьяна Сергеевна нашла ее на берегу озера.

В студии висели подаренные Сергею Васильевичу фотографии Шаляпина, Бунина, картины умерших вдали от родины художников. Тот же север, белая звонница, древняя новгородская и псковская земля.

И вот, слушая музыку Сергея Васильевича, я смотрел на закат и думал, что у Сергея Васильевича была не только северная славянская кровь, но и кровь людей, живших на берегах южного моря.

Закат, вершины елей. И хотя его могила далеко, он как бы здесь, его душа в музыке, среди растущих у вод, посаженных его руками деревьев.

Помню, как Татьяна Сергеевна за год до смерти показывала студию Артуру Рубинштейну, приехавшему из Люцерна с женой варшавянкой, отлично говорившей по-русски и с музыкантами друзьями. С какой деликатностью он, подойдя к роялю, на пюпитре которого были раскрыты ноты, исполняя просьбу Татьяны Сергеевны, тронул клавиши.

Она показывала гостям сад, угощала всех на открытом воздухе, уговаривала Артура Рубинштейна купить на берегу озера участок, построить виллу.

Озеро она любила, с радостью уезжала в Сенар.

Купанье. До чего вода там чиста. Когда она спускалась к озеру, любимая лохматая собака, радостно лая, бежала за ней.

А после купанья — белая моторная лодка. Татьяна Сергеевна любила катать своих гостей, как отец страстно любила сама управлять и ее белая лодка весело неслась в солнце и в радужной пыли туда, где озеро было особенно таинственного темно-зеленого цвета, под заросшим лесом страшным обрывом. А потом она направляла лодку к Люцерну, где слева, на высоком мысу, стоит вилла Вагнера.

Она знала историю старых вилл, а они построены на изумительных местах, с пристанями, купальнями, домиками на сваях. Они напоминают виллы римских патрициев, да и в отважности Татьяны Сергеевны было что-то от римлянки, дочери патриция.

Болезнь Веры Николаевны Буниной. Татьяна Сергеевна ее навестила, когда Вера Николаевна медленно угасала. Она пришла потом с Борисом Юльевичем и друзьями — Татьяной Сергеевной и Михаилом Владимировичем Малининым, — когда тело Веры Николаевны лежало на смертном одре. Когда-то она там же попрощалась и с усопшим Иваном Алексеевичем, лежавшим на той же постели. Она плакала на отпевании, долго стояла на кладбище у открытого бунинского склепа.

Не надолго пережила она Веру Николаевну. Борис Юльевич, вместе с единственным сыном Сашей, привезли из Сенара в Парижский собор ее гроб.

И вот теперь там в Сенаре, как будто никого нет — рахманиновский некрополь с березами, северными елями. Открытое место для купанья под зеленым крутым берегом, где деревья посажены Сергеем Васильевичем, поставлены каменные скамьи — зеленое чистое место, где озерная свежесть живет,

а широкие ступени каменной лестницы уходят в прозрачную воду.

Закат, от далеко проходящих пароходов докатывается волна, идет и заплескивает на ступени.

И нет на свете тех, в честь которых названа усадьба:

Сергей — Наталия Рахманиновы
СеНаР

Нет Татьяны Сергеевны.

Идет волна, новая набегает волна, и издали иногда доносит по воде звон старых колоколов, праздничного в солнечный день, с белыми пароходами, лебедями, украшенного флагами Люцерна.

**
*

Когда-то Татьяна Сергеевна начала писать воспоминания. А она была застенчива, с чужими об отце говорила редко. Знаю с ее слов, что она легко написала детство, но потом ей стало трудно писать. Так и остались неоконченными ее воспоминания.

Вот почему я хочу рассказать о своей беседе с Татьяной Сергеевной 29 декабря 1960 года, которую я дома, не надеясь на память, точно записал.

Должен сказать, что осенью 1960 года Вере Николаевне Буниной прислали из России напечатанную в Ялтинской газете статью,[1] в которой говорилось о дружеских отношениях Ивана Алексеевича Бунина и Сергея Васильевича Рахманинова. В ней впервые была опубликована не только телеграмма Сергея Васильевича, посланная Ивану Алексеевичу в 1912 году: — «Примите душевный привет от суходольного музыканта. Рахманинов», — но и письмо Сергея Васильевича 1915-го года. Рахманинов и Бунин тогда жили в Москве. Иван Алексеевич по-

---

[1] «Бунин в Крыму». А. Бабореко, кандидат филологических наук, «Курортная газета», Ялта, 2 октября, 1960 г.

слал Сергею Васильевичу свою книгу рассказов и стихов «Чаша жизии». Сергей Васильевич ответил:[2]

«Дорогой Иван Алексеевич,

И я Вас неизменно люблю и вспоминаю часто наши давнишние с Вами встречи. Грустно, что они теперь не повторяются.

Очень благодарю Вас за присылку Вашей последней книги. Был тронут.

27 апреля 1915. С. Рахманинов».

**
*

— Татьяна Сергеевна, — спросил я, — как относился Сергей Васильевич к Ивану Алексеевичу?

— Господи, вы хотите знать, — а вопрос был неожиданный, никогда об этом мы не говорили. — Он, по моему, прекрасно относился, он очень любил Ивана Алексеевича, и мы его любили, но абстрактно, не зная его, а когда мы встретились в Каннах, то мы все знали от отца о нем, так как отец все время о вещах Ивана Алексеевича говорил, любил его стихотворения, рассказы, говорил, что Иван Алексеевич всё по особенному слышит, рассказывал даже, как он поправил какое-то слово, когда отец читал, и научил его, как его произносить нужно, — и о внутренней музыкальности его стихов говорил, и о том, как Иван Алексеевич читал вслух.

— В Каннах мы встретили Ивана Алексеевича, — рассказывала, улыбаясь и все больше увлекаясь, Татьяна Сергеевна, — у нее был мелодичный, внутренне углубленный голос, — а отец любил все русское, большой был патриот, он ценил Ивана Алексеевича, как поэта. Я знала отношение к нему отца и когда Иван Алексеевич в первый раз к нам приехал, то это для нас было событие, мы ждали его, тогда мы только что приехали из Америки и нам это было особенно интересно. Ведь

---

[2] Автограф письма, как об этом сообщает А. Бабореко, сохранился в архиве покойного Павла Николаевича Муромцева, врача, брата ныне покойной Веры Николаевны.

когда мы с сестрой росли, отношение ко всему русскому у нас было особенное — внутреннее отношение было особенное — и мы отцом к этому были подготовлены, выросли в любви к Толстому, Чехову, Бунину. Так хорошо отец рассказывал нам, как Чехов смеялся, когда Иван Алексеевич читал, утрировал что-то, как Чехов называл его Букишоном.

— И на юге, когда мы ездили вместе на остров Сен Онора,[3] с нами была сестра. Где-то изумительная есть фотография — там Ирина[4] и я. Иван Алексеевич прекрасно рассказывал, поражал нас своей наблюдательностью. А когда Ирина над ним как бы ангелом стояла, раскинув руки, он декламировал стихи.

— Вот, Леонид Федорович, — улыбаясь сказала она.

— Какие же стихи?

— А стихи я не помню, но когда Ирина стояла над ним, раскинув руки, он их читал. Есть чудесная фотография, но я не знаю, у кого она, — он, как узник, сидит на скале над морем, в рубашке с короткими рукавами, а Ирина стоит над ним, раскинув руки, как ангел.

— Ивана Алексеевича после ужина мы повезли в Грасс и тут Ирина сказала, что ей понравилась «Неупиваемая чаша» Шмелева. Ивану Алексеевичу это не понравилось, он что-то сказал, облил Ирину холодной водой. Ирина была растеряна.

— А есть еще одна фотография, но тогда снимали вы, — Иван Алексеевич шутя и играя пожимает руку отца, они здороваются, ведь он очень любил играть. Но это было потом, Ирины с нами не было. Помните, после прогулки по берегу моря, купанья, мы поздно вечером отвезли всех вас в Грасс. Отец правил.

---

[3] Остров Saint-Honorat (aux Iles de Lérins) находится в Средиземном море, недалеко от курортного города Канны (Приморские Альпы). Знаменит развалинами древнего аббатства и построенной сарацинами на южном берегу башней.

[4] Ирина Сергеевна, старшая дочь С. В. Рахманинова (по мужу княгиня Волконская).

— Да, помню. Правил он изумительно. Большой черный автомобиль шел совершенно бесшумно.

— Тогда Иван Алексеевич всю дорогу молчал, а отец изумлялся, до чего хорошо пахнет.

— Ведь там цветочные поля. Между Каннами и Грассом изумительно пахло южным жасмином.

— Отец любил все явления земли, — тихо сказала Татьяна Сергеевна, — цветы, деревья или если дымом пахло, и все хорошее ему напоминало Россию, и часто хваля что-то, он говорил: — как в России.

— Не было большего удовольствия для отца, как если подарить ему хорошую русскую книгу. А Ивана Алексеевича он читал часто, написал два романса[5] на его стихотворения, жаль, что так редко их исполняют.

— Отец очень любил, что у сестры Ирины чудесная память. Скажет первую строку: «Дурману дурочка наелась»,[6] и добавит: — Ну, продолжай!

— А потом Ирина и другие стихи читала и я всё детство помню, как отец ее стихи читать заставлял. Страстно любил строки: «Молчи, скрывайся и таи...»

— Синие долины? — сказала потом Татьяна Сергеевна.

Я посмотрел на нее.

— Я помню, про какие-то долины отец рассказывал. Тогда Иван Алексеевич не то, что поправил, а громко закричал: «Что вы! доли́ны!»

— А ехали они на извозчике, в санях. Отец цитировал и ошибся.

— Где это было?

— Подумайте, Леонид Федорович, — ответила Татьяна Сергеевна, — это было в Москве.

---

[5] Романсы: «Я опять одинок» и «Ночь печальна».

[6] «Дурман». Стихотворение И. А. Бунина.

— Запах деревенский, — потом сказала она, — вот что он любил. Деревенскую жизнь. Все это далеко, далеко. Давно, давно прошло безвозвратно.

Помню, при новой встрече Татьяна Сергеевна, как бы продолжая беседу, сказала:

— Знаете, а Ивана Алексеевича я всегда боялась.

— Почему, Татьяна Сергеевна?

— Даже не понимаю. Не могу объяснить, боялась, просто боялась.

29-го июля 1962.
Эдинбург. *Леонид Зуров*

***

Скажи, когда бы не во сне
Тебе пришлось опять,
В своей или чужой стране,
Любить и умирать, —

Брести исхоженным путем,
Где каждый поворот
Тебе мучительно знаком,
И, зная наперед,

Что жизнь готовится завлечь
В свой безысходный круг
Судьбою предрешенных встреч,
Немыслимых разлук, —

— Там прошлое отражено,
Там оборвался путь... —
Глазами зоркими на дно
Посмеешь ли взглянуть?

— Не размышляя о цене,
Готова я платить
За право чувствовать вдвойне
И эту жизнь любить.

И чем грознее, тем нежней,
Прозрачней глубина.
Но если погрузишься — в ней
Ты не отыщешь дна.

О. Можайская

О МЕЛОДИИ

1

Чем является для нас теперь мелодия? Мы не мыслим мелодию так, как ее понимали в 19-ом столетии, когда она вообще не была предметом особых размышлений; в прежнее время музыканты были заняты качеством мелодии, а не мелодией по существу. Как и всегда, в 19-ом веке тоже существовали музыканты, обладавшие мелодическим даром или лишенные его; но проблема мелодии как таковой для них не возникала. Вне зависимости от качественных оценок, можно однако сказать, что 19-ый век был по преимуществу веком мелодическим. В наше время — положение иное. Истинный мелодический дар стал частным случаем, как красивый голос, и к нему так и относятся. Но как субстанциональный элемент музыкального творчества, мелодия совершенно утрачена современной музыкой; и это является своего рода признаком первородного греха в ней.

Музыка лишилась стихии мелодии в такой же мере, как поэзия лишилась стихии лирической. Ни мелодия в музыке, ни лиризм в поэзии не являются больше их главным двигателем. Нематериальная, неопределимая стихия мелодии и лирики заменены в обоих случаях материальностью и конструктивизмом. После того как они были органической субстанцией и основной движущей силой музыки и поэзии, и мелодия и лирика выключены из современного искусства. Мелодия и лирика находятся в пренебрежении; они едва терпимы, они — нечто, о чем не говорят. Мелодия и лирика заменены организационными принципами.

Музыканты и поэты, прошедшие через подобную стадию, до последних дней стыдились мелодии и лирики. Многие из современных музыкантов постеснялись бы подписаться под великолепными мелодиями, созданными старыми мастерами. Но в то же время, современные музыканты охотно сделали бы это в порядке стилизации, т. к. тут не было бы субъек-

тивного соучастия, личной связи автора с такой мелодией. Мне кажется, что стыд этот не является ложным; его можно объяснить тем, что всякой мелодии свойственно обнаруживать *правду,* открывать первоначальную реальность — психическую и духовную — о том, кто создает мелодию. *Мелодия раскрывает природу субъекта, а не объекта.* Конечно, она может сочетаться с объектом, стать выражением этого объекта, но основное ее назначение состоит в раскрытии самой природы субъекта, из которого она возникает.

Такая реальность мелодического процесса находится в противоречии с принципами безличной эстетики и насильственной объективизации стиля, являвшихся основной тенденцией последних лет. Практически этот конфликт разрешился в ущерб мелодии, оказавшейся в современной музыкальной проблематике отброшенной на задний план. Так происходило в случаях когда для музыкантов все же возникал еще вопрос «о мелодии» или «о не-мелодии».

Пренебрежение мелодией началось одновременно с пренебрежением к субъективным принципам; утверждавшаяся новая эстетика, формально-объективная и безличная, рассматривала личные принципы как разрушительные. Вслед за этим музыканты решили, что «объективизация» мелодии возможна в той же мере как и объективизация иных элементов музыки. Если же объективизация была невозможной, музыканты говорили: «Тем хуже для мелодии!».

Общей тенденцией был скорее отказ от мелодии, чем присутствие ее как субъективного начала, т. е. начала, разрушающего безличные нормы, которыми страстно увлекались музыканты.

Мелодический процесс, поскольку без него нельзя было обойтись, был подвергнут искусственной деформации, насильственной объективизации и механизации, а также полному подчинению иным музыкальным элементам, преимущественно ритму. Свободная стихия мелодии была скована новой дисциплиной, своего рода музыкальным аскетизмом, в то время возникшим. Подобная дисциплина дала возможность проявить героизм музыкантам, у которых было чем пожертвовать; но в силу этого же аскетизма, многие стали сочинять по линии наименьшего сопротивления, т. к. жертвовать им было нечем.

Но даже в то время, мелодия, хотя и скованная, продолжала существовать; не будучи всегда очевидной, она жила как подземная сила, питающая корни.

Теперь, когда музыкальная почва истощена окончательно, нельзя уже говорить о мелодии загнанной, т. к. живой мелодический процесс в новой музыке отсутствует. Это не пессимизм, но логическое следствие современной эстетики, которая должна начать видоизменяться после того, как объективность и безличие завели музыку в тупик.

2

Если признать за мелодией способность выражать правду, обнаруживать не искусственную, но живую природу, т. е. реальность, то мелодия, в определении эстетическом, а не формально-музыкальном, есть не что иное, как *добродетель* Можно ли это отрицать? Если именно в правде мы видим главный признак того, что называется мелодией, тогда она прежде всего музыкальная добродетель, а затем все остальное.

Мы должны признать, что в современной эпохе господствует ложь. И не случайно наиболее выраженным типом современной мелодии является *гротеск,* т. е. гримаса, ирония и шутка. Ложь в музыке происходит оттого, что музыканты уклоняются от мелодического процесса как от прямой действующей силы, уклоняются от всякой личной ответственности, маскируясь ответственностью, будь то «мода» или «стиль эпохи».

Конечно, мелодия есть добродетель эстетическая, а не моральная; но все же мелодия каким-то неосязаемым образом связана с моралью вообще, и относится к порядку морально-эстетическому, являющемуся одним из признаков, по которым узнается мелодия.

Эстетически мелодия есть как бы биологическая основа музыкального произведения, но она также является и моральной его особенностью. Нельзя разделить эти категории, не разрушив одну или другую. Подобно трем богословским добродетелям, мораль постигается сама собою. Если же мораль не является выражением правды, она теряет всякое живое значение и становится только отвлеченной нормой поведения. Быть может, мы не сочиняем теперь больше хороших мелодий потому только, что мы стали очень злы.

Наши мелодические способности прямо пропорциональны нашим способностям к добру и любви, не в смысле сентиментальном, но религиозном. Злой мелодии быть не может; злая мелодия есть бессмыслица. Может существовать злой музы-

кальный мотив; можно мотивировать злую силу (Вагнер), но злой мелодии быть не может. Мелодия есть добро в самом себе, вот почему она является выражением правды о том, кто ее создает. Мелодия есть как бы очищение исповедью; она обнаруживает реальность того что существует, а не ложь выдуманную композитором.

Таким образом, качество мелодии зависит *исключительно* от категории морально-эстетического единства. Даже эротическая мелодия, находящаяся в категории низшего порядка, возможна только если мы способны переживать большие и сильные страсти.

Вот почему, вероятно, область современной музыки, где мелодия еще жива и действенна, — это область музыки танцевальной, уличной, поскольку последняя воплощает реальное и живое чувство. В наши дни лирика и мелодия, независимо от их качества, находят свое выражение главным образом в этой низшей категории музыки, где они приютились, покинув профессиональный уровень искусства и высшей культуры.

Мелодия находится в органическом согласии с богословскими добродетелями. Поэтому не подлежит сомнению и то, что высшим ее выражением является мелодия религиозная, т. е. молитва.

В противоположность гармонии и ритму, мелодия не поддается логике нашего сознания; наш разум всегда перед нею бессилен, т. к. мелодия иррациональна. Может существовать ангельская мелодия, но никак не ангельский ритм, т. к. в вечности времени больше нет, но существует и всегда будет существовать хвала.

3

Превосходство мелодии над ритмом несомненно. Ритм — это организация музыкального времени и музыкального пространства; ритм — это ценность относительная. Мелодия есть освобождение от существования во времени и пространстве. Мелодия есть как бы мгновенье, в котором уничтожаются законы времени и пространства, и музыкальное «я» становится по отношению к ним свободным. Мелодия создает иллюзию остановившегося мгновенья и тем самым вызывает чувство принадлежности к категории вечности.

Неоспоримая метафизическая иррациональность музыки есть следствие этой способности мелодии нарушать прост-

ранственную и временную причинность земного существования. Ущерб, которому подверглась мелодия в современной музыке, возник от гипертрофического развития ритма.

В начале 20-го века произошла подобная же гипертрофия гармонии (от вагнеровского хроматизма к импрессионизму), приведшая к распаду ритмического начала, вследствие перерождения гармонии. Возвращение к ритму было одним из основных моментов в борьбе против импрессионизма. Это находилось в согласии с общей проблемой современной культуры. Значение, которое придавалось ритму дошло до такой степени, что ритм стал главным двигателем композиции. Один из наиболее характерных этому примеров — «Свадебка» Стравинского. Произведение это написано так, что слушатель не может ощутить ничего, кроме ритма; слушатель находится под непрерывным воздействием ритма этого сочинения, являющегося в нем самодовлеющим. При чтении этой музыки становится необходимым отделываться от ритма для того, чтобы ощутить ее. Ритм в «Свадебке» достигает максимума своего развития и воздействия, мелодия же целиком подчинена; она основана только на мотивах и служит мотивировке ритмической структуры.

Оставив в стороне несколько частных случаев, можно сказать, что в обеих главных тенденциях современной музыки свободный мелодический процесс отсутствует. У музыкантов, чьи сочинения покоятся на прямой ритмической базе, мы находим только мотивировку, основанную почти всегда на интонировании ритмических фигур. У экспрессионистов австро-германской школы мы тоже находим только «мотивировку», но основанную на интонировании психологического или драматического жеста. У одних — эта мотивировка обусловлена формальными и ритмическими данными. У других — она ничем не обусловлена и зависит только от психологической обстановки и индивидуальных восприятий, даже если эти восприятия приведены к некоторым «нормам». Ни в одном из этих двух случаев мы не имеем дела с мелодией, как со свободной и неподчиненной стихией.

4

Все согласны с тем, что мелодия — *душа музыки*. Но что такое мелодия? Не в смысле эстетическом, а в смысле *формально-музыкальном*?

Мотив, тема, мелодия, — все они вращаются вокруг од-

ного и того же предмета, оставаясь при этом абсолютно различными понятиями.

Традиционная теория считает мелодией попросту верхний голос сочинения. Конечно это совсем не так. Попробуем разграничить эти понятия и упорядочить их. Прежде всего: что такое тема или мотив? Это звуковая последовательность, ведущая по необходимости к какому-либо действию. Без этого действия тема или мотив не имели бы никакого смысла. Поэтому фраза: «Объясните мне *мотив* вашего поведения» не является произвольной, т. к. никак нельзя сказать: «Объясните мне *мелодию* вашего поведения». Различие между мотивом и темой заключается в том, что мотив всегда поясняет смысл музыкального действия с которым он связан, в то время как сочинение основанное на тематическом развитии есть само музыкальное действие, которое показывает содержание темы, т. е. служит проявлению музыкальной энергии, заключенной в данной теме.

Мотив это как бы недоношенная мелодия, остановившаяся в какой-то момент своего роста. Тема же, напротив, это как бы мелодия во вторичной стадии своего развития. Фуга является лучшим примером сочинения, где музыкальное направление совершенно невозможно без мотивировки, о которой она напоминает без конца, чуть только мотив кажется удаляющимся из памяти. Вождь в фуге 18-го века является высшим развитием мотива в той роли, о которой идет речь.

Соната (симфония) 19-го столетия есть, со своей стороны, пример тематизма. Конечно, существует немало сочинений, где роль мотива и темы перепутаны, но это не ведет ни к чему положительному. Двадцатый век особенно повинен в создании этого беспорядка: в двадцатом веке возникли *мотивированные* сонаты и *тематические* фуги. Тогда в особенности пользовались «мотивировкой» мело-ритмической или мело-психической в ущерб тематизму, характерной принадлежности 19-го столетия. В этом смысле музыку 19-го века характеризует две тенденции: романтизм, ему присущий, создал мелодический пафос, преимущественно эмоциональный по своей природе; скептицизм же и рационализм послужили тематизации накопленного мелоса, прилагая к развитию схематических музыкальных форм созданных в ту же эпоху, ложно-классическую схоластику в симфониях, сонатах и вариациях.

Шуберт служит великолепным примером этих тенденций. Его чудесный мелодический дар выражается в схемах формальных и условных. Шопен спасался тем, что не доводил музыкальную композицию до полного завершения и основывал ее исключительно на первенстве мелодии. (В сущности, tempo rubato есть не что иное как музыка сознательно незаконченная).

В действии, связанном с мотивом можно видеть развитие той силы, которая послужила бы перерождению мотива в мелодию. Концентрация музыкальной энергии в мелодии настолько сильна, что зачастую короткая мелодия служит выработке больших сочинений. Вероятно, именно этим объясняется то, что музыкальное действие связанное с мотивом безусловно более органично чем музыкальное действие связанное с темой. Последнее есть процесс, выражающийся не в прямом развитии, но в музыкальном *суждении* о сюжете. Поскольку тема содержит некоторое предложение постольку разрешение этого предложения есть действие не прямое, но рассудочное.

Музыка 20-го века старалась освободиться от рационализма 19-го века, основанного на тематическом материале. В противовес тематическому материалу, музыка 20-го века утверждала мотивированное музыкальное действие. Мелодия сама по себе не связана ни с каким действием и не ведет ни к чему. Она как *вещь в себе*.

Мотив служит к оправданию действия. Тема есть средство развития мысли. Мелодия не служит ничему. Она дает *освобождение*. В любой момент музыкальной обстановки, логически-сложной, появление мелодии приносит немедленное освобождение, в зависимости от качества возникшей мелодии. Мелодия живет сама по себе, а вся «музыка» есть сумма известных данных. И, действительно, с мелодией «ничего нельзя сделать».

Вот почему, когда речь идет о мелодии, говорят, что ее «обрабатывают», или что ее «сопровождают». Очень редко ее сочиняют. Лучший пример решения этой проблемы в прошлом не у Баха, а у Моцарта. Моцарт был рационалистичен, но не в мелодии, а в своих композиционных методах. Он создавал «музыку» и «мелодию» на совершенно различных основах, легко и свободно соединяя их вместе; он не воздействовал одним на другое. В этом заключается таинственный феномен и, во всяком случае, совершенно исключительный.

5

Если искать чисто формальное определение мелодии, можно предложить следующее: мелодия есть такая последовательность звуков, в которой *теряется функция интервалов*. В освобождении от функции интервала и заключается иррациональность мелодического процесса. Чем это освобождение совершеннее, тем большую ценность имеет мелодия. Та же последовательность звуков станет мелодией у одного композитора, но не у другого.

У Дебюсси мелодия это как бы метеор, превратившийся в звуковую пыль при падении на землю. Мелодия Дебюсси отрывочна; между тем, музыка его основана исключительно на мелодии, которая и есть главная сила его самоосуществления. Но уже у Дебюсси мы видим начало мелодической стилизации и рождение гротеска. После Дебюсси возникли методы организационные и методы мелодической стилизации. В наше время возник новый род эклектизма: это или эклектизм стилизованный, или стилизация самого эклектизма.

Современники какой бы то ни было музыкальной эпохи всегда склонны думать, что эта эпоха менее мелодична, чем предшествовавшая. Поэтому Бетховена обвиняли в анти-мелодичности и противопоставляли ему Моцарта и Гайдна; затем противопоставляли Бетховена Шуберту, Шуберта Шуману и т. д. Этот род суждений ничего не значит. Современники эпохи обычно не в состоянии оценить эволюцию мелоса, которая происходит одновременно с эволюцией ритма и гармонии.

Обычно, смешивают мелос с мелодией. Сочинение может быть абсолютно лишено мелодии, но сочинение лишенное мелоса не имело бы никакого права называться музыкальной композицией, потому что мелос есть звуковое и жизненное сочетание, действующее в музыкальном организме как циркуляция крови; без мелоса нет музыки. Музыкальное сочинение без мелоса было бы подобно телу, не отбрасывающему тени. Только фантомы не отбрасывают тени. Если допустить, что может существовать совершенно искусственное музыкальное сочинение, лишенное всякой органической жизни, то оно окажется лишенным мелоса и тем самым будет вне всякой музыки. Поэтому, чем музыкальное сочинение искусственнее, тем менее выразителен и ощутим его мелос. Характер же мелоса меняется с каждой эпохой.

Ничего не может быть абсурднее, чем задаваться вопросом: необходима ли мелодия? Между тем, модернисты серьезно, упорно и долго были этим заняты. *Волевой* процесс музыкального творчества нашей эпохи был в значительной мере методическим и методологическим усилием упразднить свободную мелодическую стихию, ставшую для современной музыки «камнем преткновения». Упразднение мелодии проходило под знаком «конструктивизма»; быть-может, близко время когда этот камень, отвергнутый зодчими, будет снова положен во главу угла.

Артур Лурье

МЫСЛИ О ПОЭЗИИ

1

Первоначальный стих — заклинание. В заговоре ни одного слова ни опустить нельзя, ни переставить, ни подменить другим словом: силу потеряет заговор. Но еще древнее заговора-нашепта чародейный напев (incantamentum, epôdê). Из напевной ворожбы вышел стих, как устойчивый звуковой состав размерной речи.

Такой стих, если он не сакрально-правовая формула (как «infelici arbori suspendito» в первой книге Ливия), людям темен, но богам внятен. «Вещий язык» волхва — язык самих богов, чью волю вещун испытует или связует. Он умеет говорить с незримыми сильными, люди же не умеют. Но он и не приглашает посторонних к участию в его «мольбах и гаданьях». Он хотел бы, напротив, утаить от них смысл произносимого под покровом иносказательных ознаменований и ведовски́х, на́говорных звукосочетаний, — как и прорицание, испрашиваемое людьми, не должно, да и не может быть им до конца понятно: сновидческое откровение многосмысленно. Нечто подобное наблюдается в церкви первых веков, как о том свидетельствуют «глоссолалические» тексты. «Пророчествующие» времен апостольских частию проповедо-

---

* Эта статья Вячеслава Иванова прислана нам из семейного архива Ивановых. Она нигде напечатана не была. В. И. написал эту статью в 1938 г. Летом 1939 г он послал ее в журнал «Современные Записки», где она должна была появиться. Но из-за войны журнал прекратился. Во время войны В. И. статью переделал и дополнил, это было уже в 1943 г. Ему очень не хотелось, чтобы в печати появился старый текст 1938 г., который он считал неточным. По окончании войны, уже после смерти В. И., первичный текст 1938 г., хранившийся в архиве «Совр. Зап.», был возвращен семье покойного поэта. Мы печатаем последний текст 1943 года. РЕД.

вали общине, частию же «говорили к ангелам», и эта «заумная» беседа с ангелами казалась слушателям, по своей невразумительности, иноязычною.

В ту раннюю пору, когда вещий певец (vates) заклинал или пророчил, когда хоровой пэан отвращал чуму по свидетельству Гомера и поражал страхом вражье воинство по описанию Саламинской битвы у Эсхила, когда пляска и маска привлекали божественные силы к овладению человеком и заставляли обаянного ими испытывать чудо превращения, ужас и восторг инобытия, — то что впоследствии стало художеством, «мусическими искусствами» эллинов, еще служило только богам, а не услаждению смертных. И сама «слава», которая составляет существенное назначение позднейшей поэзии, т. е. хвалебное величание, или просто упоминание, наименование в высокой песни, — была заздравным поминанием пред лицом небожителей или подземных владык. Искусства, себе довлеющего, тогда еще не было, всё было богослужебный обряд и священное действо; но первые речевые, эвфонические, ритмические обретения, приемы и навыки, как и душевные состояния или расположения, представленные в обряде, вошли в искусство, из обряда расцветшее, как его «наследье родовое», как те определительные для будущих метаморфоз, прирожденные первообразы, о коих можно сказать словами Гёте: «ни время, ни внешняя мощь не в силах разрушить изначала-запечатленной формы, развитие которой есть жизнь».

И в наши дни, — в век мятежа против всех ценностей, опирающихся на предание, — исконная магическая природа стиха спасает его от многообразных искушений переплавить его наследственный чекан в ходячую монету, растворить его природный кристалл в зыбучей стихии обиходного говора. Истинный стих остается доныне замкнутым в себе организмом, живущим как бы вне общей, быстротекущей и забывчивой жизни своею иноприродною жизнью и памятью, — отличным по внутренней форме своего словесного состава и по морфологическому принципу своего строения от других речевых образований, — полным скрытых целесообразностей и соответствий, как всякий живой организм, в котором всё необходимо и согласно-взаимодейственно. Истинный стих тот, чье действие на душу невозможно вызвать другими звуками и иною мерою звуков, как мелодию можно «вариировать», но ее единственного очарования, ее безглагольной вести нельзя передать иным сочетанием тонов и иным ритмом.

Суверенная независимость поэтической речи, инородной по отношению к речи прозаической, будет неизменно утверждаться «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Недавно в защиту этой независимости выступил Поль Валери. Иначе не мог ни думать, ни творить ученик Стефана Малларме, больного тоскою по «магическому стиху». Терпеливый алхимик темных словесных составов, в которых уже сверкало искомое золото, Малларме мечтал рассказать повесть мира, подобно Силену Виргилиевой эклоги («подобно Орфею» — говорил он сам!), языком «чистой» поэзии, освобождающим пленные гармонии, соединяющим разделенное, впервые осуществляющим в завершительном слове всё дотоле незавершенное и неназванное, — древние сказали бы: языком богов. «Не в начале было для него Слово», — замечает Валери: «оно казалось ему конечною целью всех вещей». Что такое этот неусыпный помысл однодума Малларме о ненаписанной «Книге»? «Словесье ложное», как рассудили бы наши благочестивые предки? Идеалистическое марево мира, изведенного из глубин самосознания?.. Или же пробудившаяся у крайних пределов позднего искусства атавистическая память о «родовом наследье» певца, об изначальных «напевах» чудотворцев-лирников — Орфея, Мусея, Фамиры, Амфиона — над колыбелью поэзии?

2

Обряд правится богам, искусство обращается к людям: такое различение согласовалось бы с гипотезой о происхождении искусства из игры, но действительность не отвечает гипотезе. Искони люди привыкли свое лучшее отдавать в дар тем, кого Веды и Гомер равно величают «подателями даров», — и с тех пор как услышали от небесной Музы, что «одно прекрасное мило, а непрекрасное не́мило» (Феогнид), их первою заботою было сделать богослужение прекрасным. И если общее веселье, каким завершалось угощение невидимых гостей, давало наибольший простор выдумке и вымыслу, несомненно, с другой стороны, что творимое на праздничную потребу искусство веками сохраняет не только многие внешние черты, но и богомыслие обряда. Боги не покидают людей в их играх; люди в своих песнях и сказах не могут обойтись без богов. Прежнее различение лишь постольку оправдывается, поскольку священное действо окружено тайной, искусство же по природе своей (что «красота — нисхождение», ви-

дел и зачуравшийся от всякой метафизики Ницше), по своему основному влечению — открыто и сообщительно. Нетерпеливое, оно ищет разоблачить тайну богов, как умеет, не боясь произвольных догадок и противоречивых домыслов: оно гадает о богах мифотворческим воображением.

Однако, сама сообщительность искусства предполагает некоторую сокровищницу духовных даров, откуда почерпается сообщение: ею владеют дочери Зевса и Памяти — Музы. С ветвию излюбленного ими лавра в руке, нисходит видевший их и слышавший их голос юный пастырь овец — Гесиод — с горных пастбищ дубравного Геликона, неся в долы «вещую память о богах», которую боги в него «вдохнули». Музы напоминают эпическому певцу по порядку стародавние были. И те же Музы, но уже не как наперсницы матери, а как участницы олимпийского хоровода, предводимого Аполлоном, ручаются за лирического поэта, повинующегося в самой свободе своей их тонким внушениям, ими движимого, ими «вдохновляемого». Пусть, — как говорит Гесиод не без чувства собственного превосходства о своих соперниках Гомеридах, — «много певцы вымышляют»: вдохновенное всегда оправдано, а сами Музы открыли ему, что они горазды на красные вымыслы, хоть умеют, когда захотят, вещать и сущую истину. Поддельное же неубедительно и недолговечно, а лжесвидетельство — прямая обида богам. Ариона спасают они от волн морских, а Стесихора, неправо обвинившего Елену, карают слепотой и не прежде возвращают ему зрение, чем он в «обратной песни» — Палинодии оправдал ее и восславил. Религиозные представления о священных (следовательно, во всяком случае культовых) истоках отдельных родов мусического творчества, о мироустроительной лире мифических певцов-теургов, о преемственном сане поэта, их позднего наследника, легли в основу Платонова учения о вдохновении и вместе с перечнем непререкаемых образцов были закреплены в александрийском «каноне», этих святцах эллинской поэзии.

Три особенности сообщают ей несравненную свежесть и вместе какую-то девственную строгость. Во-первых, соединение мифотворческой свободы с устойчивостью коренной фломы мифического узрения. Во-вторых, точное различение родов поэзии по стилю, допускающее в округу Муз всякое изъявление, сообразное строю форм данного рода, и изгоняющее из этой округи всё по существу непоэтическое и поэтически неубедительное, каковы приемы витийства и рас-

судочные доводы. В-третьих, подчинение личного мотива и своеволия принципу объективной правды, необходимо присущей, согласно понятиям древних о сообщительности искусства, всякому вдохновенному сообщению.

Последнее замечание приводит нас к проблеме «субъективной» лирики, или в терминах Ницше («Рождение Трагедии»), к проблеме Архилоха. Почему древние не только в отзывах словесников, выражающих установившееся мнение, но и в монументальных двуликих изображениях сопоставляют с олимпийски вознесенным над жизнью Гомером дерзкого поэта седьмого века, впервые осмелившегося в стихах своенравных и вызывающих поведать миру свои личные житейские опыты, страсти и пристрастия, обиду неудачного сватовства и похвальбу брошенным в бегстве щитом? Формальная заслуга Архилоха огромна: он художественно узаконил и ввел на века в поэтический обиход говорные (не для пения назначенные) иамбы, — ругательные иамбы обрядовых издевок и перебранок, подслушанные им на простонародных празднествах Деметры, богини его жреческого рода. Желчные Архилоховы иамбы еще звучат в поздних подражаниях Горация и в новейших подражаниях Горацию; их язвительным сарказмом напитал Пушкин свои строфы «На выздоровление Лукулла» и отповеди Поэта в споре с «Чернью», первоначально озаглавленном «Иамб». Энергический, гибкий, выразительный стих, укрощаясь, постепенно расширяет круг своего господства и, наконец, почти безраздельно завладевает драматическим диалогом сцены. Но как ни широко разрослось Архилохово насаждение — ведь и поныне среди стихотворных размеров преобладает иамб, — еще важнее было само дерзновение заговорить в поэзии не о всеобщем, неизменном и непререкаемом, а о частном, случайном, лично усмотренном и лично пережитом. Каким же чудом это зыбучее, прихотливое, обособленное, беззаконное показалось потомству нечуждым некоей объективной правды, было признано «вдохновенным» сообщением?

В этом суть проблемы. Отчего стольких стихотворцев, докучающих нам излияниями своих чувств, мы готовы отстранить ледяными словами Лермонтова: «какое дело нам, страдал ты или нет, к чему нам знать твои волненья, надежды глупые первоначальных лет, рассудка злые сожаленья?» — и в то же время сочувственно откликаемся на признания других? Оттого, повидимому, что в первом случае психологическая данность обнажается преждевременно как таковая,

и бытие переживается не претворенным в отдалившееся и в себе оформившееся визионарное инобытие, — между тем как во втором случае *я*, испытывающее аффект, предстоит как бы в зеркальном отражении, следовательно, отчуждении творческому *я*, уже свободному от наблюдаемого и изображаемого аффекта: перед нами не действительный Архилох, а сценическая маска Архилоха. Без «очищения» (катарсиса), достигнутого таким внутренним отрешением от себя самого, не светится над произведением та потусторонняя улыбка хотя бы только предчувственной сверхличной гармонии, которая служит для людей знамением подлинности мусического сообщения. Неудивительно, что маска Архилоха говорит о себе, как все маски сцены, в иамбах. Архилох и по написании своих стихов остался в жизни тем же человеком, каким он был, но то, что́ он «возвел в перл создания», живет, освобожденное от него самого, вне времени, в невозмутимом царстве чистой формы; и это чудо Муз, над ним совершившееся, эллины умели святить.

3

Христианство, в борьбе с наследием античных религиозных идей, нанесло первый, но не смертельный удар вере поэта в его мусическое посланничество. Вдохновение среди язычников осеняло Сивилл, а также, редкими мгновениями, нескольких «христиан до Христа», каков Виргилий, мессианская эклога которого была прочитана на Никейском соборе. Все же остальное, приписанное внушению ложных божеств, — или демонское прельщение, или же в своей здоровой части, воспарение естественного разума и свидетельство нравственного закона, написанного в сердцах. Так учила церковь, спасая в то же время гуманистическую образованность; школа, в свою очередь, одновременно опровергала в силлогизмах и укрывала под риторическими фигурами преследуемых богов. В пятом веке Сидоний Аполлинарий, епископ сам, наводняет свои стихи языческою мифологией. От всего готовы были отречься поэты, кроме памятной гармонии форм и доверия красоте. Данте не обходится без призыва Муз, а через два столетия после Данте, в ватиканской палате, долженствовавшей, по мысли Юлия Второго, провозгласить своею стенною росписью «Риму и миру» достигнутое при посредстве платонизма примирение между эллинскою мудростью и богооткровенной, Рафаэль изображает сидящую на облаках, крылатую и лавром увенчанную Поэзию между двух ангелов,

держащих скрижали с начертанием Виргилиевых слов: «NUMINE AFFLATUR» — «божеством вдохновляема».

«Кто нас не чтит, пророков божества, — богов самих, надменный, презирает» — поет Ронсар. Поэты упрямо свидетельствовали о благодатной действительности вдохновения, потому что по опыту знали и непроизвольность состояний, означаемых этим именем, и хладное бессилие унылых будней между двумя божественными посещениями. Ибо только посещению приличествовало уподоблять то, чего нельзя было ни вызвать по воле, ни пересилить, когда оно внезапно овладевало душою, испуганною всё осмысливающим озарением, и влекло за собою смущенную мысль, куда она сама не хотела бы следовать, чтобы вдруг покинуть ее, предоставив беспомощно разгадывать чудесную весть. Отсюда открытая или стыдливо затаенная уверенность поэтов в существенной правде сотканных Музою вымыслов; и они верили им веками как вещим снам (Новалис записывает: «поэзия есть подлинно, безусловно реальное; чем поэтичнее, тем истиннее», что своеобразно перекликается с изречением Аристотеля: «поэзия философичнее истории», т. е. ближе к истине, чем рассказ о действительно случившемся), — пока из распада романтизма и во времена, уже близкие к нашим, из миазмов духовно опустошенной эпохи не зародилась в поэтической общине ересь, согласно которой задача поэта — иронически противопоставить тюремщице-действительности послушливую иллюзию и бессмысленной истине убедительную лжесвидетельницу — Химеру. И многоликая Химера победила бы правдолюбивую Музу, если бы дано было небытию осуществляться в творчестве. Но самая дикая грёза разоблачается как некий смысл в иерархии смыслов, вопреки намерению поэта, если в нем, как в Рембо, жив истинный дар, высвобождающий мотылька-создание из темных покровов; а ничтожество, прикрывающее свою пустоту украденными у живой полноты красками жизни, обличается как обман фигляра — «иль пленной мысли раздраженье».

«Защита поэзии», направленная энтузиастом Шелли против сторонников мнения, будто поэзия отжила свой век и перестала быть движущею силой в современном обществе, построенном на рациональных и утилитарных началах, лишь косвенно отражает умонастроения романтизма: верная в целом старинным заветам поэтического предания, не изглаженным и двумя веками торжествующего рационализма, она содержит мысли, восходящие по своим истокам, через эпохи

Возрождения, Данте, трубадуров, средневековых ревнителей классической словесности, до автора трактата, приписанного Лонгину «О Возвышенном» (который в духе Плотина сближает творческий восторг с мистикой «экстаза»), до Аристотеля, Платона, наконец Демокрита, первого философа, заговорившего о поэтическом вдохновении. Шелли пишет: «Поистине, нечто божественное поэзия. Ее дар обеспечивает человеку частые посещения божества. Интеллект, ведущий руку художника (по слову Микель-Анджело), не может дать себе отчета в зачатии и росте художественного творения. Поэты суть жрецы-возвестители непредвиденного вдохновения; зеркала́ гигантских теней, которые будущность бросает в настоящее; слова непонятные самому говорящему; живые трубы, зовущие в бой и не слышащие собственного призыва; неведомые миру законодатели мира. Поэтическое творчество не зависит от воли; величайший поэт не может сказать: хочу творить. Поэзия рождает бытие в бытии, вторично создает знакомый нам мир, обновляет космос. Поэзия не подчинена мышлению; ее наитие и удаление столь же мало зависят от нашего разума, сколь от нашей воли. В промежутки между вдохновениями поэт ничем не отличается от других людей и в равной с ними мере подвержен соблазнам повседневности» (срв. у Пушкина: «и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он»).

Юношеское рвение «защитить» поэзию показывает, как назойливо преследовал поэта вопрос пушкинской «Черни», всё тот же: «какая польза нам от ней?». Упрямый ропот толпы Пушкин ставит на счет ее «тупости», безнадежной невосприимчивости к прекрасному. Беспристрастный судья заметил бы, что грубый, как стук заимодавца, вопрос проистекает, напротив, из исконной, почти суеверной доверчивости к поэзии и честно подводит итог далекой диалектики. В самом деле, если слова поэта — знаменательные сообщения (как это провозглашает Шелли), важность предмета повелевает исследовать, что́ именно он сообщает. Но когда спрашивают его самого, он уклоняется от прямого ответа, отговаривается незнанием, медиумическою бессознательностью вдохновения: он только «уста богов» («os magna sonaturum»). Правда, не всё, исходящее вместе со «сладкими звуками» и «молитвами» из уст певцов, подобает возлагать на ответственность вдохновляющего божества; ведь и драгоценного сплава нет без примеси менее благородных металлов, и еще седая старина знала и терпела, что «много певцы от себя вымышляют». Пусть так; кто же однако эти боги или

демоны, движущие поэта? Их нужно знать, чтобы правильно понимать существенное, неслучайное в его словах. Если это Музы, как именовались у древних благие силы, приводящие святыню строя и богоявления красоты, почему глаголом поэта мир не устрояется, и красота его не спасает? И могут ли начальницы строя заявлять через своего посланника, что не дело поэзии строить жизнь? Ясно, что сообщениям поэта нельзя придавать значения безотносительного, безусловного, всегда равно непреложного. Если же так, то люди принуждены сами выбирать из этих сообщений наиболее для них ценные, т. е. наиболее способствующие гармоническому устроению личности и общества, а это значит: применять при выборе не критерий одной только красоты (ведь и мудрый Стесихор не умел вначале отличить истинной и непорочной Елены от ее соблазнительного и пагубного двойника!), но критерии гетерономные искусству: мерила нравственные, мерила общего блага, мерила — пользы. Если поэты, по Шелли, — «неведомые миру законодатели мира», то поэзия, в согласии с ее всеобъемлющими притязаниями, должна быть и полезною. Итак, требуя пользы толпа уверена, что требует от поэта выполнения изначала принятых им на себя обязательств, и вопрос, который она кричит ему в уши, значит, в ином выражении: как возможны бесполезные сообщения от богов?

4

Эта апория была следствием основного недоразумения: сообщение поэтическое было ошибочно понято как сообщение некоторого содержания, определимого в понятиях. На самом деле поэт сообщает не новые узрения уму (что составляет, впрочем, его неотъемлемое право), а новое движение душе (в чем заключается существенное свойство и непременное условие его действия). В роковом недоразумении были виноваты, впрочем, и сами поэты. Риторически украшая точные свидетельства древнего строгого искусства о природе мусического вдохновения, они, в погоне за поразительными образами, приравняли последнее сивиллинскому одержанию, исступленно пророчественному. Сивиллам свойственно сообщать содержание некоей вести: например, падение Трои, будущее величие Рима, близкое пришествие Мессии. Музы не пророчат, как пророчит устами Пифии или Кумейской Сивиллы Аполлон. Правда, в незапамятные времена вещий напев ведал вещун, но с тех пор как возникло умное веселие сообщительного искусства и певец стал

служителем Муз, он заплатил за свое новое призвание прежним обаянием «чуда, тайны и авторитета», отделявшим его некогда от непосвященных. Не «жечь», а согласно двигать сердца был он отныне призван, не «приносить дрожащим людям молитвы с горной высоты» — или «оракулы богов из глубины святилищ» (Ronsard), о которых в применении к поэзии, можно было говорить уже только метафорически, — но освобождать души из их тесноты, раскрывая дремлющие в них возможности дотоле не испытанного инобытия. «Вдохновение от Муз» — (собственно поэтическое вдохновение, согласно Платонову диалогу «Фэдр») — не голос, говорящий: «иди и скажи народу моему»; скорее оно подобно ангелу, сходящему возмутить купель. Оно — пробуждение некоего мощного движения в творческой душе и дарование слова, сильного пробудить такое же движение в душе внимающей. Перед лицом поэта нет посвященных и непосвященных, но все его слышащие тем самым посвящаются в той мере, в какой могут вместить сообщение в его открытую тайну, образ которой каждый носит в собственном духе.

Еще Гораций, заговорив о богах (Од. III, I), принимает позу жреца, сурово отстраняющего «непосвященных» (profani). Пушкинский поэт воспроизводит эту позу в упомянутом споре с Чернью. В другом стихотворении Пушкин изображает поэта бегущим прочь от людей на дальний зов бога, которому он жречествует. В сонете «Поэт, не дорожи любовию народной» — метафорически и не вполне последовательно, так как речь идет о «художнике», совершенствующем «плоды любимых дум», — дар поэта ознаменован аттрибутом пророчественного треножника. Эти образы уже у Горация должно признать ложноклассическими: в поэзии древней никогда не стирается грань, отделяющая идеальное видение от ясновидения, творческий восторг от экстазов Пифии, или Эсхиловой Кассандры, или Сивиллы Виргилия.

Пушкин знал все ступени и типы состояний, объединяемых в общем понятии поэтического вдохновения. Если однажды, не боясь задора, он заявляет: «вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии», то хочет этим сказать, что энтузиастические движения души, исключающие художественное самообладание, точнее было бы в современной речи означать словом «восторг»; оно же (по-гречески: harpagmòs) в самом деле было некогда синонимом «боговмещения», «богоодержимости» (enthusiasmos). Восторгу и древние, в пору расцвета искусства, отводили в царстве поэзии лишь одну, определенно очерченную область, а именно: дифирамб. Но не

тихий ли экстаз, т. е. «выход из себя», и то наиболее плодотворное для поэта-художника «расположение души», которое Пушкин описывает словами: «душа стесняется лирическим волненьем, трепещет и звучит, и ищет как во сне».....? Такая открытость музыкально взволнованной души сновидческому инобытию не отменяет творческой сознательности, — напротив, собирает творческие силы в некоем средоточии, отчужденном от предмета созерцания, хотя бы этим предметом была (что мы видели на примере Архилоха) собственная внутренняя жизнь... Возвратимся, однако, к упомянутому противопоставлению поэта-«жреца» «непосвященной» толпе.

Ни для Горация, ни для Пушкина вышеприведенные образы не были только условною фразеологией, как не отвечали они более и живым реальностям первоначальной веры. Они превратились в символику душевных опытов; ибо в садах души еще проходили, как елисейские тени, архетипы стародавнего религиозного мировоззрения. Поэт еще непосредственно ощущал силу, в нем действующую как вдохновение — как чью-то властную близость, наполняющую его «смятением» и «звуками». Его «звуки сладкие» переживаются им как «молитвы», и на запросы «Черни», которая, допуская в принципе его посланничество, хотела бы в то же время предписать ему содержание его откровений (contradictio in adiecto!), — он отвечает провозглашением не «искусства для искусства», но поэзии как общения с богами. Разве дух не веет, где хочет? Пусть же толпа сравнивает свободную песнь с бесплодным ветром; он сам с гордостью уподобляет свой стихийный произвол то степному ветру, волнующему пустынный ковыль, то угрюмому орлу, летящему «от гор и мимо башен на пень гнилой».

Спор о том, кто виноват в наступившем отчуждении между поэтом и людским множеством — он ли, движимый, оно ли, нуждающееся в двигателе, — Пушкин как-бы выносит на всенародное судбище. «Последний Поэт» Баратынского не спорит и не судится: он кротко жалуется на бездушие железного века, занятого только насущным и полезным, и ясно видит, что ему не осталось места в механизированном мире. «Silentium» Тютчева — интроспективный монолог. Первообразы древнего вещего творчества и в нем будят эхо родовой памяти; безмолвные, они проходят в его «Элизиуме теней» и сплетаются с хороводом «таинственно-волшебных дум»; ему ведомо как «Музы девственную душу в пророческих тревожат боги снах», — и тогда «живая колесница мирозданья открыто катится в святилище небес». Но — пер-

вый, быть-может, из новых поэтов — он усомнился в сообщительности поэзии как таковой, и больше того: в истине самого Слова. Без классических катурнов и без всякого вызова он скорбит в названной элегии о невозможности открыть свою святыню вне-стоящим.

Но не только по методу и стилю различествуют произведения, возвещающие одиночество поэта: они различествуют и по основному воззрению на творческую личность. Поэт Баратынского увядает, как цветок в поле, подрезанный железом сохи, по выражению римского элегика. Поэт Пушкина, еще «божественный посланник», согласно исконному преданию высокого искусства, принадлежит общему космосу богов и людей и в самом раздоре говорит общим с толпою языком; не обидны ей и бичующие речи из уст разгневанного жреца. Замкнувший свои уста поэт Тютчева, «умеющий жить в себе самом» и в себе построяющий свой зачарованный мир, невыразимый словом, ибо несоизмеримый, по его убеждению, с чужим внутренним миром, доводит раскол до крайнего предела. Этот отказ («il gran rifiuto» — на трагическом языке Данте) от всякого «посланничества» отметил эру ухода новейшей поэзии в лабиринт уединившегося духа.

5

Из противоречия между тезисом: «поэзия есть сообщение», и антитезисом: «содержание поэтического сообщения неопределимо и не определительно для сообщения» («о чем бренчит, чему нас учит, зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей?») — возник долгий и бесплодный спор о цели и назначении поэзии; и чем выше она оценивалась, чем более серьезное и ответственное дело усматривали в ней «важные умы», в противоположность беспечным поклонникам Граций восемнадцатого столетия, тем настойчивее притязали на ее «служение» внеположеные ей, гетерономные начала. Патриотизм, гражданская доблесть, религия, философия, мораль, любовь к свободе, попечение о благе общественном (благородные содержания, на каждое из коих поэт готов свободно, но не по долгу и принуждению откликнуться) соперничали между собою в усилиях достичь законного и исключительного ею обладания, в попытках ее «депоэтизировать». Обширен был диапазон этих домогательств — от мистико-аскетического призыва («иди ты в мир, да слышит он пророка, но в мире будь величествен и свят» — Хомяков)

— до якобинской повестки: «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (Некрасов).

Жуковский, принужденный цензурою переделать для посмертного издания сочинений Пушкина два стиха в «Памятнике» («и долго буду тем любезен я народу... что в мой жестокий век восславил я свободу»), не оскорбил ни величества Музы, ни памяти друга, написав: «и долго буду тем народу я любезен... что прелестью живой стихов я был полезен». Он был зорче новейших критиков и видел, что стихотворение строго различает посмертную славу у «пиитов», единственно способных оценить художественное совершенство, и славу в народе, благодарном за «чувства добрые», пробуждаемые лирой. Под пользою разумеет он приблизительно то, что в Германии еще с XVIII века, особенно же после Фихте, наконец, в круге идей Вагнера, мыслилось как «воспитательная» функция гения; причем нежно, но твердо ставит на вид, что это формующее воздействие достигнуто не во исполнение заранее поставленной цели, а непосредственно и как бы мимовольно, живой прелестью самой поэзии. Но тот же Жуковский расценивает поэзию по табели о рангах «высоких» содержаний, когда, не поняв всей глубины пушкинского замысла, пишет тому, кто был еще так недавно его учеником: «Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих Цыган. Но, милый друг, какая цель? Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое? Как жаль, что мы розно». На что Пушкин отвечает: «Ты спрашиваешь, какая цель у Цыганов. Вот на! Цель поэзии — поэзия». В этом вопросе и ответе, в этом «как жаль, что мы розно» — весь спор о содержании поэзии налицо.

Примирение тяжущихся сторон было невозможно. Взаимное непонимание привело к разрыву, возвещенному в тютчевском «Silentium». Судьбы того в поэзии, что́ есть сама поэзия, надолго определяются противоречием между ценностями искусства и ценностями жизни. И поныне не изжит раскол, ибо он снимается только в религиозном синтезе, но и по сей день «жизнь не хочет Бога». (по словам Ф. Сологуба). Ближайшие поколения еще мучительнее пережили разлад, оплаканный отцами. Отчуждение от общества, омрачившее Альфреда де Виньи, воспринимается Бодлэром уже как «проклятие», тяготеющее над поэтом от рождения. «Сплоченному большинству» не было до всего этого, разумеется, никакого дела. Затворничество — или отступничество — гения не лишило демос его лавреатов, риторов в

стихах, его громозвучных трибунов, которых в награду за их героическую верность, ждали по смерти гражданские похороны в заблаговременно секуляризованных пантеонах. Но как было осуществить уединившимся суровый завет: «ты царь, — живи один»?

Безмолвие (Silentium) — молчальничество, налагаемое не сомнением в слове, а трезвением слова, «хранением уст» и, наконец, невольною немотой высшего экстаза, — было бы началом того восхождения на высоты мистики, которое закономерно влечет и закономерно ужасает поэта, согласно наблюдениям и анализам Анри Бремона в его прозорливой и пленительной книге «Молитва и Поэзия». Непосильным оказывается поэту такое восхождение: слишком долог и труден путь до светлой вершины, с которой опять мог бы прозвучать его голос, до тех обителей в «соседстве Бога», где невидимая рука распечатала бы его «дверь ограждения» и духовное молчание превратилось бы в сообщение (как это было со св. Иоанном Креста). Открывалась одиноким и другая тропа, соблазнительная как наркоз для умов во всем изверившихся: она вела в пустыни и марева лже-творческого химеризма. В «великое Ничто» («le grand Néant») устремились за Химерою отчаявшиеся: Панургово стадо ринулось в пучину.

С прямого и правого пути поэзии не сбились те (и между ними сам Тютчев, забывший, к счастью, свой зарок безмолвия), которые, не ожидая ни понимания, ни даже внимания окружающих, продолжали петь, как поет, один на взморье, ночной гребец Шенье-Пушкина — «без дальних умыслов, не ведая ни славы, ни страха, ни надежд», и потому только, что «любит песнь свою». Они поверили непосредственному чувству, которое говорило им, что «цель поэзии — поэзия», и — пожертвовав всем, — что не она — приобрели, казалось бы всё: ибо поэзия — вся многоликая жизнь, переживаемая поэтом в форме инобытия.

Но поэтическое инобытие есть лишь форма раскрытия творческой личности чрез идеальное осуществление присущих ей возможностей, пусть даже неисчислимых, но качественно ограниченных пределами самой личности, поскольку она остается себе тождественной и внутренне неподвижной. Поэт, уединившийся в лабиринты своей внутренней жизни, рано или поздно распознает во всем многообразии этих возможностей их коренное тождество и, сбросив с них пестротканный покров, встречается лицом к лицу со своим мертвенно-неподвижным *Я*. Воскреснуть значило бы всецело преодолеть

свой прежний закон бытия и перейти в реальное инобытие, согласно призыву Гёте «умри и стань» («stirb und werde») в мистическом стихотворении «Святая Тоска». Такая встреча с двойником, тоскующим святою тоскою по реальному инобытию, не может, если она не спасает человека в поэте, пройти для него безнаказанно. И не случайно за периоды уединения творческой личности биографии многих поэтов кончались душевной катастрофой.

6

Как бы то ни было, поэзия заявила свою независимость. В течение двадцати веков, памятуя уроки александрийских грамматиков, знатоки-эрудиты смотрели на неё как на полуавтономную провинцию разносоставной, но одноязычной империи, именуемой литературой. Отныне как будто возревновав о былой своей славе в эллинстве эпохи классической, она тяготится своим местом в литературе («музыки прежде всего», восклицает Верлэн, презрительно добавляя: «всё остальное литература») — местом почетным, правда, но связанным со столькими стеснительными обязательствами (уж одно обязательство выражаться общепонятным языком чего ей стоит!), — и стремится примкнуть к союзу искусств, как мусическое искусство слова, соприродное музыке, мусическому искусству звуков. Отныне она сознает себя всецело искусством, а принцип этого последнего, его альфа и омега — форма.

Изначальная интуиция формы, требующей воплощения (часто немым прибоем ритма), её движение и превращения, наконец её исполнение и покой, суббота совершившегося бытия, — совершенство, в котором живы все последовательные содержания времени, а времени больше нет, — вот зарождение, развитие и конечная цель поэтического творения. Подобно тому как образное и смысловое изъяснение инструментальной музыки (напр., комментарий Вагнера к Девятой Симфонии Бетховена), даже в тех редких случаях, когда возможно установить психологическую связь её порывов и затиший с некоторым строем сказуемых представлений и чувствований, далеко не исчерпывает и не определяет во всей его единственности сообщения, заключенного в её звучащей форме; как в живописи византийская Богоматерь и Мадонна Рафаэля суть два разные сообщения, хотя мысль, отвлекаясь от изображаемого, выходя за пределы образа, вольна относить оба к одному предмету веры или умозрения: так и в поэзии форма — всё; и всё, самое задушевное и несказа́нное,

претворяется без остатка в эпифанию формы, которая озаряет и обогащает душу полнее и жизненнее, чем какое бы то ни было «содержание», извлеченное из неё или в нее вложенное искателями «главной мысли», или «основной идеи» произведения. Поэтическое откровение есть сообщение формы словесной и душевной нераздельно. «Что внутри, то и снаружи»: это слово Гёте об органической природе всецело применимо и к искусству. Такое понимание формы явно противоречит обычному взгляду на неё, как на вместилище отдельно полагаемого смысла, — взгляду, который позволял бы при оценке поэмы уподоблять одну искусно расписанному кувшину с домашним сабинским вином, другую грубой амфоре с выписанным фалернским или хиосским. Между тем дело обстоит проще: как несоответствие словесной изощренности внутреннему бессилию замысла, так и несоответствие словесной беспомощности смысловому богатству равно свидетельствуют о неудачном покушении выдать за поэзию то, что, быть может, пригодилось бы для целей в одном случае — риторики, в другом — философии. Ошибка суждения проистекает из близорукого противопоставления некоего *что*, относимого к заданию, почерпнутому художником будто бы извне, из сфер, вне искусства лежащих, и некоего *как*, относимого к выполнению этого задания и именуемого формой. На самом деле искусство всё стоит под знаком *как*, и само зачатие художественного творения заключается в том, *как* художник видит вещи: если он показал их, как увидел, его задача выполнена. Через это художественное *как* мы узнаем и *что* он увидел в мире. Отношение между *что* и *как* в науке обратно: она всегда сообщает некоторое *что*, но это *что* никогда не относится к субстанциальному *что* вещей, а исключительно к их модальному *как*.

Отказываясь служить сосудом познания и предпочитая в каждом новом своем проявлении быть новым аспектом познаваемого, поэзия живет как бы по ту сторону ве́дения и неве́дения, действительности и вымысла; древо познания её пугает, она идет играть под другим деревом, которое называет древом жизни, и не обижается, если люди, смеясь над её играми, обзовут её «прости Господи — глуповатой»: она знает про себя то, что знает. Шутка Пушкина, всегда меткого в своих определениях, новыми наблюдениями над психологией творчества подтверждена и уточнена: детская непосредственность поэзии есть вынужденная самозащита певучей души (Anima) от педантической тирании её бдительного опекуна — Ума (Animus), не подозревающего в своем ограниченном и

самодовольном умничанье, что он мог бы от неё кое-чему с немалою для себя пользою научиться (см. об отношении между обоими «Positions et Propositions» П. Клоделя и упомянутую книгу Анри Бремона). И опять сравнение с наукой поможет нам отчетливее очертить сказанное. Подобно поэзии, творящей единственную форму для каждого отдельного поэтического узрения, наука стремится найти единственную форму для каждого отдельного круга исследуемых ею явлений; но в то время как наука хочет быть строго объективной и в этом смысле провозглашает свои выводы общеобязательными, поэзия, особенно рассматриваемая как форма, представляется предельно субъективною, что однако не препятствует ей, простодушной, обмолвиться подчас никому не обязательной, но всех потрясающей истиной. Ибо не дело поэта изображать вещи, как они представляются всем; его назначение — показать узренный им одним образ тех же вещей, чтобы дивились им люди, как будто впервые их увидели, и радовались узнавая родное и ведомое, и сам родной язык в чудесной метаморфозе — в той новой форме, в какой явил их поэт.

«Я пел», говорит дух Виргилия в сложенном по смерти поэта надгробии, — «пажити, поле, вождей». Кто не слышал пения, скажет: не всё ли равно, о чем он пел? Но тому, кто был во власти его магических стихов, кому доносили они отзвучиями иного бытия в бытии то влюбленные пастушеские свирели, то — над лязгом оружия и смятением битв — сивиллинские глаголы судеб, кто покоренный задумчиво-нежною и миротворною мелодией, верил с его земледелами святыне Земли и с его вождями, послушными служителями обетования, благому Промыслу, — тому слова эпитафии напомнят единственную гармонию его единой песни, его певучей теодицеи. Если вечно зеленеет (semper viret), по слову Энния, Гомерово древо, не чужая нам повесть о слишком древних и далеких от нас героях не увядает: нетленна Гомерова форма надмирного созерцания жизни в зеркале недвижной памяти. Мильтонов «Потерянный Рай» обязан возвышенностью своего строя не возвышенности предмета поэмы, но высоте несущего её трагического пафоса, стремительная сила которого нашла в избранном предмете достаточно вместительное русло, — так что то, что обычно именуется содержанием (рассказанная поэтом повесть), образует лишь формальное условие воплощения творческой энергии, составляющей внутреннюю музыкальную форму Мильтонова духа. Взгляд на форму, как на активный зиждительный принцип, изнутри организующий художественное произведе-

ние, намечается в XVIII веке у Гердера, вспомнившего (чрез размышление над Лейбницем) об Аристотеле. Так, по его словам, Шекспирова драма во всех её частностях, во всех особенностях сценической структуры, характеристики, языка и ритма подчинена единому закону, и этот единственный закон её есть именно закон Шекспирова мира.

Очевидно стало, что форма в поэзии не то, что́ форма в риторике, не «украшение речи» (ornamentum orationis), но сама жизнь и душа произведения; а то, что называется содержанием, составляет лишь материальный субстрат, в котором нуждается для своего самораскрытия и осуществления возникшая в духе форма. Учитывая новую «установку» (как стали говорить после Гуссерля) — на форму, какой-то Полоний из эстетиков предложил всех удовлетворившую теорему о совпадении формы и содержания, — доказать которую было однако затруднительно, потому что оба понятия, не найдя себе точного определения, оставались расплывчатыми и изменчивыми, как облака. Или же доказательством совпадения была сама двусмысленность терминов? В самом деле, достаточно было переменить точку зрения, и содержание представлялось формой, а форма содержанием. Радикальнее были настроены те художники, которые решили разрубить Гордиев узел, изгнав из своих произведений всякое «содержание», как нежелательную примесь «литературы», и героически сосредоточили все усилия на поисках «чистой формы». Но «чистая форма» повсюду, где талант не сбрасывал добровольно надетых цепей, оказывалась не узрением, а построением, не живою конкретностью, а рассудочною абстракцией и уже никак не «сообщением», если под таковым, в разговоре о духовных деятельностях подобает разуметь общение одаряющего и одаряемого в живом обладании неубывным благом.

В словопрениях часто приходится вспоминать оракул Гёте об «истине, давно найденной», и его совет — «её себе усвоить, старую истину». Решительный ответ на вопрос о значении и природе художественной формы был дан еще в средние века. Исходя из господствующих в наши дни предрассуждений, естественно было бы ожидать, что схоластики, объявившие философию служанкой теологии, тиранически подчинят в искусстве принцип формы содержанию, как проводнику религиозной идеи. Между тем они говорят единственно о форме, о содержании же вовсе не упоминают, что́, впрочем, и не удивительно, так как в их лексиконе логически-чистых понятий не находится соответствующего слова. В так называемом «Opusculum de

Pulcro», написанном, если не самим Фомою Аквинским, то одним из его ближайших учеников, прекрасное определяется как «сияние формы», разлитое по соразмерно сложенным частям вещественного состава (resplendentia formae super partes materiae proportionatas)». Форма на языке схоластиков есть Аристотелева действующая, творческая форма, имманентная вещам, как внутренний акт, идея, впервые возводящая в реальное бытие пассивный и ирреальный в своей бесформенности субстрат материи, каким является в искусстве камень, звуки, бессвязные элементы языка. Сияние формы означает совершенную победу формы над косной материей, целостное осуществление (возведение в бытие) её потенций, торжествующее исполнение (энтелехию) формы как цели. Символ сияния напоминает о том, что красота в дольнем мире есть затускненный природною средой, но все-же светоносный отблеск сверхчувственного сияния красоты божественной.

7

Размышление о природе привело метафизиков эпохи Возрождения к различению понятий: natura naturans и natura naturata. Так размышление об искусстве приводит нас к выводу, что понятие формы художественной двулико, что различны должны быть форма зиждущая — forma formans — и форма созижденная — forma formata. Что же предлагается разуметь под формою зиждительной, образующей и под формою зиждимою, или сотворенной?

Последнее — само произведение, как вещь — res — в мире вещей; первая существует до вещи, как форма ante rem, как действенный прообраз творения в мысли творца. Это не замысел, понятый как интенция, и даже не замысел, как притяженность фантазии далеким образом, еще неясно различаемым чрез магический кристалл (так вглядывался некогда Пушкин в «даль свободного романа»). Нет, это — уже самостоятельное бытие, определившееся до существенной независимости от самого художника, взыгравшая в его «беременной» (по смелому выражению Платона) душе умная сила, безошибочно знающая свои пути и предписывающая материи свой закон необходимого воплощения. Это — живая душа и готовое душевное тело изваяния, спящего в мраморной глыбе. Красота прекрасных стихов — forma formata; их поэзия — forma formans.

Ничто художественно не оформленное не принадлежит искусству, но одно внешнее оформление, как бы искусно оно ни было, не делает само по себе работы мастера, только мастера, созданием искусства. Безжизненным изделием, облаченным идолом под золотою личиною представится нам сооружение мастерства, если сотворенная форма не стала живым обличьем формы творящей, если все её особенности — и пусть даже несовершенства — не говорят о её свободном согласии с целым и не оправданы дышащим единством целого, внутреннею целесообразностью зиждущего свою плоть, вдохновенного и тем самым чудесно одушевленного образа. Явственнее обнаруживается творящая форма в искусствах мусических, где оформление происходит во времени, нежели в искусствах пластических, где сотворенная форма представляется изначала данною; но как в тех, так и в других то, что доставляет нам впервые удовлетворение, есть чувство достигнутого осуществления некоей предузренной или предуслышенной формы; и тем полнее наше удовлетворение, чем полнее это осуществление, чем очевиднее претворение всех возможностей материи в единый, себе довлеющий и себе мыслящий космос, каким является совершенное создание благодаря всецелой победе зиждущей формы.

Поэзия есть сообщение зиждущей формы чрез посредство формы созижденной. Это поистине со-общение, т. е. общение, ибо первая, будучи движущим актом, не только зиждет вторую, но при её посредстве пробуждает и в чужой душе аналогическое созидательное движение. Она не просто запечатлевается в памяти, подобно форме созижденной, но, будучи сама актом, передается чрез проницаемую среду последней, как энергия, в чужое сознание (мысль, чувство, волю), которое воспроизводит в себе тот же акт, устрояя себя в согласии с её ритмом и строем. Эстетически пережитое становится целостным душевным опытом и запоминается, даже когда напечатление созижденной формы почти изгладилось. «Есть сила благодатная в созвучьи слов живых» — говорит Лермонтов в своей любимой молитве, и то же — toutes proportions gardées — может быть утверждаемо о поэзии: «созвучье слов живых» — её сотворенная форма, посредница; «сила благодатная» — зиждущая форма, неизменно действующая, едва воскреснут в памяти, хотя бы дальним отзвуком заветные «живые слова».

Отсюда вытекают два следствия, из коих одно в индивидуально-психологическом отношении ограничивает, другое — с точки зрения культурно-прагматической — безмерно расширяет объем понятия излучающейся энергии, как свойства зиж-

дущей формы. Чтобы оказать описанное действие эта последняя должна быть родственна зиждительным силам души, открывающейся сообщению; она бездейственна, если не связана коренными соответствиями с внутренней формой — энтелехией — воспринимающей личности. Вот почему многие, тонко чувствительные к созижденной форме великих произведений искусства, остаются им внутренне чуждыми, невосприимчивыми к исходящей из них движущей силе: можно восхищаться творениями гения и сознательно или бессознательно заграждаться от актуального с ним общения. Другое же следствие — то, что искусство непроизвольно и непреднамеренно (зиждущая форма не терпит рядом с собою другого направляющего начала) излучает свое действие во все сферы духовного и душевного самоопределения, и никакая «башня из слоновой кости» не может уединить поэзии от взаимодействия с общим потоком жизни. В этом свете изречение Пушкина: «слова поэта — дела его», приобретают особенный, торжественный или роковой смысл, и грозно возрастающею, соразмерно славе художника, представляется его ответственность перед людьми.

Однажды Гёте имел мгновенное и единственное в своем роде, хоть и всем близкое, всем душевно созвучное, зрение вечернего покоя природы. Такой взгляд на повседневное, открывающий в нем нечто никем не уловленное и не закрепленное, Сезанн называл «ma petite sensation»: это — зерно зиждущей формы. Свое узрение Гёте выразил в стихотворении, хорошо нам известном по его русскому эхо — «Горные вершины спят во тьме ночной». Что хотел сказать им поэт? — спрашивает себя наша неугомонная, — но и законная в своих пределах, — воля к всеосмыслению. Он заставляет нас живо ощутить космическое единство нашей жизни с жизнью природы: ритм последней — вечная смена в ней оживления и покоя — есть ритм всякого бытия; единый закон обеспечивает освеженному сном пробуждение к деятельности, усталому — отдых. Такова ли была мысль поэта? Нет, это — наше размышление над его узрением, объективно оправданное всем, что мы знаем о его основном мировосприятии; сам же он в данное мгновение не хотел и не мог сказать ничего другого, кроме того, что сказал: «всё отдыхает, — отдохнешь и ты». И даже это уверение высказано не как заключение от общего к частному, но как безотчетное чувствование или предчувствие. Словом, — творя он вовсе не мыслил, но был всецело во власти родившейся в его духе зиждущей формы. Только позднее, в пору рефлексии над созданным, располагая свое собрание

стихов, он сопоставляет (под заглавием «Ein Gleiches» — то же самое) свой мелос о горных вершинах и «Ночную Песню путника», призывающую мир с небес в душу, усталую от треволнений жизни. Излучение, свойственное зиждущей форме, пробудило в Лермонтове, поэте другого словесного царства, не только ответное движение, но и однородное зиждительное влечение. Что было невозможно в пределах того-же языка (так как forma formata единственное выражение своей forma formans), то по аналогии осуществимо в материи и психике языка чужого. И если истинный стих, по глубокомысленному замечанию Шопенгауера, изначала заложен и предопределен в стихии языка, то иноязычное перевоплощение зиждущей формы не могло, в качестве формы созижденной, не проявить себя самобытным, как его стихия. Иначе была бы перед нами не новая жизнь, а бездушный слепок, ибо не зиждущая форма произвела бы его, а механическая миметика внешнего жеста. Поэтический перевод не имеет художественной ценности, если он не является новым порождением, новою органическою кристаллизацией зиждущей формы: так снежинки, осаждающиеся из того же облака, в разных узорах воспроизводят общий тип своего кристаллического строения. Оттого переводные стихи (таковы, например, переводы Жуковского из Шиллера) могут быть сладкозвучнее подлинника. Но Лермонтов и не думал о переводе: лирическому волнению, которое вдохнул в него Гёте, он предоставляет безотчетно владеть его душой, которая забыв об источнике воспринятого внушения, сомнамбулически следует своему внутреннему зову: «трепещет и звучит и ищет, как во сне, излиться наконец свободным проявленьем». И вот мы уже не на холмах Тюрингии, а в горной долине Кавказа; прерывистые шепоты и веяния (с преобладающим звуком «Hauch»,—«дуновение») сменились речью определительной и мужественной, и — мнится — не легкокрылый дух, реющий в дыханьи ночи, а некий таинственный спутник, невидимый двойник — (или то — глубокое *я* самого поэта, которому открыто грядущее?) — возвещает путнику близкий отдых. На этом примере мы искали наглядно показать самостоятельность зиждущей формы, её отношение к форме созижденной и её излучающую силу.

В заключение напомним читателю стихотворение Гёте «Постоянное в Изменчивом» («Dauer im Wechsel»): оно связано с предметом нашего рассуждения двойною связью. Во-первых, «дар Муз» («die Gunst der Musen») определяется как «форма в духе» («die Form in deinem Geist»). Эта форма, об-

ретенная в духе, — forma operis ante opus factum, — есть, очевидно, то самое, что́ мы, в отличие от формы созижденной (formata), назвали зиждущей формой (forma formans). Нередко употребляют слово «форма» в значении художественного *как* (comment) в противоположность предмету изображения, художественному *что* (quoi); ясно, что поэт имеет в виду не совершенство выражения, не искусство выполнения, но предопределяющий свое воплощение творческий образ. Также и под «содержанием» (Gehalt) разумеет он не предмет поэмы, но избыточную полноту сил и воодушевления, необходимую для творчества: иначе не сказал бы, что поэт находит это содержание не в интеллекте или фантазии, но в своей груди («in deiner Brust»).* Во-вторых, само стихотворение есть попытка удержать, охватить, согласить многообразное, противоречивое, непрестанно сменяющееся и ускользающее содержание жизни путем обретения в духе единой формы, его обнимающей, как чего-то постоянного, не отменяемого, но утверждаемого самою сменой взаимно отрицающих друг друга явлений. Поэт, обозревая долгую жизнь и длинный ряд собственных метаморфоз во времени, преодолевает скорбь о невозвратно минувшем и, можно сказать, само время, воскрешая всё пережитое в сознавшем себя единстве своей «изначала-запечатленной формы» («geprägte Form, die lebend sich entwickelt»). Здесь понятие зиждущей формы переступает за пределы искусства и утверждается в жизни как принцип личности.

Долго ли благоухает
Первый вешний дым садов?
Теплый ветер отряхает
Дождь обильный лепестков.
И зеленая прохлада
Не надолго мне дана:
Дунет осень, — листопада
Закружится желтизна.

Ветвь красуется плодами, —
Сочные срывать спеши:
Под укромными листами
Спеют новые в тиши.

---

* . . . danke, dass die Gunst der Musen Unvergängliches verheisst: den Gehalt in deinem Busen und die Form in deinem Geist.

Рухнул ливень: луг мой — заводь,
Свой ли вижу дол родной?
Вот речная ширь: не плавать
Дважды мне в реке одной.
А ты сам! Как то, что мнилось
Нерушимым, — строй палат,
Стен твердыни, — изменилось
На состарившийся взгляд!
Где уста, чей пламень верный
Встречных милых уст искал?
Ноги, что тропою серны
Прядали по кручам скал?

Где простертая с услугой
Дружелюбная рука?
Мышц и жил состав упругий?
Не вернется вверх река.
И в местах, где лик мелькнувший
С именем твоим слиян,
Ах, то звук волны плеснувшей,
Ускользнувшей в океан!

Бег изменчивых явлений,
Мимо реющих, ускорь:
Слей в одно закат свершений
С первым блеском нежных зорь.
От низовий жизнь к истокам
В миг единый обозри:
В лик единый умным оком
Двойников своих сбери.
Неизменен и чудесен
Благодатной Музы дар:
В духе форма стройных песен,
В сердце песен жизнь и жар.

Вячеслав Иванов

ЧТО СДЕЛАЛ СВ. ИОАНН КРЕСТА*

1

Если бы люди вдруг забыли Евклидовы Начала Геометрии или Ньютонов закон мирового тяготения, то многое изменилось бы к худшему в жизни человечества. Люди наших дней забыли нечто более нужное для них и важное, чем открытия Евклида и Ньютона, — религиозный опыт святых, и горькие плоды этого забвения мы сейчас вкушаем.

Нам, может быть, нужнее всего религиозный опыт св. Иоанна Креста, потому что в нем преодолевается «путь отрицания», — то, что отдаляет нас от религии: путь отрицания в этом опыте становится путем утверждения.

Очень верно и глубоко сравнивает св. Иоанна Креста один из знатоков его с Кантом.

Ни один мудрец не пытался
Быть в незнании своем
Выше всякого знания, —

это мог бы сказать и Кант вместе с Иоанном Креста. «Критикой чистого разума» называет Кант одну из главных книг своих. «Критикой чистой мистики» мог бы назвать св. Иоанн Креста все, что он сделал. «Критикой чистого безумия» могли бы это назвать люди наших дней. Если в критике чистого разума никто не идет дальше, чем Кант, то в критике чистой мистики никто не идет дальше, чем св. Иоанн Креста.

Чтобы понять то, что поняли Кант и св. Иоанн Креста, нужна была не только сверхчеловеческая сила ума, но и какая-то физиологическая особенность в строении тела, нечто вроде способности повертывать голову так, чтобы лицо оказывалось там, где был затылок, и видеть то, что всегда от лю-

---

* См. книги «Н. Ж.» 64 и 65.

дей, за их спиной, прячется и подстерегает их, чтобы рано или поздно поглотить. Это, невидимое людьми, Кант называет «трансцендентальной эстетикой», а св. Иоанн Креста «преисподним опытом». Вот, кажется, одна из многих причин его одиночества: люди бегут от этого человека с чудовищно-перевернутым лицом, как от неземного страшилища.

«Бог бесконечно превосходит человеческое понимание, так что, чем больше человеческий разум хочет понять Бога, тем больше от Него отдаляется, — учит Иоанн Креста. — Вот почему разум должен освободиться от себя самого и отказаться от понимания, чтобы достигнуть Бога верою... Не понимая, человек больше приближается к Богу, чем понимая». — Этого, может быть, никто не говорил так же ясно и точно, кроме великого фламандского мистика, Генриха Сузо и Паскаля. «Вечной жизни достигает человек только по отречении от всего, что он может мыслить и выразить», учит Генрих Сузо, и Паскаль: «нет ничего естественнее для разума, чем отречение от себя самого» — «Последнее действие разума сводится к тому, что есть нечто бесконечно-высшее разума».

Меньше всего это отречение от разума у св. Иоанна Креста и Паскаля похоже на отрицание у Лютера. Разум для Лютера «величайшая блудница диавола», а для Паскаля «царственное величие человека — мысль». — «Человек — только тростник, самый слабый в мире, но тростник мыслящий... Если бы мир раздавил человека, он все-таки был бы выше мира, потому что знал бы, что умирает, а мир ничего не знает... Мир обнимает и поглощает меня пространством, но мыслью я обнимаю мир». Теми же почти словами говорит и св. Иоанн Креста: «мысль человека дороже целого мира: следовательно один только Бог достоин мысли». Лютеру было очень легко отречься от разума, а св. Иоанну Креста и Паскалю — очень трудно, почти невозможно, и отречение их — великая жертва.

«Бог есть Непознаваемое», в этих трех словах — главная основа всего религиозного опыта св. Иоанна Креста. Все, что люди слишком легко называют «Богом» он презирает. «Следует бежать от видений и откровений, как от величайшей опасности», предостерегает он. «Некоторые так погружаются в эти обманы диавола и так ожесточаются в них, что их возвращение к простому добру и к истинному благочестию становится сомнительным». Мнимо или действительно «видение», спрашивать нельзя: всякое видение мнимо, потому что возвращает нас в область явлений. Мнимы видения, поскольку внеш-

ни, но, в последнем счете, все внешни, потому что ограничивают Бога пространством и временем, условиями всякого мышления. Клиническая точность в наблюдениях Иоанна Креста над порождающими мнимые видения и откровения душевными болезнями — такая же, как у великого врача, Гомеца Перейры.

Вероятно, очень удивила бы добрых католиков потерянная или уничтоженная Инквизицией книга св. Иоанна Креста «О чудесах». «Я не был бы христианином без чудес», говорит св. Августин. «Я был бы христианином и без чудес», мог бы сказать св. Иоанн Креста, да он это и говорит: «плохо я верил бы, если бы нуждался в чем-либо подобном». — «Не воля Божия творит чудеса; если же Бог все-таки творит их, то можно бы сказать — только по необходимости», потому что люди слишком маловерны, чтобы обойтись без чудес. «Пусть же человек духовный отвергает с закрытыми глазами все чудеса». Но если бы неверующие думали в этом найти союзника в св. Иоанне Креста, то очень ошиблись бы: он отрицает чудеса не потому, что мало, а потому, что слишком верит; вера сама для него величайшее из всех чудес.

В «Темной Ночи Духа», отрекаясь не только от человеческого разума, но от всех «откровений», «видений» и «чудес», он чувствует себя, «как путешественник, идущий по неизвестным путям для открытия неизвестных земель, которому уже бесполезно всё, что он прежде знал, и который идет, сомневаясь во всем и пользуясь чужим знанием (по разведкам). Если бы не шел он по этим новым путям, то ничего не открыл бы и знания своего не умножил бы».

«Критика чистой мистики» и есть тот корабль, в котором Иоанн Креста, подобно Колумбу и другим испанским конквистадорам XV века, переплывает великое Море Мрака, чтобы достигнуть внутреннего Нового Света.

2

«Все, что я говорю, я отдаю на суд нашей Матери, святой Римской Католической Церкви, потому что под ее водительством мы не можем заблуждаться». — «Я готов отречься от всех моих заблуждений... какое бы покаяние на меня ни наложили». Эта бесконечная покорность Церкви не помогла св. Иоанну Креста: раза три или четыре, вероятно, доносили на него Инк-

визиции в Толедо, Валлодолиде и Севилье, как иа «еретика-иллюмината». «Если бы он не умер, то его расстригли бы и выгнали из Братства», скажет о ием о. Диэго Еваижелиста через несколько месяцев по смерти его. И потом в течение тридцати лет иезуиты будут доиосить иа него, обличая в ереси. Большая часть «Темной Ночи» и «Восхождения на Кармель» уничтожеиа, если ие самим Иоаиием Креста, то Иикквизицией, так же, как вся его переписка с Терезой. Добрых католиков удивила бы, вероятно, и эта переписка не меиьше, чем книга его «О чудесах». — «Не воля Божия творит чудеса», — этих слов достаточно было бы, чтобы отлучить его от Церкви, а, может быть, и сжечь на костре, так же, как этих: «думать, что сила молитвы зависит от каких-либо обрядов, ceremonias, зиачит оскорблять Бога», или другими словами: «церковное богослужение оскорбляет Бога». В этом учении св. Иоанна Креста могли бы себя узиать испанские иллюминаты, так же, как германские протестанты и французские кальвинисты. Правы были отчасти о. Тостадо и о. Дория, когда считали Иоанна «мятежником» против Римской Церкви. «Наше учение не имеет ничего общего с ненавистным учением тех, кто, будучи, движим сатанинскою гордыней и завистью, хотел бы запретить верующим святое и необходимое для них почитание икои, — говорит Иоанн Креста. — Истиииое благочестие должио идти от сердца и видеть во внешних изображениях (иконах) только внутрениюю сущность изображенного; все же остальиое есть несовершенство связывающее душу, от которого должно освободиться, если хочешь быть совершеиным». Это очень осторожно сказано, но на воре и шапка горит, могли бы заметить на это отцы инквизиторы. Слишком хорошо поиимали оии, что основа всего учения Иоанна Креста — «непозиаваемость Бога для человеческого разума» — ниспровергает все богословское учеиие св. Фомы Аквинского, иа котором зиждется Римская Церковь. В 1770 году, постановлением Ватиканского Собора будет произнесена «аиафема» тому, кто отрицает, что «при свете естествеиного, человеческого разума бытие Бога достоверно познаваемо». В 1726 году, Иоанн Креста увенчан венцом святости, а в 1870 году «анафематствован». Церковь ие знает, что с ним делать, потому что он в нее ие вмещается: то «святой», то «еретик», подверженный «анафеме».

«Кроме того света, который в сердце моем, никакой иной не вел меня». Это с одной стороны, а с другой: «только под водительством Церкви иикто не может заблуждаться». Что

же ведет его — внутренний «свет сердца», или внешний свет Церкви, — этого он, может быть, и сам не знает, или знает и молчит, потому что противоречие между этими двумя светами слишком для него страшно.

3

Это противоречие видно яснее всего в том, что он говорит о духовниках. «Духа св. помазания так чисты и тонки, что ни самой душе, ни духовнику непонятны, и легчайшего к ним прикосновения достаточно, чтобы их уничтожить... Если бы неискусный художник исказил тяжелыми и грубыми мазками картину великого мастера, это было бы хуже, чем если бы он сам намалевал множество скверных картин». Дух — великий художник, — а маляр — духовник. «Только бить... по душе умеют они (духовники), как молотом бьет кузнец по наковальне». — «Действуй, — говорят, работай, созерцай, размышляй... все же остальное — только обман иллюминатства». — «Пусть же знает душа на пути к совершенству... как трудно, почти невозможно, будет ей найти... учителя, обладающего нужным для нее опытом... Нет никакого сомнения, что духовные учителя (лишенные опыта) причиняют величайшее зло множеству душ. Крайние в духовных путях невежды... отвращают они души от тех тонких и нежных помазаний, которыми Дух Святой готовит их к соединению с Богом. Эти учителя... предписывают ученикам своим только презрения достойные правила, которые сами изобретают или находят в случайно-прочитанных книгах, и которые пригодны только для начинающих. Если даже воля Божья очевидна, упорствуют они, не позволяя душам идти дальше умного делания и воображения. И как скудны такого благочестия плоды! — Кто это говорит — иллюминат, протестант, ученик Лютера или Кальвина? Нет, вернейший сын католической Церкви, св. Иоанн Креста.

Внутреннюю свободу духа утверждает он против внешнего насилья духовников с такой же силой, как это делают Лютер и Кальвин: «нельзя ничем извинить духовника, который заботясь о душе, никогда не дает ей освободиться, под предлогом должного ему уважения и послушания». — «То, что делаете вы, духовники, есть т и р а н с т в о над человеческими душами: вы лишаете их всякой свободы, считая себя единственными обладателями свободы евангельской». — «Это т и р а н с т в о», слышит и св. Тереза Иисуса в видении из уст Господних тот же приговор над насилием духовников.

«В этом деле (соединение души с Богом) главный делатель — Бог, — учит Иоанн Креста. — Душу ведет Он туда, куда она не может придти без Него, — к тому сверхъестественному, что не доступно ни воле, ни разуму, ни памяти, — так же, как поводырь ведет слепого за руку: вот почему душе должно больше всего заботиться о том, чтобы не мешать Богу... Худшей помехой было бы то, если бы слепой вел слепого. С верного пути сводят душу три слепых: д у х о в н и к, д и а в о л и с а м а д у ш а». Это с одной стороны, а с другой: «с Богом наравне почитай всякого духовного начальника, потому что сам Бог поставил его наместником своим». Мог ли не видеть Иоанн Креста это противоречие и не искать из него выхода? Но если и искал то, кажется, не нашел. В этом-то противоречии одна из главных причин его одиночества не только в миру, но и в Церкви. «В Темной Ночи отчаяния и отверженности... ни наставления, ни советы духовника нисколько не помогают...потому что душа так насыщена страданием, что не верит, что другой человек мог бы это понять».

Духовник человека — священник, а духовник всего человечества — Римский Первосвященник, — Папа. Знает ли это св. Иоанн Креста или не знает, — хочет ли он этого или не хочет, — суд его над духовниками, римскими священниками, есть суд над Римским Первосвященником и над всею Римскою Церковью. «Вынести не можете вы, чтобы (вверенные вам) души уходили от вас и, когда узнаете, что одна из них ушла... то осыпаете ее упреками, внушенными — стыдно сказать — такой завистью, как будто она изменила вам в каком-либо деле мирском. Делаете ли вы это во славу Божию или в пользу тех душ? Нет, если уходить от вас не значит уходить от Бога, то я не вижу в этом ничего, кроме низкой зависти, гордости и самомнения... 'Я взыщу от них овец Моих', говорит Господь о таких пастырях, как вы... К ним же обращено и это грозное слово Господне: 'горе вам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали'».

С бóльшею силою не восставал на Римскую Церковь ни Лютер, ни Кальвин, Это уже не «обман» иллюминатства-протестантства, а Его святая правда.

4

Как относится Бог к твари и тварь к Богу, — ответом на этот вопрос определяется существо всякой религии. Бог поглощается тварью на одном из двух полюсов религиозного опыта человечества — в эллинском язычестве (исключая мистерии), а на другом полюсе, буддизме, тварь поглощается Богом; только в христианстве эти два начала соединяются в «противоположном согласии». Богочеловечеством, основным догматом христианства, утверждается соединение Бога с человеком — тварью. Но и в самом христианстве это еще не достигнутая цель, а только путь к цели. В самом начале христианства, в жизни Христа эта цель уже поставлена:

«Он (Христос), будучи образом Божиим, не почитал для себя хищением быть равным Богу. Но у м а л и л (у н и ч т о ж и л) Себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став, как человек» (Ф и л и п. 2, 6-7).

Крайняя точка этого «самоуничтожения» Сына Божия в Сыне человеческом есть крестный вопль Иисуса:

«Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (М к. 15, 34). В очень древних кодексах Евангелия от Марка, вместо нашего чтения — сильнее, страшнее: — «За что Ты п р о к л я л Меня».

Так же понял и ап. Павел эту крайнюю точку «самоуничтожения» кенозиса Христа в Иисусе, Бога в человеке: — «сделался (Христос) за нас п р о к л я т и е м», (Г л. 3, 13).

Жизнь Христа повторяется в жизни христианского человечества — тот же путь к той же цели — от Самоуничижения к Воскресению. Только в исходной точке христианства, в жизни Христа, дано совершенное соединение Христа, Сына Божия, с человеком Иисусом, Несотворенного с тварью или подобием твари. Но в религиозном опыте христианства это соединение достигается медленно и трудно, с бесконечными усилиями и муками, на таком же крестном пути всего человечества, каким шел и Сын Человеческий.

Если и другие святые, в том числе Бернард Клервосский, Франциск Ассизский и Тереза Иисуса, совершали тот же путь от Самоуничтожения к Воскресению, то никто из них не описал этого пути так ясно и точно, как св. Иоанн Креста.

Сделанный им ко всем книгам его заглавный рисунок изображает три пути, ведущие на вершину Кармеля: первый

путь, правый, постепенно отклоняясь, кончается пропастью: этим путем идут ищущие Бога, но любовью к твари, к благам земным, одержимые люди; второй путь, левый, приводит к тупику: этим путем идут люди, тоже ищущие Бога, но одержимые любовью к несотворенному, к благам небесным; и только третья между ними стезя ведет прямо на вершину Горы. Но надпись при входе на эту стезю гласит:

ничего, ничего, ничего, ничего,

ничего, и на вершине Горы ничего, —

надпись, не менее страшная, чем на двери Дантова ада:

Всякую надежду оставьте, входящие.

«Бог есть все, а тварь — ничто», говорит Иоанн Креста с бесстрастной и, как будто, бесчувственной, математической точностью; то же говорит и великий германский мистик Иоганн Таулер с потрясающей силой чувства: «до крови потей, Бога с тварью не соединишь».

Надо человеку «принести себя в жертву Христу до полного самоуничтожения». — «Должно иметь дух... уничтоженный для всего сотворенного», учит св. Иоанн Креста. «Должное получает Бог только тогда, когда человек совсем уничтожен», учит Кальвин; учит и Лютер «самоуничтожению, самоотречению даже до ада». «Самоуничтожение» у Лютера, — у обоих то же слово для того же религиозного опыта. — В этом буддийском уклоне христианства, в смешении средства — Самоуничтожения — с целью — Воскресением, римское католичество согласно с протестантством. Здесь происходит уже не разделение, а соединение Церквей, но не в силе их, а в слабости. Видно по этому, до какой глубины христианство искажено этим буддийским уклоном.

5

Узкая и крутая стезя на вершину Кармеля — к «согласию противоположностей» — ведет между безднами противоречий. Вот из них первая: если «Бог всё, а тварь — ничто, то Бог не творит, а уничтожает мир. Что же значит: ‘Бог так возлюбил мир, что сына своего Единородного отдал’ за мир

(Ио. 3, 16)»? В религиозном опыте «самоуничтожения» у св. Иоанна Креста нет ответа на этот вопрос.

Бездна вторая: «сверхъестественное не входит в естественное и не имеет ничего общего с ним», учит Иоанн. Но что же такое главный религиозный опыт христианства — Богочеловечество, как не вхождение «сверхъестественного», божественного, в естественное, человеческое? Если тварь — плоть (это и значит «естественное») несоединима с Богом, то как могла плоть соединиться с Богом в человеке Иисусе, в котором «вся полнота Божества обитала телесно», плотски (Кол. 2, 9)? А если этого не могло быть, то нет Христа, нет и христианства.

Третья бездна: «кто хочет видеть Бога в чувственном образе, тот никогда ничего не уразумеет в Нем», учит Иоанн Креста. Что же значит «чувственный образ» Бога Отца в воплощении Сына Божия?

Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца; как же ты говоришь: 'покажи нам Отца'?» (Ио. 14, 8-9).

«Я не говорю об Иисусе Христе и Его божественном человечестве, — оговаривается Иоанн Креста. — Если должно забывать все другое видимое и плотское, что преграждает путь к соединению, то не следует забывать Того, Кто сделался человеком ради нашего спасения. Но как соединить отрицание всех чувственных образов с утверждением одного единственного Образа — человека Иисуса? В религиозном опыте «самоуничтожения» у Иоанна Креста нет ответа и на этот вопрос.

Пятая бездна: в том же опыте «самоуничтожения» воскресение Христа как бы вовсе отсутствует. Верит, конечно, Иоанн Креста в Воскресение, но кажется иногда, что вера его, оставаясь только внешним, мертвым догматом, не делается живым внутренним опытом; что Воскресение не нужно ему — нужна только Голгофа, Крест бесконечный и окончательный, как символ Самоуничтожения. Человек со Христом умирает без воскресения — «уничтожается». — «Смертная мука Иисуса будет продолжаться до конца мира», — это страшное слово Паскаля мог бы повторить и св. Иоанн Креста.

Бездна шестая: «чувственная радость» таинства Евхаристии для Иоанна Креста только «немощь», почти грех «начинающих», «не совершенно очищенных» от соблазна плоти. Что

же значит действительное, чувствам доступное присутствие Христа в Теле и Крови таинства? Нет ответа и на этот вопрос в религиозном опыте «самоуничтожения» у Иоанна Креста. Но если бы довести до конца это учение о сверхчувственности таинства Евхаристии, то получилось бы его отрицание, бóльшее, чем у Лютера, и не меньшее, чем у Кальвина. И здесь опять католичество согласно с протестантством в буддийском уклоне христианства.

И, наконец, седьмая, последняя бездна, самая головокружительная из всех: в религиозном опыте «самоуничтожения» святость становится грехом духа, хуже всех грехов плоти, — гордынею. «Радуюсь ныне в страданиях моих за вас и в о с п о л н я ю в плоти моей недостаток страданий» (К о л. 1, 24), — это слово ап. Павла, ложно понятое в буддийском уклоне христианства, значит: «восполняю недостаточную меру крестных мук Господних — муку Его превосхожу моей». В подвиге Самоуничтожения, во грехе «святости», страшнейшем из всех грехов, человек идет на Голгофу не в м е с т е со Христом, а в м е с т о Христа; умирает на кресте не вместе со Христом, а вместо Христа.

Знал, вероятно, Иоанн Креста, так же, как учения других великих арабских богословов, суффитское, идущее, должно быть, с дальнего, буддийского Востока учение Ибн Араби: «должно созерцать Бога вне всякого соединения с миром».

«Сколько тебе лет?» — спросили однажды другого суффитского учителя, Абу Иазида.

«Четыре года», — ответил он, а когда люди удивились, потому что он был глубокий старик, Абу Иазид объяснил:

«Семьдесят лет я был отделен миром от Бога и увидел Его только в последние четыре года, а жизнь человека не жизнь, пока на глазах его покров» —мира, твари.

То же, хотя иными словами, говорит св. Иоанн Креста: — «Я ничего не знаю...»

«Опьяненная вином божественной мудрости, душа забывает весь мир, и все что она знала раньше, ей кажется невежеством». По таким совпадениям не только с мусульманским, но и с буддийским Востоком видно опять как глубок в христианском опыте Сумоуничтожения буддийский уклон.

6

«Два противоположных начала не могут соединиться... по учению философии», — так для Иоанна Креста в религиозном опыте Самоуничтожения, кенозиса. Но по его же собственному учению: «Бог непознаваем для человеческого разума». — «Бог сообщается с душою... посредством чистого духа, для которого не существует логической связи понятий». Если так, то разумом, логикой не отменяется мистика. В высшем религиозном опыте христианства Отец и Сын — «два противоположных Начала» (говоря на языке философском, религиозно-неточном и недостаточном, но на том, на котором здесь говорит и сам Иоанн Креста), соединяются в третьем Начале Духе. Вот почему высший религиозный опыт Иоанна Креста, в котором преодолевается буддийский уклон христианства — Самоуничтожение, — будет Троичным. Понял и он, что́ поймет Паскаль, — что последняя цель узкого и крутого, между головокружительными безднами противоречий ведущего пути на вершину Кармеля, заключается в том, чтобы «согласовать противоположности».

Кажется, стихи о «Пещере Лампад» в «Живом Пламени Любви» внушены Иоанну Креста книгой великого арабского богослова, Магомета Альгазеля, под тем же заглавием «Пещера Лампад»:

О лампады пламенеющие,
В чьем лучезарном сиянии
Чувства пещеры глубокие,
Некогда слепые и темные,
Даруют неистощимо
Свет и тепло Жениху!

«Эти Пещеры, — объясняет Иоанн Креста, — суть силы души: память, разум и воля; их глубина соразмерна тем великим благам, какие могут они вместить: чтобы наполнить их нужна бесконечность... Но если они от всякой любви к твари не очищены, то глубины и пустоты своей не чувствуют и всякой малости в этой (земной) жизни достаточно, чтобы омрачить и обмануть их так, что они не помнят и не жалеют потерянных благ. И всего удивительнее то, что, хотя могут они вмещать блага бесконечные, но и малейшего блага достаточно, чтобы лишить их всех остальных (величайших): вот поче-

му нужно им совершенно опустеть и очиститься, чтобы видеть свою пустоту. Когда же они совершенно пусты и чисты, то голод и жажда их невыносимы. Чрева эти бездонно глубоки; так же глубоки и страдания их, потому что голод их может насытиться только бесконечностью в Боге. Мука эта, обыкновенно, начинается в ту минуту, когда озарение и очищение души уже совершилось, а соединение (с Богом) еще не наступило... Смертных мук страшнее эта мука пустоты и больше всего терзает душу тогда, когда луч божественного Света проникает в нее, как бы сквозь щель, но еще не сообщается ей. Такова участь тех, кто терзается такой нетерпеливой любовью к Богу, что принужден выбрать одно из двух: или соединиться с Богом, или умереть».

Здесь, у св. Иоанна Креста, уже переход от нисшего религиозного опыта к высшему: Самоуничтожение — уже не достигнутая цель, а только достигающий путь; не хлеб и вода, а только голод и жажда. Здесь же предчувствуется, что утоляется этот голод и жажда, пустота этих «бездонно-глубоких чрев» наполнится в высшем религиозном опыте уже не Двух — Отца и Сына, а Трех — Отца, Сына и Духа. Но здесь же начинается и та «Темная Ночь», чья мука страшнее смертных мук».

«По мере того, как душа приближается к Богу, вследствие слабости ее, усиливается чувство глубокой Ночи: так слишком яркий солнечный свет слишком слабому зрению кажется мраком... Сила божественного Света так превосходит человеческий разум, что ослепляет и затмевает его... Всё (на этом пути) — опасность, всё грозит ошибкой, потому что тот естественный свет разума, который ведет нас на всех других путях, на этом — больше всего обманывает нас и мешает нам идти к Богу: вот почему, если мы хотим быть уверены, что идем не по ложному пути, то должны закрывать глаза и обрекать себя на мрак... который служит для души убежищем от нея самой и от всей твари».

Чтобы достигнуть, чего ты не знаешь,
Надо пройти через то, чего ты не знаешь.

Этот узкий и крутой над страшными безднами, но единственно-верный путь на вершину Кармеля, не первый путь — Самоутверждения, где Бог поглощается тварью, и не второй

— Самоуничтожения, где тварь поглощается Богом, а Третий — Троичный, где Бог и тварь соединяются, — этот путь на вершину Кармеля ведет сквозь Темную Ночь «преисподнего опыта».

7

Только в здешнем мире живет душа человека, освещенная сознанием, дневная, а не освещенная, ночная, хотя и живет тоже в мире здешнем, но редко или часто, смотря по человеку, заглядывает из этого мира в тот, как человек заглядывает через окно из освещенной комнаты в темную ночь. Смысл этих двух слов «темная ночь» так обыкновенен для большинства людей с «дневной душой», что им кажется, что о нем и думать нечего. Но для Иоанна Креста с его «ночной душой» он так необычаен, что он о нем только и думает. Можно сказать, что всё, чем он жил, и всё, что он сделал, находится под знаком «Темной Ночи».

О, Ночь, меня ведущая,
Желаннее зари!

Но прежде чем наступит эта «желанная ночь», человеку надо пройти сквозь ту, в которой «мука хуже смертных мук», или точнее, сквозь две Ночи: «Ночь Чувства» и «Ночь Духа».

Внешние чувства в первой Ночи остаются такими же, как были, но их внутреннее действие на душу человека постепенно убывает: бледнеют цвета, мутнеют образы, глохнут звуки, слабеют запахи, осязание тупеет, как в параличе. Если бы человек в состоянии такой внутренней бесчувственности ударил кулаком об стену, чтобы убедиться в существовании внешнего мира, как это делал Иоанн Креста, то не убедился бы: так для человека призрачен был бы весь внешний мир.

В этой Ночи Чувства сам человек ничего не делает, — с ним делается всё: он не идет в темноту этой внутренней Ночи, — темнота ее сама идет на него; плоти своей не умерщвляет он, — сама она умирает, опять-таки не внешней, а внутренней смертью. С ним происходит нечто подобное тому, что с умирающим от голода, когда ему уже не хочется есть, потому что желудок его суживается в кулачек, с терзающей мукой внутренностей.

Это «Ночь сухости», потому что все источники жизни высыхают в ней. Все радости жизни для человека в этой Ночи, как те плоды Мертвого Моря, которые, когда их едят, рассы-

паются горьким пеплом во рту. «Я сведен был к ничему и ничего уже не знал», мог бы сказать человек в этой Ночи, как говорит, прошедший сквозь нее, Давид.

В ней умирают все похоти, но диавол иногда воскрешает внезапно самую сильную из них и неодолимую — сладострастие. «Ангел Сатаны, дух блуда является одним и мучит их... такими постыдными мыслями и живыми видениями, что это для них страшнее смерти. Похоть искушает их и в самой молитве и даже в таинстве Евхаристии». Чем больше искушаемый боится похоти, тем сильнее она искушает его. «Дух богохульства нападает на других и внушает им всевозможные хулы на Бога так ясно и живо, что и язык готов их произнести. А еще на других нападает дух безумия... внушая им тысячи угрызений и недоумений, таких запутанных что, кажется, из этой путаницы нет выхода... Это один из величайших ужасов Темной Ночи Чувства».

«Главная мука для погруженных в эту Ночь есть мысль, что они заблудились в ней, что всё их духовное сокровище потеряно и что Бог покинул их навсегда, потому что никакие подвиги и труды благочестия им уже не помогают». — «Те, кто подвергается этому искушению, не смеют и глаза поднять, потому что всё искушает их... и они доходят до того, что им начинает казаться, что они находятся в прямых сношениях с диаволом».

Гибелью кажется человеку Темная Ночь, а на самом деле, она для него спасение: «едким щелоком ее очищается душа» от нечистой любви к твари. «Чистотою, сухостью и внутренним мраком Ночь Чувства удаляет начинающих (духовную жизнь) от всех чувственных влечений». — «Бог отлучает душу от Себя, подобно тому, как отнимают младенца от груди матери». Бог помогает человеку исполнить то, чего он еще не исполнил, — тесными вратами войти в вечную жизнь, возненавидеть весь мир и возлюбить одного Бога. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною», — вот что заглушается звуками дня и что слышится только в тишине Темной Ночи (Мрк. 8, 34). В ней человек понимает то, что понял царь Давид, прошедший сквозь эту Ночь: «когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою. Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку... и ведешь меня... Кто мне на небе? и с Тобой ничего не хочу на земле» (Пс. 72, 21-25).

8

«Но как ни страшна для души эта первая Ночь Чувства, ее нельзя и сравнить со второй Ночью Духа». Если та — преддверие Дантова ада, где мучатся только искупающие первородный грех младенцы, то эта — уже настоящий ад. Все начинающие духовную жизнь проходят сквозь Ночь Чувства, а сквозь Ночь Духа — «только немногие братия и сестры... святого Братства (Кармеля)», — значит, только избранные среди избранных, будущие вожди христианского человечества. «Ночь Духа — только для немногих». На этой страшной наковальне кует Господь крепчайшую для своего оружия сталь.

Именно в ту минуту, когда вышедшим из первой Ночи Чувства кажется, что «они идут уже в ярчайшем солнце милостей Божьих, Господь внезапно погружает их снова во мрак».

— «В Сына Божия, Жениха своего, влюбленная и желающая соединиться с Ним, тоскует душа (в этой Ночи) и плачет о том, что мучимая глубокою раною любви, которую Он ей нанес, отреклась она для Него от всей твари, а Он в этой-то муке ее и покинул».

Здесь, в Ночи Духа, совершается шестиричная жертва — чувственности (начатая в первой Ночи, она кончается здесь, во второй), разума, памяти, воображения, воли и веры. Вот почему на рисунке Иоанна Креста, в надписи при входе на гору Кармель шесть раз повторяется слово «Ничего».

Ночь Духа темнее Ночи Чувства, потому что «гасит самое светлое, что есть в человеке, — разум». Тьма этой второй Ночи так непроницаема, что, по сравнению с нею тьма первой — только вечерние сумерки. «Будет тьма по всей земле Египетской, о с я з а е м а я т ь м а» (И с х. 10, 21). Точно такая же тьма и в Ночи Духа. Если бы зажглись в ней огни, то горели бы, как дневные звезды в ледяной черноте стратосферы: сразу начиналась бы у пламени, плотно к нему прилегающая, неосвещенная — неосветимая тьма. «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (И о. 1, 5). Нет, объяла. Тьма древнее и сильнее Света. «Тьма была над бездною... И сказал Бог: да будет свет» (Б ы т. 1, 2-3). Но свет потухнет, и снова будет тьма... Все миры и созвездия — только улетающие в вечную тьму искры потухающего костра: так чувствуют погруженные в Ночь Духа.

Самое страшное в этой Ночи — потеря веры: здесь происходит отречение не только от всех земных, плотских, но и от всех духовных, небесных радостей, потому что «любовь к благам сверхъестественным делает соединение человека с Богом таким же невозможным, как и любовь к благам естественным», или даже еще невозможнее. «Чтобы достигнуть этого соединения, душа должна пребывать в темноте, ослепнув не только ко всей твари, но и к самому Богу... Главное для души — опустошиться от всех внешних восприятий так, чтобы, если б даже сверхъестественные блага давались ей Богом в изобилии, она лишалась их, по мере того, как они ей даются... Должно ей быть в темноте, как слепому, опираясь только на темную (бывшую) веру... Плохо идет за поводырем не совсем слепой, потому что ему все кажется, что он видит дорогу».

Трудно поверить, чтобы такой великий святой, как Иоанн Креста, мог сказать: «чтобы человеку соединиться с Богом, надо ему потерять веру в Бога». Этого никогда никто из святых не говорил, кроме Иоанна Креста. Даже людям самым близким к нему, таким, как Тереза, которая поняла первая, что он — святой, было от этого так страшно, что она сомневалась в необходимости Темной Ночи Духа; ей казалось иногда, что «диавол искушает людей этой чрезмерностью подвига», что «можно спастись более надежным путём смирения, умерщвления плоти, самоотречения и других добродетелей», и что «на этом нет никакой опасности, а совершенство и на нем достигается, как в вышнем созерцании». Но, по учению Иоанна Креста, этот «более надежный путь» и есть один из двух ложных путей на вершину Кармеля — тот, что «ведет к тупику, общий путь среднего благочестия, на котором происходит смягчение» того, что кажется людям слишком «жестоким» в учении Христа.

9

«Темная Ночь» Иоанна Креста не окончена: бóльшая часть ее потеряна или уничтожена может быть Инквизицией, а может быть и им самим, или недописана, оттого, что и ему самому было слишком страшно то, что он хотел и должен был сказать в этой части книги, потому что о «потере веры» он говорит, конечно, не по чужому, а по своему же собственному «преисподнему опыту». А если бы он дописал книгу, и судьи

его, инквизиторы, ее прочли, то, вероятно, был бы сожжен на костре и уж во всяком случае венцом святости не был бы увенчан.

«Годы может продолжаться Ночь Духа», а значит и потеря веры тоже. И если потерявший веру — учитель, которого люди считают святым, как Иоанна Креста, то все эти годы, чтобы не соблазнять людей, он должен, если не прнтворяться верующим, лгать, то скрывать то, что в нем происходит.

Не только сомнения Вольтера, но и отрицание христианства у такого великого мудреца, как Спиноза, перед сомнением и отрицанием такого великого святого, как Иоанн Креста, — ничто, потому что те падают в яму, а этот — в преисподнюю.

10

Люди не в силах помочь погруженному в Ночь Духа. «Все вы — бесполезные врачи, — мог бы и он им сказать, как Иов — друзьям своим. — «Слышал я много такого; жалкие утешители все вы... Говорил бы и я, как вы, если бы душа ваша была на месте моей» (Иов. 13, 4; 16, 2-4). Не может ему помочь и Бог, потому что, когда он молит Его о помощи, то молитва его не поднимается к небу, а падает назад, как по земле в сырую погоду стелящийся дым. В этой Ночи Духа, «уже невозможно молиться, — вспоминает Иоанн Креста, — а если и молишься, то с такой безнадежностью, что, кажется, Бог не слышит молитвы... Да и в самом деле, лучше тогда не молиться, а только, лежа лицом в пыли, покорно и молча терпеть эту муку». Знает ее Праотец Господень, Давид, прошедший не только сквозь первую Ночь Чувства, но и сквозь вторую Ночь Духа: «я сравнялся с нисходящими в могилу... между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты (Господи) уже не вспоминаешь, и которые от руки Твоей отринуты» (Пс. 87, 5-6).

«В этой Ночи отчаяния и отверженности... память о бывших духовных радостях и уверенность в том, что они уже никогда не вернутся, усугубляет муку», продолжает вспоминать Иоанн Креста. «Душа, угнетенная неимоверною и невидимою тяжестью, как бы растерзывается и размалывается Богом, погружаясь в кромешную тьму, где уннчтожается» — умирает той «второю смертью», от которой, по страшному слову

Апокалипсиса, «нет воскресенья». — «Кажется душе, что она проглочена заживо зверем и переваривается в темном чреве его с такими муками, какие испытал Иона (во чреве кита). Больше всего мучит ее уверенность, что Бог отверг ее с омерзением и низринул во тьму». — «Кажется душе, что ее преследует Бог, как врага. 'Зачем Ты поставил меня врагом Себе, так что я стал самому себе в тягость?'» — жалуется подвергшийся такому испытанию Иов».

Ужас человека в Ночи Духа, а может быть и самого Иоанна Креста, — ужас Лютера: «Бог хранит для нас великие искушения, в которых мы уже не знаем, не диавол ли Бог, и не Бог ли диавол». — Или еще страшнее: нет ни Бога, ни диавола, и правы безбожники.

За что такая страшная казнь постигает в Ночи Духа великих святых, избранных среди избранных? За «грех святости» — за то, что человек распинается не в м е с т е со Христом, а в м е с т о Христа. Бог говорит людям: «вы — боги» (П с: 81. 6); но и диавол говорит почти то же: «будете, как боги» (Б т. 3, 5). Здесь только один волосок отделяет Бога от диавола и величайшую святость от величайшего из всех грехов — гордыни. Вот за этот-то грех святости и казнится человек в Темной Ночи Духа. Можно сказать о нем, что он «заживо нисходит в ад». Тело еще на земле, а душа уже в аду, и эта разлука души с телом так невыносима, что человек хотел бы кинуться в ад, только бы скорее душа снова соединилась с телом, потому что воскресает в вечную жизнь или вечную смерть весь человек, с душой и с телом, и так же, как на небе прославленные, преображенные, будут и в аду обесславленные, обезображенные, «духовные тела». — «Смертная мука (в Ночи Духа) такова... что для тех, кто мучится ею, была бы облегчением и милостью смерть». Если довести эту мысль до конца, то будет искушение самоубийством. «И сказала ему (Иову) жена его: 'ты все еще тверд в непорочности своей; похули Бога и умри'» (И о. 2, 9).

Может быть, в недописанной или уничтоженной части Темной Ночи Духа св. Иоанн Креста говорил и об этом последнем, самом страшном искушении — самоубийстве.

Если человеку уже и в Темной Ночи Чувства кажется, что он «находится в прямых сношениях с диаволом», то тем более — в Ночи Духа; кажется ему, что диавол уже не только око-

ло него, но и в нем самом. Если и об этом говорил Иоанн Креста в потерянной части Темной Ночи, то опять, конечно, не по чужому, а по своему же собственному опыту. Когда иноки Саламанкской обители, завидев издали подходившего к ним Иоанна Креста, говорили: «братия, уйдем поскорее, — вот диавол идет!» то, может быть, он и сам себе казался диаволом. И, когда утешал он духовную дочь свою, Анну де Пеньялоза, после смерти мужа и единственной дочери: «Ничего, ничего, ничего, — шкуру сдери с себя, и все остальное, ради Христа!» то, может быть, он читал в глазах ее такой же перед ним ужас, как перед диаволом, и не мог решить больше ли она ошибалась, когда он казался ей великим святым, или когда казался диаволом. Вот еще одна из многих причин того «злого колдовства», которое, по слову Терезы, «тяготело над Иоанном Креста», — его великого одиночества.

11

Может быть, самые глубокие книги, и самые нужные людям — неоконченные — бесконечные. Две такие книги: «Темная Ночь» Иоанна Креста и «Книга Иова». Больше всего любил Иоанн в Ветхом Завете «Песнь Песней» и «Книгу Иова», — ту, в своем приближении к Богу, в блаженстве, а эту, в отдалении от Бога, в страдании, потому что Иов прошел сквозь такую же Темную Ночь Духа, как он: «Иов сделал тот же опыт», говорит Иоанн Креста.

Слишком очевидно конец «Книги Иова» ей самой не соответствует: конец ее только доказывает, что кончить ее так не мог бы тот, кто ее написал или что написать ее не мог бы тот, кто так кончил.

«Пытке невинных посмеивается Бог. В руки нечестивых отдана земля; лица судей ее Он закрывает. Если не Он, то кто же?» — на этот вопрос Бог не отвечает Иову в громах и молниях (Иов. 9, 23-24). «Можешь ли удою вытащить Левиафана?.. Крепкие щиты его — великолепие... круг зубов его — ужас... Он — царь над всеми сынами гордости», — вовсе не ответ на вопрос Иова (Иов. 40, 20; 41, 7, 6, 26). Да и Бог ли отвечает ему? Может и диавол греметь и блистать в молниях. Бог, отвечающий Иову, вовсе не тот, которого он спрашивал, и смиренный Иов «кающийся во прахе и пепле», вовсе не тот, кто говорил Богу: «вот я кричу обида! и никто не слушает; вопию и нет суда» (Иов. 19, 7).

Только один волосок отделяет Иова, а может быть и св. Иоанна Креста, от такого бунта, что, по сравнению с ним, бунт Прометея — ничто, потому тот ненавидит Бога, как врага; Иов же и св. Иоанн Креста любят его как отца, а любящий имеет бóльшее право, чем ненавидящий, на бунт против любимого, если тот к нему несправедлив.

Главное страдание Иова — не проказа, не потеря богатства, не смерть детей, а та самая «потеря веры», о которой говорит Иоанн Креста в Темной Ночи Духа, и причина этой потери — сомнение в правосудии Божьем. Что, если крестный вопль Иисуса: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» — такой же вопрос без ответа, как и все вопросы Иова, — вот, может быть, самое страшное Иоанна Креста, в Темной Ночи Духа чернейшая тьма — то искушение, которого так боялся Лютер: «Бог хранит для нас великие искушения, в которых Бог нам кажется диаволом, а диавол — Богом».

Бог судит человека, но и человек судит Бога. Вечная тяжба человека с Богом — таков смысл Книги Иова. «О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим!» (И о. 2 3, 6). «Я не хочу, чтобы, в страшной силе своей, Бог состязался со мной и бременем могущества своего угнетал меня», — этот вопль не смиренного, а мятежного Иова недаром вспоминает Иоанн Креста в Темной Ночи Духа, именно там, где говорит о совпадении своего «преисподняго опыта» с опытом Иова.

Чувствуя издали смрад прокаженного, люди бегут от него; точно так же, чувствуя издали ужас Темной Ночи Духа, люди бегут от того, кто мучается в ней. Ни ему, ни Иову никто из людей не может помочь.

Иова утешит только тот, Кто страдал больше и прошел темнейшую Ночь Духа, чем он; Тот, на чьем теле красные капли кровавого пота страшнее, чем белые пятна проказы на теле Иова. Чтобы рассудить его с Богом, нужен между ними П о с р е д н и к. «Бог не человек, как я, чтобы я мог отвечать Ему и идти с Ним на суд. Нет между нами п о с р е д н и к а, который положил бы руку на обоих нас» (И о. 9, 32-33). Нет между ними Посредника, но будет, — Иов знает и это: «жив Искупитель мой, и Он, в последний день, восставит распадающуюся плоть мою из праха... И я увижу Бога» (И о. 19, 25-26).

Иова утешит не Тот, Кого знают все и кому все поклоняются, как «Царю ужасного величия», а Тот, Кто говорит о Себе: «Я — червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе» (П с. 21, 7), — Иисус Проклятый: «Он сделался за нас проклятием (Г л. 3, 13). Спасший Иова из Темной Ночи Духа спасет Он и всех, кто мучится в ней.

12

О первом шаге к спасению, первом луче света, брезжущем в Темной Ночи, в уцелевшей части книги Иоанна Креста умолчано, но, может быть, сказано в уничтоженной или недописанной части. Ясно только одно: Кто-то неузнанный, с лицом в темноте невидимым, подходит к человеку в этой Ночи и кажется ему сначала врагом и губителем, может быть самим диаволом, а потом оказывается другом и спасителем. Всего удивительнее, что и сам Иоанн Креста лица Его не видит, может быть потому, что боится узнать в Нем Иисуса Неизвестного, Проклятого. Только о Боге говорит Иоанн Креста, а о Сыне Божьем молчит и даже имени Иисуса не произносит ни разу. Самые вещие слова Иова об Искупителе Иоанном умолчаны; только отчаяние Иова он помнит, а надежду его забывает.

Но о дальнейшем пути спасения и о выходе человека из Темной Ночи к свету уже сказано ясно и в уцелевшей части книги. Так же, как в первой Ночи Чувства, и здесь, во второй Ночи Духа, то, что казалось человеку гибелью, оказывается спасением. Здесь происходит то, что в математике называется «прерывом», а в религии — «обращением». По-гречески — «обратитесь», — значит: «перевернитесь так, что бы то, что было внизу, было наверху». — «Должно возвышаться так, что выше нельзя, и унижаться так, что ниже нельзя», учит Иоанн Креста. Это и происходит в том «перевороте», «прерыве», который совершается в Темной Ночи Духа.

«Только так, ничего не чувствуя и не понимая, находясь в пустоте и во мраке, душа может понять всё, таинственно исполняя в себе слова ап. Павла: «мы ничего не имеем и всем обладаем». Именно такая нищета духа такого блаженства достойна, по слову Господню: «блаженны нищие духом».

Чтобы всем обладать,
Не имей ничего.

Это и есть, ведущий на вершину Кармеля, путь «Ничего и Всего»: что казалось ничем, будет Всем. Кажется знает этот путь

(хотя и видит его, конечно, совсем с другой стороны) человек наиболее противоположный в мире Иоанну Креста, Гёте:

Все должно в Ничто распасться
Да пребудет в бытии.

Вот почему и Фауст, спускаясь в Царство Матерей, говорит Мефистофелю:

В твоем Ничто я Все найти надеюсь.
In deinem Nichts hoff ich das Alles finden.

«Только-что душа совершенно... очистится от всех внешних представлений и образов, как будет в простом и чистом Свете, потому что он никогда не потухает в ней, но, вследствие внешних помех и покровов, идущих от твари, остается невидимым», учит Иоанн Креста. — «Луч солнца, проникающий в комнату, тем более видим... чем больше в воздухе пылинок; если же воздух совершенно чист, то луч невидим и как бы темен, потому что для глаза виден не свет, а лишь та среда, через которую свет проходит». — «Действие Бога на душу так же несомненно, как действие солнца на открытое пространство, где нет для солнца преград. И так же, как утренние лучи его входят в (темную) комнату, только что открываются ставни, — Бог входит в душу, освобожденную от всего, что не Бог, и наполняет ее дарами своими. Он сияет над всеми душами и сообщается им всем». — «Бог присутствует существенно и в душе величайшего грешника. Только соединение с Богом дает бытие всей твари, а если бы соединение это прекратилось, то вся тварь вернулась бы в небытие».

«Чувственная часть души очищается сухостью, умственная — пустотой, а духовная — непроницаемым мраком». — «Мучима душа во мраке, ее покрывающем духовным огнем, который иссушает ее и очищает, чтобы сделать ее достойной соединения с Богом. Пока не сойдет в нее от Бога луч сверхъестественного света, Бог для нее только непроницаемый мрак, между тем, как в духе Он уже с нею, но сверхъестественной силой своей этот Свет затмевает естественный». Вот почему Свет Божий кажется «мраком». — «Знание, свойственное созерцанию, — учит св. Дионисий Ареопагит — есть для разума Луч Мрака». — «Разум так ослепляется Богом, что ви-

дит в Нем только Божественный Мрак», — учит и Генрих Сузо. Совпадением таких, разделенных веками и друг от друга независимых, религиозных опытов подтверждается их подлинность.

«Сердце, желающее мира и покоя должно обладать чем-нибудь, — заключает Иоанн Креста. — Когда же сердце одержимо сильнейшею любовью к Богу, то для него уже не существует никакой любви ни к самому себе, ни к твари; в нем остается только пустота и мука, которая будет продолжаться, пока не наступит совершенное соединение с Богом. Чувство это можно сравнить с пустым, ожидающим наполнения сосудом, или с ожидающим выздоровления больным, или с лишенным точки опоры повешенным». Но только что «божественная сухость» останавливает работу всех душевных сил, как Бог начиинает действовать в душе. «Видит душа, что ничего не делает, и хочет вернуться к деланию, но это порождает в ней только рассеянность, сухость и скуку, между тем, как ей следовало бы радоваться покою, миру и тишине, в которых угодно было Богу сообщить ей тайную сладость свою. Он иногда продолжает покоить ее в молчании, но она Ему противится, уступая все еще действующим в ней воображению и размышлению. В этом подобна она ребенку, которого мать несет на руках, и который плачет и вырывается из рук ее, чтобы идти самому; но мать, зная, что он ходить еще не умеет, и не желая, чтобы он упал, сама должна стоять на месте... Вот почему душе, при этом начале успокоения — (первом луче Божественного Мрака-Света в Темной Ночи Духа), — должно помнить, что, если она не чувствует движения вперед и как будто стоит на месте, то, на самом деле, движется она гораздо скорее, чем если бы сама себя двигала, потому что Бог несет ее на руках своих, и шаг Божий — шаг Души... И, хотя сама она ничего ие делает, но за нее делает Бог, и это для нее спасительнее, чем все, что она могла бы сделать сама».

Так из «преисподнего опыта» рождается то, что Иоанн Креста называет «преисподним блаженством», и восходит из Темной Ночи заря Невечерняго Дня. Вот что значит:

О, ночь, меня ведущая,
Желаннее зари!

Так вступает в рай земной здесь еще, на земле, смерть и ад

победивший человек, новый Адам, и уже не будет изгнан из рая, как ветхий. Но и это блаженство все еще «преисподнее», и этот рай пахнет адом, как спасенное из пламени пожара пахнет дымом.

13

Светлый День, — если бы так Иоанн Креста назвал то, во что человек выходит из ада Темной Ночи, то смысл этих двух слов: «светлый день», такой обыкновенный и незначительный для большинства людей с их «дневной душой», что им кажется, что о нем и думать нечего, был бы для Иоанна Креста с его «ночной душой» так же глубок и необычен, как и смысл тех двух слов: «Темная Ночь». И если всё, чем он жил, и всё, что он сделал, находилось под знаком Темной Ночи, то, может быть, всё, что он сделает еще для мира, когда мир вспомнит о нем и поймет его, будет находиться под знаком «Светлого Дня».

Когда из мертвенного воздуха я вышел,
Печалившего сердце мне и очи,
То усладил их разлитой по небу...
Прозрачному до высшей сферы звезд...
Сладчайший цвет восточного сапфира.
И в нем четыре я звезды увидел,
Невиданные от начала мира.
Как радуется им не наше небо!
О, вдовствующий Север наш пустынный,
Лишенный тех божественных огней!

Так вспоминает Данте о том, как вышел он с Виргилием из ада в противоположную гемисферу земли, потому что, сползая, как блохи, по косматой шерсти чудовищно-огромного тела Сатаны, стоящего в центре земли вниз головой, в том положении, в каком был он низвергнут с неба в ад, сами они, Данте и Виргилий, не сознавая того и не чувствуя, «обратились», «перевернулись вниз головой», по слову Господню: «если не обратитесь — не перевернетесь... то не можете войти в Царство Небесное».

Радуется Данте тому, что первый из людей верхней гемисферы видит на неизвестном небе нижней — сверкающее в красоте несказанной четверозвездие Южного Креста. Радуется, может быть, также и св. Иоанн Креста, когда, выйдя из ада Тем-

ной Ночи в Светлый День, видит тоже на неизвестном небе противоположной гемисферы, никем из живых еще не виданный Крест: там, в верхней гемисфере Крест был символом муки и смерти, а здесь, в гемисфере нижней, он — символ вечной жизни и радости.

По тем волнам, куда я путь мой правлю,
Никто еще не плавал никогда, —

мог бы сказать и св. Иоанн Креста, как Данте, с бóльшим правом, чем Колумб, потому что внутренний Новый Свет, материк духовный, открытый Иоанном Креста, больше, чем материк вещественный, Новый Свет внешний, открытый Колумбом.

Того, о чем теперь сказать я должен,
Не говорил ничей язык, и не писало
Ничье перо, и никому о том
не грезилось, —

мог бы и это сказать, вместе с Данте, св. Иоанн Креста.

Слепорожденный, прозрев, испытал бы такое удивление и такую радость, каких никто из людей не испытывал. Точно такое же удивление и такую же радость чувствует Иоанн Креста, когда, по выходе из Темной Ночи, его озаряет никем из людей никогда еще не виданное солнце нового Светлого Дня.

«Темная Ночь (Духа)... освобождая человека от его обычного и грубого познания, приобщает к столь от него отличному познанию божественному, что человек сам не понимает, чтó с ним происходит, и кажется ему, что он сошел с ума, — вспоминает Иоанн Креста опять-таки не чужой, а свой собственный опыт. — Все, что человек видит и слышит, хотя и осталось таким же, каким было всегда, вдруг делается новым для него, неизвестным, и так удивляет его, что он думает, не колдовство ли все это. Происходит же это потому, что человек перешел от обычного, естественного (человеческого) познания к божественному, свойственному тому миру более, чем этому», «сестры и братия Кармеля должны быть как люди из другого мира» — эту заповедь Терезы исполнил Иоанн Креста. «Жизнь его была такой небесной, что казалось, он уже не был в теле», вспоминает очевидец.

14

Только здесь, в опыте «преисподнего блаженства», дан ответ на вопрос, как относится Бог к твари, и тварь к Богу, и этот ответ противоположен тому, который дан был в опыте «самоуничтожения». Здесь же преодолевается Иоанном Креста и буддийский уклон христианства. Мира он не отрицает, когда мир для него отражается уже не в мутном и искажающем зеркале чувственности, а в обожествленной душе. Выйдя из Темной Ночи в Светлый День, он видит мир новыми очами и возвращается в мир.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля уже миновали (Откр. 21, 1).

Темная Ночь приводит человека не к бесконечной скорби, а к блаженству бесконечному, к радованию всему земному и небесному в совершенном познании и в совершенной свободе. Новую, неведомую красоту приобретают для человека все явления мира, и он любит их уже не в мимолетных случайностях, а в их вечной сущности.

Подобно тому, как простые химические тела, оставаясь бесцветными и бесвкусными, входят во все соединения — все цвета́, вкусы и запахи, — дух, обнаженный от всего, соединяется с Богом и, в новой чистоте своей, наслаждается всеми цветами, вкусами и благоуханиями. «Дух расширяется так, что может радоваться всему и вкушать от всего, что наверху (на небе) и внизу (на земле)», учит Иоанн Креста. «Чувствует душа и понимает в экстазе истину того... что говорит св. Франциск Ассизский: «Бог мой и вся тварь». — «Каждая тварь возвещает Бога в себе, и это кажется высшей гармонией».

Ночь успокоенная...
Безмолвная музыка,
Пустыня, полная гармонии, —

в этих стихах Песни Духа, может быть, вспоминает Иоанн Креста свой собственный опыт «преисподнего блаженства», так же, как и в этих:

Радоваться будем, Возлюбленный,
Будем глядеться в твою красоту
На пустынных горах и холмах,
Там, где бьют родники,
В чащу леса войдем.

К твари возвращаясь от Творца, душа понимает, что «ее Возлюбленный (Христос) есть и в Себе самом, и в ней, в душе, вся тварь». — «В Сыне своем увидев всю тварь, Бог облек ее в красоту». — «Будет Твоя красота моей», говорит человек Богу... «Все твари тогда... открывают душе красоту свою, силу, очарование и первоисточник жизни своей... Видит душа, что все твари отличны от Бога, потому что сотворены; но видит и то, что все они заключены в Божественной Сущности... и лучше познает их в Ней чем в них самих. В том-то и заключается великая радость этого Пробуждения, что в нем душа познает уже не Бога через тварь, а тварь через Бога, что́ значит познавать не причину через действие, а действие через причину; то познание производное (низшее), а это — изначальное (высшее)».

«Бог открывает душе необычайную новизну этой божественной жизни... и гармонию всех тварей в ней... Душа пробуждается от видений естественного сна к ви́дению сверхъестественному... Видит душа, одновременно и то, что Бог есть в Себе, и то, что Он во всех тварях. В эту минуту душа подобна человеку, входящему во дворец и видящему величие того, кто обитает в нем, и величие того, что он делает... Бог снимает с души некоторые из тех покровов и завес, которые скрывают Его от нея, и видит она Его таким, как Он есть; как бы сквозь прозрачную темноту, — потому что все покровы никогда не снимаются, — видит душа кое-что из Лица Божия». — «Есть души, которые здесь еще, на земле, озарены бо́льшим светом, чем Ангелы на небе», заключает Иоанн Креста, и это объясняет, почему на вопрос, как относится Бог к твари, нужен был в религиозном опыте «самоуничтожения», первый ответ отрицательный: «Бог есть всё, а тварь — ничто», чтобы возможен был и второй ответ положительный: «Бога возвещает вся тварь».

Так все, что человеком потеряно в Темной Ночи «самоуничтожения», возвращается ему в Светлый День воскресенья, по слову Господню: «нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы н ы н е, в о в р е м я с и е... во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». (Мк. 10, 29-30).

Выйдя из Темной Ночи в Светлый День, человек вступает здесь еще, на земле, в Царство Божие, по этим непонятным и

даже как бы вовсе не услышанным словам Господним: «Царство Божие достигло до вас, — нашло на вас». (Мт. 12, 28). — «Царство Божие не придет приметным образом, и не скажут: «вот оно здесь», или «вот там», Ибо Царство Божие посреди вас», (Лк. 17, 20-21). — «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». (Мк. 9, 1).

Это и значит: Царство Божие не только будет некогда на небе, но оно уже и сейчас здесь, на земле. Вот почему одно из имен экстаза — восхищение: только что человек выходит из Темной Ночи в Светлый День, как он «восхищается» из царства человеческого и переносится заживо, «не вкушая смерти», в Царство Божие, «пришедшее в силе».

Это Царство Божие на земле, как на небе, у Иоанна Креста напоминает Восстановление всего, у Оригена (II-III век): «благость Божия, через посредство Иисуса Христа, вернет всю тварь к началу и концу единому... ибо все падшее может возвыситься от крайних ступеней зла к высшим — добра». Учит тому же и ап. Павел: «будет Бог все во всем». (1 Кор. 15, 27-28).

Через Темную Ночь проходят все люди, святые и грешные одинаково. Но только святые через нее проходят вольно, в жизни, а остальные — в смерти невольно. Но и они, в последнюю минуту жизни выходят из Темной Ночи смерти в Светлый День воскресения: вот почему лица у многих умерших так непонятно, так страшно для живых и чудно светлеют от упавшего на них первого луча нездешнего света.

15

Великое солнце Светлого Дня «Живое Пламя любви», в котором достигается высшая точка экстаза, то, что Иоанн Креста называет «совершенным соединением человека с Богом в любви». В этом соединении «душа совершенно преображается в своего Возлюбленного (Христа)... Богом становится душа, в смысле приобщения к Богу». Здесь совершается то, что св. Тереза называет «Бракосочетанием души человеческой с Богом».

Через св. Дионисия Ареопагита, который мог быть посвящен в Елевзинские таинства, св. Иоанн Креста связан с

религиозным опытом всего дохристианского человечества, с тем, что происходило во всех древних таинствах, от Египта и Вавилона до Елевзиса и Самофракии, — с Тэогамией, Богосупружеством.

Этот религиозный опыт Иоанна Креста совпадает с опытом Терезы так, что они говорят о нем почти одними и теми же словами: «О, приди, приди! Я Тебя желаю, умираю, и не могу умереть!» говорит Тереза Возлюбленному своему, Христу. «Душа не умирает, но чувствует смерть, и это чувство тем живее, чем невозможнее для нее умереть», говорит Иоанн Креста.

О, живое пламя Любви,
Как нежно ты ранишь сердце мое...
Кончи же ныне дело любви, —
Плоти разделяющую ткань прорви!

Этот «прорыв» и есть для Иоанна Креста и Терезы одинаковая «смерть от восторга любви в объятьях Возлюбленного». — «С этого дня ты будешь моею супругою; Я отныне не только Творец твой, Бог, но и Супруг», — слышит Тереза из уст Господних в видении. «О, Бог мой, Супруг мой, наконец-то я Тебя увижу!» говорит она, умирая. «О, Бог мой, Ты отдавался мне доныне только отчасти; отдайся же весь — я хочу Тебя всего!» — эту мольбу души человеческой к Богу повторяет и св. Иоанн Креста, может быть, тоже накануне смерти.

Брачное соединение человека с Богом, для Иоанна Креста, так же как для Терезы, есть нечто не только духовное, но и плотское, потому что есть величайшее явление человеческой Личности, а Личность весь человек, с духом и плотью. Этого духовно-плотского соединения человека с Богом, может быть, никто за двадцать веков христианства, не чувствовал с такой силой, как св. Иоанн Креста и св. Тереза.

«Разумом должно обуздывать эти исступленные порывы (любви к Богу), потому что в них может быть и ч у в с т в е н н о с т ь», — «В этом (брачном соединении души с Богом)... и тело очень много участвует», говорит св. Тереза. «Телу Бог ничего не дарует, чего бы раньше и в бóльшей мере не даровал душе, и, чем сильнее блаженство души, причиненное раной любви (к Богу), тем сильнее и муки тела, от той же раны — говорит Иоанн Креста. — И удивительно, в каком взаимном соответствии увеличивается и эта мука, и это блаженство». — «Переполняющее душу блаженство сообщается и телу: все чув-

ства его, так же, как все члены участвуют в этом блаженстве, так что оно ощущается до крайних суставов рук и ног. Тело участвует в славе души так, что и оно славит Бога по своему, чувствуя блаженство в костях своих, по слову Давида: «скажут все кости мои: Господи, кто подобен Тебе?» И, так как этого не могут выразить никакие слова, то довольно сказать, что тогда и телом, как душой, предчувствуется вечная жизнь».

«В ту минуту, когда душа воспламеняется любовью к Богу, чувствует она, что нападает на нее Серафим и уже раскаленную, как уголь раскаляется докрасна, или вернее, всю превращенную в пламя, пронзает ее копьем любви пламенеющим, — вспоминает Иоанн Креста и здесь, как везде, конечно, свой собственный религиозный опыт. — И навстречу пламени тому выкидывается другое пламя из души, как из печи, в которой мешают угли кочергой, чтобы усилить их жар. И боль от этой раны для души несказанное блаженство. Вся упоенная чудесной новизной яростного Серафимова натиска, вся пламенеющая и изнемогающая от любви, чувствует она, что огненное острие копья вонзается в сердце ее». Тот же Серафим, то же копье, та же сладчайшая боль от раны, нанесенной копьем, здесь, у св. Иоанна Креста, как и в Пронзении св. Терезы. «И когда рана эта достигает той внутреннейшей глубины души, где рождаются все наслаждения, то как найти слова, чтобы выразить то, что тогда происходит в душе? — продолжает вспоминать Иоанн Креста. — В этой внутреннейшей точке раны чувствует душа почти невидимое зернышко, подобное горчичному... извергающее в круговращении своем огонь все той же любви, и он разливается по всему составу души... разжигая любовь ее так, что кажется ей, что она заключает в себе моря блаженства, наполняющие всю бесконечность с верху до низу, и для нее тогда весь мир — только океан любви, в котором тонет она, не видя берегов... но чувствуя его живое средоточие в себе самой. Можно сказать об этом невыразимом блаженстве только одно: чувствует в нем душа, как верно евангельское уподобление Царства Небесного горчичному зерну, заключающему в малости своей такую силу, что из него выростает великое дерево; так и душа преображается в великое пламя Любви, вспыхивающее из той малой, в душе пламенеющей точки».

«Почему же столь немногие достигают такого соединения с Богом? Вовсе не потому, конечно, что Он хочет ограничить милость свою только малым числом избранных душ; нет, Он

хотел бы, чтобы в ней участвовали все, но слишком часто не находит достойных для нее сосудов. Легкие испытания посылает Он душе а она слабеет, бежит от страдания, не хочет его принять, как бы ни было мало оно... и не имеет нужного терпения... Все такие души — никуда не годные сосуды. Люди хотят быть совершенными... но путем, ведущим к совершенству идти не хотят... О, души, мечтающие о спокойных и утешительных духовных путях, если бы вы знали, как нужно вам страдать, чтобы достигнуть этого утешения и этого спокойствия; если бы вы знали, как это невозможно без страдания и как без него вы идете назад, то вы не искали бы никаких утешений ни в Боге, ни в твари, но предпочли бы им крест и, прилепляясь к нему, жаждали бы только чистой желчи и чистого уксуса. Все ваше блаженство было бы в них, и, умирая для мира и для себя, вы воскресали бы в Боге...» Вот что значит:

О, нежная рука! О, тихое касание!
В вас — вечной жизни сладость,
И вы вознаграждаете за все
И, убивая, делаете жизнью смерть.

16

Религиозный опыт брачного соединения человека с Богом совершается уже не в бывшем христианстве, религии Двух — Отца и Сына, а в будущем — в религии Трех — Отца, Сына и Духа. Кажется, Иоанн Креста этого не знает, или не хочет знать, может быть, потому, что боится возможных из этого выводов для своего отношения к Римской Церкви. «Все что я говорю, я отдаю на суд нашей Матери, святой Римско-католической Церкви, потому что под ее водительством никто не может заблуждаться». — «Наше учение не имеет ничего общего с ненавистным учением тех, кто движим сатанинской гордыней и завистью», — еретиков Иллюминатов. Если бы кто-нибудь сказал Иоанну Креста, что главный религиозный опыт его, Богосупружество, есть новое откровение, неизвестное в Римской Церкви, то он этому ужаснулся бы или не поверил бы, потому что думает, или хотел бы думать, что «не может быть никаких новых откровений, кроме тех, какие уже были в (Римской) Церкви»; он думает, или хотел бы думать, что «ждать от Бога новых откровений, значит требовать нового Христа», и что «Бог ответил бы слишком пытливой душе: Он (Христос)

есть все слово Мое и весь Мой ответ, все явление Мое и все откровение»; он думает, или хотел бы думать, что в Римской Церкви «все уже совершилось».

«В этом — (в трудности или даже невозможности Реформы) — должна быть какая-то глубокая тайна», говорит св. Тереза. «Тайна» эта, может быть, и заключается в том, что утверждает св. Иоанн Креста: «новых откровений в Церкви уже не будет». Но если так, что же значит: — «Многое еще имею возвестить вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет дух истины, то наставит вас на всякую истину... и будущее возвестит вам». (И о. 16, 12-13).

«Люди всех исповеданий идут к св. Иоанну Креста, и он говорит им на языке не только Римской, но и Вселенской Церкви... Дальше пошел он сам, чем куда вел других», верно и глубоко понял один из лучших знатоков Иоанна Креста.

Если бывали минуты, когда он думал, что новых откровений больше не будет, то бывали и другие минуты, когда он предчувствовал, что «многое и самое главное еще остается познать, углубляясь во Христа», и что «мы преображаемся новым познанием, — откровением Троичного Бога. «Я чувствую... душу мою всегда в лоне Пресвятой Троицы», и больше всего именно здесь, в новом религиозном опыте Богосупружества. В чудесном «поднятии на воздух», вместе с Терезой Иоанн Креста говорит с нею о «возлюбленной тайне своей», божественной тайне Трех. Только здесь, около Трех, подымается буря того экстаза, чья высшая точка — Богосупружество. «Так ли невероятно, что Бог совершает в Троице дело разумения, познания и любви?» — спрашивает И. Креста и отвечает: «все это Бог совершает в душе». С Духом Св. соединяется обожествленная душа так же, как с Отцом и Сыном. «Дух говорит (в душе человеческой) такими же воздыханиями неизреченными, как и в глубинах Божиих... Но об этом я не хочу говорить, потому что, если бы я об этом сказал, то оно было бы меньше того, что есть на самом деле». Это несказанное и есть Богосупружество, в котором «совершается такое внутреннее соединение Существа Божия с человеческим, что каждое из них как бы становится Богом, хотя ни то ни другое не изменяет природы своей. Здесь, на земле, не может совершиться такое соединение во всей полноте, но оно все-таки выше всего, что ум человеческий может постигнуть».

17

Сила электричества и сила радия существовали от начала мира, но людям не служили, пока не были ими открыты. Так же существовала с незапамятной древности и сила экстаза, чья высшая точка — была уже открыта в древних языческих таинствах и названа в них Тэогамией, Богосупружеством. Почему же это открытие, послужив людям до первых веков христианства, потом было забыто так, как будто никогда и не было сделано? Потому что люди принимают с величайшей легкостью и хранят в памяти дольше всего открытия не творческих, а разрушительных сил, особенно тех, которые служат войне. Так из всех «благодеяний» христианской цивилизации принято было с наибольшей скоростью и распространено у всех, даже полудиких народов, изобретение пороха, этот главный шаг от войны-игры к настоящей войне.

Сделанный в древних таинствах и забытый к началу христианства, религиозный опыт Богосупружества сделан был снова, через пятнадцать веков, св. Терезой Иисуса и св. Иоанном Креста, но почти тотчас же был снова забыт, все по той же причине — слишком хорошей человеческой памяти на все открытия сил разрушительных, и слишком плохой — на все открытия сил созидательных.

Есть и две другие причины этого забвения: первая — та, которую уже св. Тереза предчувствовала в Иоанне Креста: «Я не знаю, по какому злому року никто никогда не вспомнит об этом святом». — «Я испугана злым колдовством, которое окружает брата Иоанна Креста». Этим «злым колдовством» он погружен был в черный колодец одиночества, подобный тому, в который упал в раннем детстве. «Он (всегда) один», по слову Терезы. Более или менее все великие люди одиноки и в славе неизвестны, но Иоанн Креста, как никто из них.

Вторая причина его забвения — страх, им внушаемый людям. «Там, в конце пути, он — страшный и весь окровавленный, с сухими глазами», говорит о нем добрый католик, Гьюсманс, в XIX веке, почти с таким же страхом, как в XVI веке говорили иноки Саламанкской обители, завидев издали его, подходившего к ним: — «Братия, дьявол идет, — уйдем скорее!»

Но, сколько бы люди ни забывали его, — вспомнят когда-нибудь, потому что сделанное им открытие людям слишком нужно. «Действие его до наших дней продолжается», говорит Гёте о Лютере; это можно бы сказать и о св. Иоанне Креста. Кажет-

ся, он и сам предчувствовал, что люди вспомнят о нем. «Эта милость Божья (брачное соединение человека с Богом) посылается только очень немногим, призванным к тому, чтобы передать духовную силу свою ученикам, потому что Господь охотно посылает избранным своим эти сокровища и эту власть (над людьми), соответственно важности того учения... какое призваны они сообщить грядущим поколениям». Судя по этим словам Иоанн Креста, он хорошо понимал, что сила экстаза, чья высшая точка есть Богосупружество, — сила не только внутренняя, личная, движущая каждого человека в отдельности, но и внешняя, общественная, движущая целые народы, а может быть и всё человечество. Это понимала и св. Тереза, когда переключала силу экстаза из личного порядка в общественный, «социальный», как мы говорим: «благо душе, познавшей истину в Боге (экстаз). О, как необходимо это познание людям, стоящим у власти! Насколько оно должно быть дороже для них, чем обладание великими царствами! Какой порядок установился бы тогда в государстве, и сколько бедствий было бы избегнуто... О, если бы я могла это сказать в лицо государям». — «Кто делает упорные усилия, чтобы взойти на вершину совершенства — (ту вершину экстаза, где происходит величайшее явление человеческой Личности в брачном соединении человека с Богом), — тот никогда не восходит на эту вершину один, но всегда ведет за собою, как доблестный вождь, бесчисленное воинство». Если в жизни своей, в настоящем, св. Иоанн Креста шел один, то может быть, уже предчувствовал, что в будущем пойдет за ним «бесчисленное воинство».

18

Есть два экстаза: один — божественный, творческий, а другой — демонический, разрушительный. Самый разрушительный — тот, который овладевает народами в войне: он подобен буйному помешательству или одержимости. Страшен бесноватый человек, но насколько страшнее бесноватый народ!

Только Экстаз божественный, творческий, может победить разрушительный, демонический экстаз войны. Вот почему людям наших дней, одержимых волей к Безличности, кидающей бесчисленные человеческие жертвы в раскаленное чрево Молоха войны, нужнее, чем кому-либо, сделанное св. Иоанном Креста открытие той высшей точки Экстаза, в которой происходит величайшее явление человеческой Личности в Богосупружестве.

Не было Войны еще никогда; были только многие маленькие частые войны. Первая и последняя, единственная Война только в наши дни началась. Но — «Как снится голодному, будто он ест, а пробуждается, душа его голодна; и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, — так будет и множеству всех народов воюющих (И с. 29, 8).

Так же неутолима и жажда Мира в Войне наших дней, и люди недаром ждут мира, как утра ждут те, кто бодрствует в ночи. — «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? — Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь». (И с. 21, 11-12).

Люди не выйдут из Темной Ночи войны в Светлый День мира, пока не поймут, что мир может им дать только Тот, Кто сказал: «мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как дает мир, Я даю вам» (И о. 14, 27).

Только в Светлый День мира люди поймут, что́ для них уже сделал и сделает еще св. Иоанн Креста.

Д. Мережковский

СТИХИ ИЗ СССР

Стихи, печатаемые ниже, получены из Советского Союза. Четыре стихотворения, подписанные именем «Елена», любезно пересланы нам радиостанцией «Свобода» в Мюнхене. Стихи эти были присланы туда с таким письмом: «Дорогие друзья, вместе с большой благодарностью за все, все, все посылаю несколько стихотворений разных лет, посылаю на ваш взыскательный и дорогой для меня суд. Может быть они найдут у вас отклик. Примите самые лучшие пожелания от меня и от очень многих ваших заочных друзей. Всегда ваша Елена». Другие пять стихотворений, которые мы печатаем без всякой подписи, получены редакцией «Нового Журнала» с оказией. Мы получили четыре тетради этого поэта. Нам известно, что его в СССР совершенно не печатают, как «несозвучного». Поэт просит, чтоб в случае напечатания, его стихи были бы подписаны его настоящей фамилией, ибо ему «терять нечего». Мы этого все-таки не делаем. Все стихи этого поэта относятся к 1951-му году. *РЕД.*

**
*

«Из тьмы пришел и скроешься во тьме».
Ничто не опровергнет слов пророка.
Но все живут, а мы сидим в тюрьме
Без обвиненья и без срока.

Жестокий господин, скрывающий лицо
За зубчатой стеной и песьими зубами,
Нас заковал в железное кольцо
И, сам недавний раб, глумится над рабами.

Но есть возмездье, невенчанный царь!
Оно придет, и рано или поздно
Ты упадешь, вчерашний пономарь,
Сегодняшний властитель грозный.

Ты упадешь... Но кто тебя столкнет?
Ведь сам ты не оставишь сцену.
Иль только смерть нас раскует...
И кто придет тебе на смену?

1948 г.

***

Весна, весна! Она пришла нежданно,
Еще холодная, но все ж она пришла,
Уже светло, и поздно или рано
Мы доживем с тобой и до тепла.

Взгляни на близкие и на чужие лица:
В них исчезает напряженный страх,
И что-то новое пытается пробиться,
И что-то загорается в глазах.

Такого мы не замечали прежде.
И мы уже другие, я и ты.
Так выпьем же за новые надежды,
За старые заветные мечты.

Март 1953 г.

ОСТАНОВИСЬ

Многоголосая, гудит столица,
Бежит и по земле, и под землей.
И я бегу, и мне не трудно слиться
С несущейся вдоль улицы толпой.
Но вдруг мня как током ударяет,
Я замедляю свой привычный бег:
Не торопясь, навстречу мне шагает
Совсем необычайный человек.

Нет, не одежда странного покроя,
Не борода, не шапка, не клюка...
Глаза! Глаза сверкают над толпою
На лике молодого старика.
Счастливец, избежавший заточенья,
Не испытавший ссылки, задержись,
Не проходи, но с болью и смиреньем
Страданию людскому поклонись.
Вглядись в черты, отточенные думой,
В них ты прочтешь судьбу страны своей.
Ты должен знать о Колыме угрюмой,
О страшных днях сибирских лагерей.
Остановись! Но все бежит столица,
Спешащая превыше всех столиц.
И я бегу и, всматриваясь в лица,
Свиные рыла вижу вместо лиц

1956 г.

***

Всевышней волею властей
(Я это видела воочью)
Из усыпальницы вождей
Тебя изъяли поздней ночью.
Хотя, по правде говоря,
Недалеко тебя умчали,
Все ж это сделано не зря,
Хоть не поймешь, с какой печали.
Властитель новый неспроста,
Без всяких там спортивных правил,
Ударом в некие места
К стене Кремля тебя отправил.
И, понимаете, пошел
На э....э....э....скандал всемирный.
Или колеблется престол
Под все растущей тушей жирной?

А может быть, сама земля
Дрожит уж от противоречий?
Народ стоит у стен Кремля...
Молчит. Но расправляет плечи.

Ноябрь 1961 г. *Елена*

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПСАЛОМ

Сегодня Рождество Любви
Мы празднуем. Душа спокойна.
Пусть мир основан на крови.
Его не поколеблют войны.

Сегодня Богочеловек
Явился людям на-потребу
Все стало свято — даже снег,
Что падает на землю с неба.

Сегодня родился Исус
Он в сердце каждого незримо.
И вот, я смерти не боюсь:
Христос и смерть несовместимы.

От мрака к свету путь прямой
Открыт, как Млечная дорога.
Хвала тебе, Спаситель мой!
Хвала тебе, узнавший Бога!

Предвечная свеча зажглась.
Мы приняли Живое Слово
И звезды миллионом глаз
Глядят на Рождество Христово.

1951 г.

***

Так устал, что ничего не надо.
Даже губ твоих я не хочу.
В памяти церковная ограда
И рука, держащая свечу.

Кажется, я все забуду кроме
Голосов, гудевших вроде пчел...
Кто-то воскресал в высоком доме,
Кто-то землю небу предпочел...

Дьявола увидит, Бога — тоже,
Человек, который жил в любви.
Ты была на Ангела похожа,
Крылья потерявшего свои.

И тогда я понял, что люблю я,
Что тебя мне Бог послал в удел.
И теперь, лицо твое целуя,
Я б молился, если бы умел!

1951 г.

РАЗРЕШЕНИЕ

Как страшно жить! И с каждым днем страшней
Он слышен, шум грядущего потопа.
Валькирии погнали лошадей,
Возмездие нависло над Европой.

На Висле, на Дунае, на Дону
Глухая ночь молчанием убита.
Всему конец. Земля идет ко дну —
Ее сомнут железные копыта.

Проснитесь, люди! В свой последний час
Бегите вон из замкнутого круга!
Теперь, в предсмертном ужасе мечась,
Вы можете не убивать друг-друга...

1951 г.

CREDO

Я не сфальшивил ни в единой ноте.
Иные над неправдою корпят,
Моя же Муза нынче не в почете
И говорит стихами невпопад.

Иные — дети рыночного гама.
Ну, а на мне — особая печать:
Моя душа верна себе, как гамма,
Поэтому я не могу молчать.

И сколько б я не воспевал оковы —
Минуты не останусь под замком...
И ни за что не буду Михалковым,
Как никогда не стану Маршаком!

1951 г.

ЭМИГРАНТ

Я хочу туда, где кока-кола
Нагло рекламируют афиши,
Где толпятся под луною голой
Небоскребов каменные крыши.

В той стране, порабощенной джазом,
Я нарежусь в баре «сода-виски»,
И по-русски одурманю разум,
Чтобы протрезвиться по-английски.

В этом мире не поставят в счет нам
То, что мы не склонны к переменам.
Очень хорошо быть безработным,
Очень хорошо быть бизнесменом...

Но еще приятней с крошкой Мэджи,
Скинув с плеч стандартную сорочку,
Ворковать в скворечнике коттеджа
На кровати, купленной в рассрочку.

Мне фокстрот сыграйте на рояли,
Тот, который любит Фостер Даллес...
Я хочу, чтоб гангстеры стреляли,
Кинозвезды чтобы целовались!

1951 г.

ИЗ ЗАПИСОК ЛЕОНИДА ПАСТЕРНАКА

Эти воспоминания Л. О. Пастернака присланы нам дочерью художника Л. Л. Пастернак-Слэйтер из архива Л. О. Пастернака в Оксфорде. Мы печатаем их в связи с исполнившимся в этом году столетием со дня рождения Л. О. Пастернака. РЕД.

ИЗ ГЛАВЫ «РАННЕЕ ДЕТСТВО»

Одесса или «Южная Пальмира», как город, разделялась на Старый Базар и Новый Базар, точно Старый Свет — Европа и другие части света, и Новый Свет — Америка. На самом же деле, почему, собственно, «Старый Базар», и чем отличался он от «Нового», я сказать не могу. Я знаю лишь, что я родился на Старом Базаре, в 1862-ом году, 22-го марта по старому стилю, и когда мальчиком бывал там (т. е. в центре города), я ничего старого не находил в нем, что бы отличало его от Нового Базара, куда мы перебрались, когда мне было 2-3 года.

Раннее мое детство делилось на легендарный и реальный период времени. Один наш старый двор — и по величине своей и по содержанию — мог бы почитаться легендой. *Величина двора* действительно была преогромная. Когда он в большие праздники (Рождество, Пасха) бывал пуст, когда уезжали мужики (чумаки) с их телегами, волами и лошадьми, — ибо это был «заезжий двор с номерами», как гласила большая вывеска на воротах, — становилось как-то жутко. Когда, после нас, дом этот был продан, то из него выкроили три больших дома для жильцов.

В конце двора против ворот, между двумя конюшнями-стойлами была самая интересная и таинственная «легенда»: стояла изба или что-то вроде избы. Когда открывали дверь, чтобы войти, в глубине, из-под русской печи шарахались и

волновались куры, а петухи слетали с печки и заражались куриной истерикой.

Но самыми легендарными и жуткими были, жившие в соседней комнате, полусумасшедшие, полупьяные, юродивые, или, просто, несчастные загадочные два брата, бывшие, будто бы, прежними владельцами этого заезжего двора с номерами. Таинственным было их прошлое. Еще более таинственным было их настоящее. Как они жили, и чем жили, чем питались, — ничего никогда не варили, только пьянствовали и почти не выходили из своих берлог — что-то страшное было для нас детей в этой полуживой загадке.

На самом деле, они сами боялись всякого постороннего существа и прятались от людей. Вероятно, задешево купивший дом, новый собственник, видный чиновник, разрешил этим братьям доживать свой век в этом старом курятнике.

Отец мой арендовал этот дом, — собственно не столько «дом», сколько «двор с угловым флигелем», в восемь отдельных комнат-номеров для мелких помещиков, приезжавших в своих огромных колымагах и в гоголевских тарантасах.

Когда двор бывал достаточно унавожен от постояльцев, этот навоз — будущее топливо, «кирпич» — резался на квадратики (брикет) и складывался в «кучки», т. е. пирамидками. Здесь, среди «кизячих» («кирпичных») кучек мы и играли. Эти сушившиеся на солнце пирамидки представляли главный интерес для нас детей (сестры Аси, брата Саши и меня), — за ними мы прятались и позже, когда уже читали Майн-Рида и Фенимора Купера. За этими конусообразными пирамидками, похожими, по силуэтам, на походные палатки краснокожих, мы укрывались и нападали на белых, и был большой простор детской фантазии. Вообще я рос, насколько могу припомнить, в необычном оригинальном окружении довольно оригинальной и редкой семьи, о которой скажу несколько слов ниже.

***

(Из письма сестре):

«Дорогая сестра моя Ася! Ты единственная оставшаяся в живых из большой семьи нашей, спутница и верный друг моего детства, ты одна помнишь странные эпизоды моего колыбельного детства. Разум говорит нам, что немыслимо, помнить себя в младенчестве, хотя и Толстой вспоминает себя в эти годы. А может-быть ты, как на два года старшая и пом-

нишь еще Тхоржевскую, приятельницу нашей матери, друга нашей семьи, потерявшую своего горячо любимого друга, тоже Леонида, и перенесшую всю свою любовь на меня потому, что я будто бы напоминал ей ее покойного возлюбленного, часами няньчившуюся со мной, — красоту ее рук я запомнил на всю жизнь. А случай со мной, двухнедельным ребенком, когда я чуть не умер от припадка удушья?

Я словно вижу эту сцену перед собой! Как в маленький дворик дома, наполненного бедными жильцами, из полуподвального помещения выбежала высокая, худощавая, изможденная от работ и забот, женщина — мать наша, и со стонами, в отчаянии ломая руки, раздирающим душу голосом стала звать на помощь, чтоб спасти своего умиравшего новорожденного ребенка; как в маленькой комнатке квартиры, куда хлынули на зов случившиеся тут соседи и соседки с детьми, — в колыбели, в предсмертных конвульсиях, мучился двухнедельный младенец, видимо недовольный этим миром и решивший его покинуть. Комната стала быстро наполняться, принявшими живое участие, шумевшими соседями..

Среди обступивших изголовье моей колыбели, и кричавших, каждый на свой лад, соседей, один только маленький портной знал подходящее средство: «Скорее! подавай сюда самый большой горшок, скорее! расступитесь — народ!» И, подняв высоко над моей головой громадный пустой горшок, с силой, и разом — бросил его на пол. Раздался оглушительный треск разбитой вдребезги посуды. Повидимому злые демоны, терзавшие меня, и тащившие меня на тот свет, так испугались, что тут же вылетели из меня. Я вдруг ожил и порозовел.

Конечно, ни ты, ни, тем более, я — не можем «помнить» этого. Это, просто, нам в детстве об этом часто рассказывали и матушка любимая наша и старшие сестры, и оттого это и запечатлелось так ярко и пластично в детском воображении.

Но вот что ты, как и я, прекрасно помним, это — канун Нового Года. Мне было 3-4 года, и это одно из моих первых *реальных* воспоминаний, в отличие от предшествующих, «легендарных». Я действительно очень хорошо помню этот случай, когда отец взял меня еще очень маленького за ручку и повел с собою, — а куда — я понять не мог.

Тихий зимний день сменяет тихая глубоко-темная ночь. Последние постояльцы мужики покинули огромный постоялый двор наш. Опустели и номера гостиницы, опустели конюшни, зияя огромными черными ртами... Ни звука кругом. Тихо,

жутко тихо. Из стеклянной двери нашей квартиры выходят в таинственную черноту вызвездившей ночи две фигуры, из которых более крупная, в праздничном одеянии, держит в одной руке большое круглое блюдо, завернутое в красный платок, другой рукой держит маленькую ручку тепло одетого ребенка. Это отец и я. Впервые я вышел из дому ночью... Помню — впервые: темное-темное звездное небо... Впервые на меня глядит такая густая, черная, полная необъяснимой жути, ночь, и не забыть мне этих мигающих над моей головой, переливчато ярких звезд, этой таинственной тишины улиц, и этого таинственного, как бы жертвенно-чинного беззвучного шествия.

Оба молчаливые мы движемся по темным пустым улицам, кажущимся мне бесконечными. Но вот за углом показывается единственное освещенное окно. Что-то блещет, переливается, какие-то цветные пятна в окне. Мы подошли к цели, к известной кондитерской Дурьяна, на углу Преображенской, против Городского Сада. Среди этой темноты еще ярче освещенные окна, уставленные многоцветным, небывалым чем-то. И вдруг я увидал в окне пироги, торты, пирожные, открытые коробки с невиданными конфектами, булочки с начинками, — всё, что незнакомо было нам в нашем скудном обиходе, недоступное, красивое, — всё, что очаровывает и влечет и приводит в восторг детское воображение...

Мы вошли. Совершенно особый волшебный мир. За чистыми, сверкающими светом и радостью прилавками, продавцы снимают с полок какие-то предметы обернутые в цветные бумаги. Пришедшие, как и мы, ждут, а затем уносят пироги, конфекты. Не забыть мне ни этой светлой комнаты, ни этих, всевозможных цветов и форм, ярко освещенных, печений и сластей, недостижимых и переливающих как те звезды, которые шли со мной всю дорогу!

Глаза разгорались на всё это богатство невиданного чего-то, очень хорошего. Я стоял, с радостным волнением зажав ручку в руке отца. Господин Дурьян, добрый, верно, человек, по лицу моему, понял всё, и обернувшись к прилавку, выбрал там миндальную (и, как потом оказалось, небывало вкусную) лепешку, и сунул ее мне в руку. Отец поблагодарил его за меня. Наконец отец получил, видимо, им заказанный, пирог, положил его на тарелку, и бережно стал его заворачивать в цветной, темно-красный платок.

Мы выходим на улицу. Снова темная звездная ночь, снова незнакомые, пустые улицы, снова силуэты больших не-

освещенных домов зажимают детское воображение. Торжественно, жутко. Я иду, прижимаясь к отцу, полон впечатлений.

Дома, когда концы платка были развязаны, вся семья собралась рассматривать пирог и не могла наглядеться на него. Как нечто, достойное уважения, как недостижимая святыня, на которую детям можно было лишь смотреть, провел он ночь в нашем доме, чтобы утром совершить свое последнее шествие: отец понес его, как я узнал потом, своему хозяину, владельцу арендованного нами дома, важному в наших глазах чиновнику Унтилову, и этим, полным какого-то значения, пирогом, — поздравил его и его семью с новогодним праздником. И Унтилов, и его дети ели этот несказанно прекрасный пирог... И должно быть съели и красивую — барокkового стиля — «белую, сахарную роспись «С Новым Годом».

Помнишь ли ты это?

А помнишь в жаркий летний день наш огромный постоялый двор, казавшийся нам целой вселенной, где мы имели и горы свои, из сложенного для сушки, срезанного в квадраты, навоза, и поле свое, на котором мы лавливали (и впрягали в сделанные нами бумажные телеги) огромных кузнечиков? Двор, на котором останавливались целые таборы каких-то цыган, что-ли, которых мы боялись? Двор, на который ежедневно, под вечер, на ночлег съезжались целые обозы, обязательно сопровождаемые угрюмыми собаками: скрипучие возы, грузные телеги, со впряженными в них красивыми волами, с умными глазами, и большими рогами, каких я видывал потом еще только в Италии. Хохлы-крестьяне в соломенных шляпах в серых холщевых, испачканных дёгтем, рубахах, в широких шароварах и чоботах, — толпились вперемёжку с помещичьими кучерами, унимавшими ржавших лошадей. А эти огромные своеобразные фургоны четверкой! Эти старомодные экипажи, в которых сидели, обложенные вещами, совершенно гоголевские старосветские помещики, мелкопоместные землевладельцы, с их семьями и детьми, останавливавшиеся в номерах нашей так называемой гостиницы! Эти таратайки, фаэтоны, брички, бегунки... Каких только не насмотрелись мы типов среди останавливавшихся в наших номерах! Этих бывших владельцев живых и мертвых душ, ибо крепостное право уничтожено было лишь несколько лет назад, и дух его был еще жив в этих представителях феодального времени... Но это особая глава русской культуры.

Как сейчас вижу всё это характерное, неповторимое собрание типов, навсегда ушедших в прошлое; как сейчас вижу, поселившихся почему-то у нас внизу, татар-коробейников, с их пестро и живописно одетыми женами — у кого их две, а у кого и три их, — с детками их, и с тем особым их запахом казаиского мыла, всюду их сопровождавшим.

Детское воображеиие мое, на вид замкнутое в городские рамки, на самом деле было окружено деревенскими впечатлениями. Ведь правда, мы, хотя и жили в городе, но «двор» наш напомииал скорее деревню, и всё — и по размерам и по содержанию — как-бы деревенское окружало нас. И двор этот, с подводами, фурами и возами, с лошадьми и волами, с «чумаками», кучерами и татарами — немало способствовал обогащению моей художествеиной фантазии, и развитию иаблюдательности.

Каждый вечер заезжали переночевать постояльцы (за иочлег платили несколько копеек), хохлы с привезенным для продажи хлебом, и к ночи двор густо наполнялся телегами, людьми, скотом. Пахнет навозом, слышится ржанье, жвачка. Еще сейчас ощущаю особый запах лошадиных сбруй и дёгтя, еще сейчас в тиишие ночи слышу глухое мычанье вола, фырканье лошадей, ссору лошади с лошадью, и виезапный, проиизывающий окрик «а ннну, сволочь!» Обычный шум этого огромного как бы табора к кануиам больших праздиików стихал. Все разъезжались по своим деревням и поместьям, и к ночи двор чернел, а пустые стойла зияли как громадные открытые пасти. И только в нашей маленькой квартирке, прилегавшей к пустому флигелю гостиницы, шла по-своему иаша семейная жизнь.

...Ты помнишь, конечно, мои первые детские рисунки, ио *помнишь ли ты моего первого Лоренцо Медичи*, т. е. того дворника-мецената, который заказывал мне «Охоты иа зайцев с борзыми», и платил за каждую такую картинку по пяти копеек?! Откуда взялся, среди этой обстаиовки постоялого двора и мелкого лавочничества, — этот искренний любитель искусства? Это был, верио, иастоящий, страстный охотник, и в душе истый покровитель искусства. Но не могу я поиять, что это были за картинки (помию их в красках — откуда взялись они у меия?), и как оии могли удовлетворять его? Между тем он не зря платил мне за них: он украшал ими стены дворницкой. Помню то белых, то серых (смотря по заказу) борзых, гнавшихся за зайцем, — и как я в такие

ранние годы (лет 6-7, не больше) мог справляться с такими задачами?»...

***

По настоящему я вспоминаю свое раннее детство с того времени, когда отец, дела которого, видимо, несколько оправились, взял в аренду вышеописанный «Заезжий Двор с Номерами», т. е. огромное пустопорожнее пространство — двор, с угловым двухэтажным флигелем, разбитым на небольшие комнаты — номера для приезжавших на своих лошадях окружных мелкопоместных дворян. Дом Груздьева знал весь уезд, но приезжали и из дальних мест, благо номера были очень дешевы. Эта часть города, на окраине, носила более провинциальный, более деревенский характер. Отсюда отчасти было видно море, видна была ближняя слободка Романовка. Здесь мы жили уже в более поместительной квартире, состоявшей из кухни и двух небольших комнат, и эта квартирка, где прошло мое раннее детство, мне *очень памятна.* Во-первых, потому, что в нашу довольно бедную квартиру вела незатейливая, без навеса, довольно отвесная деревянная лестница. Эту полутора-этажную, некрытую и импровизированную лестницу приделали, когда квартира была давно готова. Ни слуг, ни няньки к детям не было у нас. Мы были сами себе предоставлены, и случалось, что с самого верху, по всем ступеням скатывались кубарем младшие дети, оставленные без присмотра. И только крик и плач, уже достигшего земли, ребенка давал знать старшим или всегда занятой работой матери об обычной катастрофе. Сбегавшие на помощь старшие, — обыкновенно с кружкой воды — вспрыскивали и подымали растерявшуюся жертву этой злосчастной лестницы. Я был самый маленький и часто оступался на верхней ступеньке и, естественно, падал кувыркаясь через всю лестницу до низу, где оставался, плача и крича, пока мать моя в отчаянии не сбегала подымать меня. И то место, с которого она подымала меня, она почему то тоже обливала водой. И сейчас у меня живо впечатление от этих частых катастроф: вдруг предметы теряли обычную свою устойчивость, кружились, быстро уступали один другому свое положение, пока вдруг — ушибленное место не вызывало боли, сопровождаемой воплями и стонами. Я так хорошо помню, как вверху, споткнувшись, сразу замечал, как, — то́ небо и крыша, то́ крыша и окна наши, то́ порог и земля, — ритмично вертелись согласно положению моего туловища. Но Бог милостив, — всё благополучно проходило до следующего кувырканья.

Второе памятное обстоятельство было то, что на кухне, где, зимою, мы, младшие дети (Ася, Саша и я), проводили всё наше время, цепляясь за мамин подол, во-время ее стряпни, — над печкой, в которой она пекла вкусные хлебы и стряпала, было особо теплое, чистенькое и уютное местечко. Туда, в зимние долгие вечера, моя мать взбиралась сначала сама, а потом забирала нас, младших детей, и тут мы слушали волновавшие нас ее рассказы про ее деревенскую, до замужества, жизнь, и про наше собственное прошлое. Оттого-то, благодаря повторным рассказам матери, я и «помню», конечно, вышеописанную сцену в колыбели, на Старом Базаре. И не было лучшего удовольствия чем, — у мамы на печке, где действительно было тепло зимою, — слушать ее рассказы.

***

Двор наш, заполненный возами, волами и лошадьми, представлял интересный живописный матернал для картин и этюдов, а контингент гостей номеров — большей частью, старосветских помещиков, доживавших свой век крепостников, полуживотных, полулюдей, с их допотопными колымагами, тарантасами или экипажами шестеркой — мог бы послужить писателю, как редкий и богатый источник новеллистического и психологического характера. Всё это, конечно, было недоступно мне, по возрасту моему. Всё же кое-какне интересные типы и характерное поведение их сохранялись в моей памяти, но с годами стерлись.

Среди этих мелкопоместных владельцев близлежащих к городу усадеб — большей частью Одесского уезда — была редкостная пара: священник (имени его не помню), Отец такой-то, и его жена («попадья», как ее называли у нас мужики). Священника этого прозвали «видмедем» («медведь»). Это был высокий, худой, в серой рясе, желчный человек, совершенно не похожий на медведя, — разве только по звериным серым, глубоко сидевшим, глазкам. Попадья была совершенной его противоположностью. Очень толстая, крупная, искренняя и добрейшая женщина, говорившая скоро-скоро, мелко-бисерно, с одного неоконченного предмета перескакивавшая — но в другой интонации — на другой, совершенно противоположный, и быстро вдруг заканчивавшая неожиданным вопросом: «А как вы, хозяюшка, этот хлеб печете?..»

Он был, что называется, сутяга, ябедник, то и дело по духовным судам ходил, имел вечные жалобы, и надоедал,

как рассказывали, местному архиерею доносами. Передавали, что однажды он, будто-бы, стал жаловаться, что у какого-то «пьяницы» священника приход богатый, тогда как у него самого — приход бедный, а между тем он-де водки не трогает. На это архиерей, умный и тихий человек, будто бы ответил: «И чорт водки не пьет, а сколько зла людям делает...»

Добродушной попадье я обязан однако еще одним ярким воспоминанием раннего детства, а именно, воспоминанием об Одесской «ярмонке» (по-простонародному, т. е. — ярмарке). Ежегодно, в начале осени, за городом, в особом «Николаевском», вероятно для парадов, пустом здании (на манер московского манежа), ко времени, когда крестьяне близлежащих деревень съезжались после продажи урожая, устраивалась ярмарка. На эту ярмарку раза два попадья брала мою мать и нас, меньших детей. Закладывали шарабан, настилали свежего сена, чтобы помягче и удобнее было... Однако, увы — трясло по каменной мостовой отчаянно. Но сердца были так торжественно настроены, что тряску забывали. Еще не доезжая до здания, мы слышали доносившийся с ярмарки громкий шум смешанных звуков, выкрикивания торговцами товаров, звона каких-то колокольчиков лимонадных палаток, мычащие звуки детских игрушек, говор толпящихся посетителей с ребятами, и, как это бывает в детском возрасте, принимая удесятеренные размеры, всё производило впечатление чего-то оглушающего. Входили в само здание, — и вас поражал запах медовых пряников и свежей кожи полушубков и юхтовых сапогов, я словно сейчас ощущаю этот особый смешанный запах!..

В сущности там, кроме перечисленного, и игрушечных нескольких палаток — никаких «товаров» не припомню: только дёгтем смазанные, неуклюжие крестьянские «чоботы» (сапоги), висевшие перед палатками, да несколько палаток с полушубками — а шуму, криков, зазываний было до одурения, словом тоже, хоть и в меньшем размере (но оглушительнее, так как происходило в закрытом здании) как на Красной площади в Москве, в былые времена, перед Пасхой.

Устав от ходьбы по свеже-посыпанному песку и от толкотни и шума, с медовыми пряниками и дешевыми игрушками в руках (я как сейчас вижу этих деревянных раскрашенных лошадок, слышу запах этих сластей), возвращались мы назад, домой, довольные, и под сильным впечатлением пережитого за этот день.

***

...Как мною было уже сказано выше, я стал рисовать с раннего детства, и очень любил это занятие. Помню также рисункн моего старшего брата Давида, умершего по окончании гимназии. Рисунки его производили на меня, 4-5-летнего мальчика, незабываемо глубокое впечатление. Особенно поразил меня однажды нарисованный им поезд железной дороги, на всем ходу, с клубами тянущегося из трубы дыма, и еще помню какого-то императора или генерала на белой лошади. Не знаю, почему после его смерти ничего не сохранилось из его рисунков. Но в простом классе: «Loin des yeux — loin du coeur».

Непонятно, что в семье таких простых, бедных, далеких от искусства людей, какими были мои родители, было два сына с художественными задатками. Я признаю несомненность закона наследственности, и, на самом деле, насколько помню, отец мой обладал артистическими способностями. В редкие минуты трудной трудовой жизни отец позволял себе пошутить, и отлично мог «изобразить» кого-либо, манеру говорить, держать себя и т. д. Мать же, родившаяся и выросшая в деревне, безумно любила природу, цветы, особенно розы, и всё колористическое. Таким образом, с одной стороны, наблюдательность отца, его склонность к юмористическому, его схватывание характерного жеста, мимики, и т. д., с другой стороны, любовь матери к природе и к краскам, (необходимые элементы изобразительных искусств: форма и цвет) и передались в различной комбинации нам обоим.

В начале этих записей я постарался дать характеристику семьи, в которой вырос, в особенности моего отца, его гордый, независимый характер, его пуританизм, его требовательность по отношению к себе самому к своим домашним, и т. д. Теперь, заговорив о моем раннем увлечении рисованием, должен сказать, что, конечно, в «спартанской» атмосфере нашего дома (как мы впоследствии, вспоминая детство, называли воспитание отца) оно не только сердило родителей, как непонятный каприз, но и пугало и волновало их.

Мать моя, выросшая в труде и нужде, всю жизнь пуще всего боявшаяся бедности, не могла без ужаса представить себе, что ее вениамин (я был самым младшим из девяти детей, из которых в живых осталось лишь пять), судя по склонностям к постоянному рисованью и к «малюванью», — что этот ее любимец будет простым маляром-ремесленником.

В малообразованной, простой, трудовой среде, в которой я вырос, люди и представления не имели об искусстве, художниках и т. д. Знали только, что «малеванье» — занятие маляров, т. е. ремесленников, красящих полы, крыши, фасады домов, вечно запачканных, грязных; такое ли будущее создать своему любимому детищу?

В начале домашние терпели мои попытки к уединению, но вскоре, как только заставали меня за рисованием, они восклицали со вздохами отчаяния: «О, он уже рисует черные зады!..» Это странное определение моего занятия было результатом следующего обстоятельства. Мой брат Саша (старше меня на 4-5 лет) однажды достал кусок цирковой афиши, на которой был напечатан слон. За неимением ничего лучшего, я срисовал его. Потом стал свой рисунок раскрашивать какой-то ваксой, которую брат где-то достал. Кто-то из домашних застал меня за раскраской задней половины туловища слона, и с той минуты почему-то всякое мое «произведение искусства» со вздохом встречалось этим насмешливым восклицанием. Это была надолго оставшаяся в семье, уничтожающая оценка всяких моих попыток до всего доходить самоучкой. «Ого, он уже опять малюет 'черные зады'», — раздавалось в комнате в то время, когда я, уже будучи постарше, копировал красками розовых монахов Грюцнера, со смаком поедающих устрицы.

Всё стремление моей любимой и до безумия любившей своих детей матери, по себе самой знавшей мучительность бедности, было — из, буквально ото рта урываемых грошей, из бережно копимых копеек собрать хотя бы немного средств, чтобы вывести детей в люди. Она больше отца стояла за образование, и младшую сестру ей удалось отдать в женскую гимназию и даже, себе самой отказывая в самом нужном, осуществить мечту свою: Ася стала брать уроки музыки на рояле. Меня же готовили в доктора или адвокаты. Теперь я вполне оправдываю родителей, желавших уберечь сына от нищенской стези простого рабочего, маляра, — в простоте души не понимавших, что природную склонность мою к рисованию, как растущий зуб, искоренить трудно, и что в будущем проявится она с еще большей силой. Но тогда всё детство и юность мои прошли в долгой и упорной борьбе за мое призвание, за признание, за возможность получить хоть какое-нибудь художественное образование. Теперь только понимаю я, какая коллизия, какое раздвоение было в душе моей матушки, этого ангела доброты, этого нежного, чув-

ствительного существа — выросшей в природе, обожавшей цветы, на сбереженные гроши приносившей с рынка роскошные букеты роз (несомненно передавшей мне эти чувства), — я только теперь понимаю ее страдания, когда она, вопреки своему мягкому и неспособному на крутые меры, характеру, должна была прибегать, с усилиями над собою, к мерам, временно жестоким, — жечь в печке мои рисунки, — чтобы «в корне» уничтожить зло, и во-время спасти от будущих бедствий.

И только борьбой этих двух начал в ее душе я могу объяснить странный парадокс, что, уничтожая мои рисунки, она в то же время, вняв слезным просьбам моим, разрешила мне взять несколько уроков рисования. Дело в том, что в наш двор, к жильцам, переехал молодой человек (маленький чиновник), очень милый диллетант, любитель. Мне должно быть, удалось увидать, как он рисует акварелью. У меня, конечно, глаза разгорелись и, вероятно, я стал упрашивать мать позволить мне взять у него несколько уроков акварелью. И к моей неожиданной и безграничной радости, она согласилась, из скопленных грошей, платить за учение. К сожалению, мне у него учиться не пришлось потому, что я, кажется, лучше его рисовал. Двух уроков было достаточно, чтобы, не обижая его, закончить «курс», тем более, что он должен был съехать на другую квартиру. Но вот к нам во двор въехал новый горе-художник, более «профессиональный» чем предыдущий. Это был истый малоросс, — ученик Шевченко, кажется, — очень, повидимому, нуждавшийся. Он писал малорусских «дивчат», в национальных костюмах, в венках из полевых цветов на головах, и ходил продавать их за бесценок в подворотнях Дерибассовской улицы. У него я увидал впервые масляные краски в рыбьих пузырях, туго обвязанных веревочкой, как писал еще Шевченко. Он очень меня поощрял и много рассказывал из своего прошлого, но что — я всё позабыл. У него я увидал «настоящий» треножник-мольберт, холст — словом я был в восторге...

Но знакомство с этим художником, в сущности, относится к более позднему времени, когда я уже был школьником, и о нем я расскажу в следующей главе. В школе, а впоследствии, и в гимназии, «искусство» мое, причиявшее мне столько страданий в собственной семье, служило источником радости, признания и успеха, — не только среди товарищей, но и среди учителей и начальства.

Вышеупомянутому художнику я обязан моими первыми попытками писать масляными красками... Ах, не забуду: от него я принес мой первый холст — зимний пейзаж, списанный с его этюда. И пейзаж этот тоже окончил свое существование в печке...

ИЗ ГЛАВЫ «ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ»

Первый Всероссийский Съезд Художников

В начале девяностых годов «Московское Общество Любителей Художеств», с председателем, архитектором К. Быковским во главе, решило устроить (в связи, должно быть, с реформами в Петербургской Академии Художеств) «Первый Всероссийский Съезд Художников», на манер всяких учительских, медицинских и научных съездов, — с очень широкой программой, долженствовавшей закончиться грандиозным художественно-декорационным, музыкально театральным представлением. В целом ряде, поставленных известными художниками, живых картин оно должно было изобразить «историческое развитие пластических искусств в его главных этапах». Для этого специально была в зале бывшего Благородного Собрания устроена театральная сцена; специально для этого представления композитором Аренским была написана, ставшая потом известной, опера «Рафаэль»; приглашены были к участию лучшие артисты, как Станиславский, Ленский и др.; написаны были декорации, соответственно с ими же поставленными живыми картинами, художниками Поленовым, К. Коровиным, Серовым, А. М. Васнецовым, Малютиным, Касаткиным и мною.

Случилось так, что, когда я на короткое время отлучился из Москвы по своим делам (в связи с иллюстрациями к «Войне и Миру»), в одном из собраний Общества Любителей Художеств обсуждался и утверждался вопрос, какие художники будут участвовать и писать декорации, и к каким живым картинам. Первая картина была — *Греция*, со Станиславским в роли Праксителя, постановка Поленова. Затем, кажется *Ренессанс: Данте* (декорации Васнецова и Серова). «*Рафаэль*» — опера Аренского, — декорация Пастернака.

В заключение (насколько запомнилось в общих чертах): *Русское Искусство* — Коровин и Малютин.

И так, без моего присутствия на этом собрании, и без моего ведома, решено было, что к опере «Рафаэль» декорации напишет Пастернак. Когда я вернулся из Питера и узнал об этом, я пришел в ужас, взмолился, просил меня освободить, искренне заверяя, что никогда еще в жизни настоящих декораций не писал, и что понятие о роде этой живописи имею слабое... Никто и слушать не хотел, и меня успокаивали, что мои товарищи, опытные в этой технике, помогут, и т. д., — словом, уговорили, и я поверил. А когда пришло время взяться за писание, — как это всегда бывает в таких случаях — никого из обещавших — кто-бы мог помочь — не оказалось... Мне пришлось самому преодолеть непредвиденные, необычные для меня трудности, как по данным размерам декорации, так и по неблагодарности самого сюжета: опера в одном действии, и всё действие происходит в мастерской Рафаэля... Какая была у него студия? Чтобы быть ближе к исторической правде, пришлось пересмотреть разные исторические и архитектурные источники. Увы, подходящего ничего не оказалось. Я махнул на это рукой и сделал в красках эскиз, который всем понравился, и который обещал быть очень эффектным и живописным. На главном фоне задней стены, выдержанной в соответственных тонах, я написал ренессансовую, раннего периода, фреску, и через открытую галлерею показал, ярким солнцем освещенный итальянский дворик раннего Ренессанса, с фонтанчиком, — небо, и т. д. Пока я приводил в перспективу, и переносил эскиз в требуемую величину огромного холста, я безумно физически — с непривычки — уставал. Обещанных помощников и «опытных» всё еще не оказывалось... и пришлось взять моих двух учеников для самой простой физической помощи. Пока я писал окутанную в полумрак стену, как контрастный тон к будущему освещенному дворику — я каждый раз приходил в отчаяние, что всё какая-то грязь выходит, и чем дальше, тем очевиднее становилось мне, что я ужасно оскандалюсь «перед всем честным народом»... «И зачем я не отказался наотрез от такой, насильно мне навязанной задачи, и чего я поверил в помощь?!.. Это мне нарочно устроили 'враги', чтобы провалить меня» и т. д. Мрачные мысли стали овладевать мною, я чувствовал себя очень несчастным. Между тем срок окончания подходил всё ближе. Наконец я стал писать освещенный солнцем дворик и сад, и чем больше я записывал

холст, тем на душе становилось легче и легче... А когда весь дворик и сад были написаны и я поднялся на лестницу,* чтобы окинуть взором всю декорацию, — радость охватила меня, — точно волшебство какое-то совершилось: вся декорация ожила! И то, что меня сперва приводило в уныние, т. е. фон с фреской — сразу получили надлежащий им благородный тон и силу, и в свою очередь подняли еще больше живописную красоту освещенного «плэнэра», — и всё заиграло. Дворик и сад ушли вглубь... сколько воздуха! как горят они освещенные солнцем! «Я спасен!», — почти крикнул я и стал в душе благодарить Бога, Провидение, судьбу, рок, фатум, — как хотите назовите!.. Вся жизнь моя научила меня видеть во всем предопределения судьбы, и потому я всегда был фаталистом.

В то же время, в одном из соседних с моим помещений в Историческом Музее, где нам предоставлено было писать декорации, работал Василий Дмитриевич Поленов. На его долю выпало написать декорацию к первой живой картине, олицетворявшей Античный Мир. На берегу Эгейского моря видна была часть храма, перед которым стояла Венера Милосская (настоящая копия — гипсовый слепок с Парижского оригинала), перед которым, в костюме античного грека, молодой тогда, красивый, еще мало известный, — Станиславский (кажется под своей настоящей фамилией — Алексеев), в роли Праксителя, — декламировал хвалу классической красоте и искусству. Насколько я помню, декорация Поленова изображала фон для Венеры, т. е. небо, часть храма и море.

Надо было видеть, как мастерски, и с каким опытом писал Поленов, этот создатель всего обновленного течения русского театрально-декорационного движения, повлиявшего на декорационную живопись и на западе!

Когда я зашел к нему как-то раз во время периода моего крайне мрачного настроения, — я в восторг пришел от того, как легко, просто и скоро он писал, с поразительной уверенностью и знанием того, что получится на расстоянии, и когда высохнут колера! Широкой кистью махнет от края до края, и — вот тебе — волна подкатывает к берегу; махнет — раз, два, три, — и колонна храма стоит, охваченная солнечными рефлексами, и т. д. Дивная декорация!

---

* Так как декорация лежит на полу (прикрепленная) и ее пишут в этом же положении, то, чтобы увидеть сразу издали общее впечатление, надо влезть на высокую стоячую лестницу.

Окончив работу, я снова зашел к Поленову (пришедшему дня за три лишь до срока, чтобы с помощником успеть написать свою декорацию) и попросил его зайти ко мне в мастерскую, посмотреть мою работу и, если что нужно и можно, посоветовать, т. к. я знал его непредвзятость, и верил в искренность его дружеского расположения ко мне, как к художнику и человеку. Он был в полном и лучшем смысле слова — благороднейший джентльмен европеец. Своим благородством он выделялся среди всех старых и молодых наших художников.

Когда он зашел в мастерскую и поднялся на лестницу, он стал поздравлять меня с успехом и не хотел верить, что я не писал раньше декораций... Он всячески выражал свой восторг, которому я верил, и потому я испытывал искреннюю радость.

Но радоваться мне было рано — надлежало еще справиться с совершенно не относившейся ко мне задачей — к тому же еще в последнюю минуту. Как я уже сказал, моя обязанность была лишь — написать декорацию, — самая же постановка оперы, реквизит, костюмы и проч. — возложены были на Ленского и Быковского, брата архитектора, мало известного художника-старичка. Вот прихожу на генеральную репетицию. Декорация моя уже висит и производит тут еще лучшее впечатление чем в мастерской, на полу, в лежачем положении. Но Боже мой, что я вижу! На авансцене, с правой и левой стороны, стоят два небольших новеньких, только что, повидимому, присланных из магазина (вроде Дациаро) мольберта-треножника в стиле рококо, и на один из них положена чуть-ли не фотография или гравюра с Дрезденской Мадонны!!.. Я пришел в ужас от этого анахронизма и от общей средне-мещанской, современной «меблировки». Я кинулся искать старичка Быковского, который был ответствен за постановку, но, конечно, найти его не мог, да если бы и нашел, толку было бы мало — едва ли он знал в чем его дело. Где достать старые большие мольберты, на которых в старину писали большие картины?!.. Я полетел в Училище Живописи, разыскал 2-3 подходящих, — старых, больших мольберта, и упросил тотчас же их прислать в Благородное Собрание, ибо на другой день уже был спектакль!.. За кое-какой, — но настоящей — ренессансовой мебелью, вроде кресел и табуретов я полетел к Савве Ивановичу Мамонтову, зная, что у него найду жалаемое.

Мамонтов, известный в то время, так называемый, меценат, основавший «кустарный художественный очаг», Мамонтовку, где иногда гостили его друзья-художники, делавшие прекрасную керамику; где писались Поленовым и другими художественные декорации; где ставились оригинальные пьесы для детей старшего возраста, — Мамонтов был всесильный, властный делец, строитель железных дорог, и проч. (попавший, под конец, под суд), которому однако уже за одну его заслугу, что он «открыл» Шаляпина и дал ему проявить себя, — можно простить его грехи, большие и малые (к числу которых можно прибавить и его антисемитизм).

Мамонтов только что вернулся с генеральной репетиции и был не в духе, когда я вошел к нему в кабинет. Я рассказал ему, в чем дело, в какой ужас я пришел, увидав эти два новеньких — прямо из магазина — мольбертика и эту мещанскую «мебель» у... Рафаэля... и просил у него разрешения взять несколько резных настоящих ренессансовых кресел, табуреток и т. д.

Вот какой, приблизительно, вкратце, диалог произошел между нами:

Мамонтов: Я сейчас оттуда... и видел сам... Ничего не дам! Вы за всё ответственны — раз вы пишете декорацию...

Я: Но вот, Савва Иванович, на этой афише ведь сказано, что я пишу декорацию, постановку же — Ленский и художник Быковский взяли на себя, и стало быть, сценарий, мебель, костюмы и пр. на их ответственности...

Мамонтов: Всё равно! Художник, писавший декорацию, отвечает за всё!.. Я вас разделаю в газетах!.. Я «бросаю вам перчатку»...

Я (не без улыбки): Пожалуйста, Савва Иванович, сколько угодно «разделывайте», я подымаю «перчатку», — и в том же роде дальше...

Но табуреты и просимое, после всяких дебатов я в конце концов получил, и наша дуэль тем и кончилась.

Как я впоследствии узнал, Мамонтов очень не любил Ареиского и его музыку, и у него с ним были какие то «счеты» (музыкальные), которых он ему простить не мог, а также приглашен был не тот дирижер для «Рафаэля», которого хотел Мамонтов. Словом, я без всякой вины, чуть не попал в козлы отпущения; но к счастью всё вóвремя выяснилось и кончилось прекрасно, и в «угрожавшей» мне печати оказа-

лись одни похвальные отзывы... Также «удостоился», по желанию Попечителя Училища Живописи, Ваяния и Зодчества, великого князя Сергея Александровича — быть ему представленным, и выслушать очень лестные для меня его отзывы относительно моей декорации.. Между прочим, он спросил, с натуры ли, по этюдам, я писал, и в каком месте Италии? И очень был удивлен, услышав от меня, что в Италии я еще никогда не был... но в скором времени собираюсь...

И снова Бог или моя счастливая судьба устроила так, что Съезд, сам по себе не давший никаких практических результатов (устраивать такие съезды могут врачи, учителя, для художников же это — бессмыслица), и причинивший мне в начале много неприятностей, закончился для меня большим успехом, и послужил мне на пользу. Съезд этот отчасти, вероятно, повлиял на решение Совета Училища Живописи принять меня в состав преподавателей Училища.

Вскоре после Съезда я, в числе некоторых моих товарищей, молодых художников, был приглашен директором Училища, князем А. Е. Львовым (тогда еще бывшим секретарем Московского Художественного Общества), войти в состав преподавателей Училища, на место В. Е. Маковского, перешедшего профессором в обновленную и реформированную Академию Художеств в Петербурге.

Итак, в моей жизни 1893 год знаменателен знакомством и сближением с Толстым (о котором расскажу в главе, посвященной Толстому), а 1894 — поступлением в Училище Живописи, которое в свою очередь определило целый большой — в полвека — период моей, могу сказать, счастливой жизни и работы в любимом Училище.

«АРТИСТ». РИСОВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА У ГОЛИЦЫНЫХ

В начале девяностых годов, еще перед моим переездом из Одессы в Москву на постоянное жительство, я прочел в газетах публикацию о предстоящем выходе первого большого журнала «литературы, театра, живописи и музыки, под названием 'Артист'». Редактором-издателем был Куманин, — финансировал журнал молодой фабрикант Новиков. Журнал обещал быть очень интересным и передовым. Главным руково-

дителем литературной и театральной части был профессор Стороженко, а также профессор Веселовский. Художественным редактором предполагался известный художник (и, кажется, поэт) граф Соллогуб.

Чтобы предложить свое сотрудничество, я послал в редакцию, на имя Куманина, для пробы, несколько моих рисунков пером — сценки жанрового характера, типы из театрального мира и из сценической жизни. На это я получил ответ, что кое-что подходит для них, но что рисунки «мало закончены», и еще что-то в этом роде — сейчас не припомню. Конечно я был огорчен, я не ожидал такого ответа. Но тотчас же вслед за этим я получил очень милое, сердечное письмо от художественного редактора графа Соллогуба, в котором он передавал мне, что Куманин (общий редактор) показал ему мои рисунки, от которых он пришел в восторг; когда же Куманин сообщил ему, какое невежественное письмо он только что написал, мне, Соллогуб его разругал: — «Вы ровно ничего не понимаете!! Я сейчас же за вас извинюсь, и мы не только берем всё присланное Пастернаком, но просим и впредь подобное давать, а также просим быть художественным редактором 'Артиста'.

Так, не ожидая этого, я стал художественным редактором, и живое участие принимал в жизни этого журнала.

Через много, много лет я встретился — кажется, у Балтрушайтиса, известного поэта, будущего литовского посланника при РСФСР, — с Бальмонтом, который в свое время печатал ранние свои стихи в «Артисте». Разговорившись с ним про старое далекое время наших первых встреч, коснулись «Артиста». Отзываясь о нем с большой похвалой, Бальмонт определил значение «Артиста» приблизительно следующими словами: — «'Артист' был для нас предтечей 'Мира Искусства'».

К сожалению, «Артист» был отражением не столько нашей художественной, сколько, скорее, чисто театральной и литературной жизни. Перевес огромный был за писателями, и превалирующим элементом была литература. Первое время я мечтал, что удастся создать «равновесие». Но приходилось буквально бороться за интересы и задачи художественно-живописные. К тому же Соллогуб, к сожалению, по болезни рано покинул редакцию «Артиста». И я... — «один в поле не воин» — я увидел, что трудно, в сфере литераторов, — и того еще времени — создать серьезный интерес к художе-

ственно-живописным задачам, и понемногу отошел от редактирования.

Между прочим вспоминаю; А. П. Чехов написал для «Артиста» одноактный этюд «Калхас». Куманин, чтобы отметить и почтить появление его, просил меня сделать иллюстрацию к этому драматическому этюду. Я сделал, помню, рисунок пером, очень всем понравившийся. Однако оказалось, что я невнимательно прочел сценарий, где было сказано, что суфлер — с бородой, а я нарисовал его (как всегда они) бритым. Когда А. П. Чехов увидал рисунок, он ему так понравился, что он тут же «побрил» суфлера, т. е. вычеркнул ремарку «с бородой» из манускрипта, и просил не менять рисунка. Так мне Куманин рассказывал об этом инциденте. По этому поводу мы с Чеховым обменялись письмами. Оригинал «Калхаса» вероятно в Театральном Музее или в семье Куманина или Чехова.

Вообще должен признаться (насколько припоминаю), что, приехав — по окончании своего художественного образования за границей — и поселившись в Москве, я был поражен, как мало еще было интереса в тогдашнем обществе к живописи и вообще к пластическим искусствам. Меня удивляло также, как слабы были в рисунке даже некоторые именитые художники (за исключением, конечно, таких мастеров, — любивших рисунок, форму — как Репин, Серов, В. Васнецов и некоторые другие) — форменные диллетанты, и диллетантизм процветал среди большинства передвижников.

Если где была малейшая возможность порисовать с натуры, как у Коровина, Поленова, и особенно у князя Голицына, то я уж всегда был самым ревностным работником и участником. То же могу сказать и о Серове. Мы были известны как рядовые «записные» охотники, тем более, что, будучи профессорами Училища Живописи, должны были «поддержать нашу репутацию», и на народе «не ударить лицом в грязь».

Все почти лучшие художники собирались на эти рисовальные вечера, но многие и вовсе не брались рисовать «на народе»... А между тем позировали на этих вечерах, иногда в исторических костюмах, самые красивые женщины высшего московского общества. Как устоять перед такой серьезной художественной задачей как портрет с натуры?! Но когда хозяйка дома предлагала им тоже порисовать, они, т. е. именитые художники, отнекивались, и указывая на нас, обращались к нам с шутливыми восклицаниями: «Ну вы, уж вы

мастера, вам и книги в руки» и т. д., или: «Мы на людях, в обществе не решаемся», и тому подобное.

Эти рисовальные вечера устраивались С. Н. Голицыной, супругой бывшего Московского Городского Головы, в их особняке на Большой Никитской. Сама хозяйка тоже рисовала и— как диллетантка — очень недурно. Простота, отсутствие всякой чопорности содействовали тому, что как приглашенные художники, — работавшие и не работавшие, — так и гости хозяйки, — все чувствовали себя хорошо и непринужденно. В больших комнатах, примыкавших к той огромной, в которой позировали и рисовали, всегда был сервирован чай, бутерброды, фрукты, и всякий желавший, сам себе (без слуг) брал, что хотел. Позировали нам очень интересные в смысле портретных задач, нередко красивейшие женщины высшего аристократического Московского и Петербургского общества, иногда в исторических, древне-русских костюмах, — большей частью это были родственницы хозяйки или близко знакомые домами. Трудно было бы найти подобную возможность порисовать интересную натуру, без обычных в таких случаях сложностей и хлопот для художника, так что можно было мириться и с некоторыми неудобствами. Приходили дамы, приятельницы хозяйки дома, с дочерьми — будущими губернаторшами, и с юнцами, разными Ники, Коки и Мики, будущими министрами и губернаторами, все — знакомые нам по Толстовским описаниям из «Детства», из «Войны и Мира», всё «графá и князя́», как бывало, говорила наша няня. Не рисовавшие приходили «поболтать», посмотреть «как художники рисуют» и — кого. Нагибаясь над рисовавшими и глядя через свои лорнеты, дамы ахали и восклицали: «Как мило...», «Ах, как интересно...», «Ну, как сон... и как похоже уже́» и т. д. Какая вышла бы глава у писателя об этих вечерах!

Интерес к этим рисовальным вечерам постепенно достиг «самых высших сфер». Как-то раз случайно, оторвавшись на мгновение от рисунка, я инстинктивно обернулся в сторону и вдали, через анфиладу комнат, в столовой увидал всем знакому высокую, худую, в генеральском сюртуке, фигуру великого князя Сергея Александровича, Московского генерал-губернатора, беседующего с хозяйкой дома. Между прочим, Влад. Мих. (? — забыл имя и отчество его) Голицын — рюрикович — очень свободно держал себя с ним, не лебезя перед ним, может быть и подчеркивая свою независимость, и

не провожал его, когда Сергей Александрович ушел в другую комнату.

Я продолжал свою работу. Через несколько минут я услыхал приближавшиеся звуки шпор и властные шаги, которые умолкли позади меня. Я продолжал, не встав, работать, как будто не зная, кто стоит за моей спиной. Я помню, кого мы рисовали, т. е. кто нам позировал. Это была одна из самых интересных женщин этого аристократического круга, просто, изящно одетая, и только крупных жемчугов ожерелье служило ей украшением. Вся седая, что очень к ней шло, с молодым, здоровым и прекрасным цветом лица — она была настоящая маркиза восемнадцатого века, сошедшая со старинного портрета. В «высших» сферах ее называли «Сиянием» (как нам потом передавала хозяйка дома), — до того она была очаровательна. Это была княгиня Юсупова, графиня Сумарокова-Эльстон. Сын ее Феликс через много много лет прославился на весь мир.

Стоявший за моей спиной генерал долго от меня не отходил, что становилось жутко. Видимо, он сверял, в смысле сходства, мой рисунок-портрет с сидевшей для нас «натурой».

На ближайшей периодической выставке Московского Общества Любителей Художеств этот рисунок-портрет Юсуповой был куплен Великим Князем Сергеем Александровичем (стало быть, «сверил»!); также им приобретен был набросок-портрет дочери княгини Голицыной, исполненный мною с натуры на одном из этих вечеров. Придя домой с вечера, на котором присутствовал Сергей Александрович (я воспользовался этим посещением и хорошо понаблюдал его фигуру), я дома, не без подчеркнутости, по памяти нарисовал его, с его характерной осанкой («словно аршин проглотил»), стоя. Рисунок очень удался, ходил из рук в руки, и под конец, увы — пропал или, лучше сказать, «попал» в чьи-то руки... Сергей Александрович, между прочим, был Попечителем Училища Живописи, в котором Серов и я преподавали.

Но вернемся к вечеру у Голицыных. Как я уже сказал, я продолжал рисовать, не оборачиваясь, в то время, как за моей спиной Сергей Александрович сравнивал мою работу с моей моделью. И только, когда кончился сеанс, мы поздоровались.

В этот вечер еще был «атракцион»: во время перерыва приехали — сестра хозяйки дома, госпожа Булыгина жена

премьер-министра, и известный поэт Константин Константинович Романов. По сравнению с Сергеем Александровичем, властным и на вид, и по манерам, — этот был застенчив, жался у стены, как то стесняясь, и держался весьма просто.

По просьбе хозяйки дома, Булыгина очень музыкально спела несколько романсов, под аккомпанимент великого князя Константина Константиновича.

После паузы мы, «рядовые» работники — Серов и я, — и еще два-три любителя — продолжали свою работу.

По составу участников этот вечер можно было назвать историческим. Когда мы оба вышли на улицу, Серов, с его обычным едким юмором, обратился ко мне: «Ну и вечер-же!.. Прямо пять рублей за вход можно бы было дать!..»

Леонид Пастернак.

«РУССКОЕ БОГАТСТВО» И «МИР БОЖИЙ»

Мне трудно было поступить на Бестужевские курсы: и года не выходили, и золотой медали не было. Но получив рекомендацию к знаменитому географу сенатору П. П. Семенову-Тянь-Шаньскому, я пошла к нему в его особняк на Васильевском Острове, где у него помещалась его известная картинная галлерея фламандских мастеров.

В большой комнате с пылающим камином, в голубом кресле, с укутанными пледом ногами, я увидела совсем белого старика с бакенбардами. Он принял меня очень ласково, по-отечески, сказал, что я буду принята на Бестужевские курсы; много говорил со мною, приглашал посмотреть его картинную галлерею и на прощанье просил меня дать ему слово никогда не вмешиваться в политику и заниматься на курсах только наукою.

Я вышла от Петра Петровича смущенная. Мне тяжело было думать, что, может быть, мне придется нарушить доверие этого благожелательного, очаровательного старика. Время было предреволюционное. Россия волновалась; шла неудачная русско-японская война, — общественное мнение негодовало на концессионеров на р. Ялу. Шли Мукденские бои, за ними падение Порт-Артура. Леонид Андреев написал свой нашумевший рассказ о войне — «Красный Смех». А в Петербурге шли банкеты за банкетами, говорились на них горячие противоправительственные речи, создавались союзы интеллигентных профессий, не говоря уже о подпольной деятельности чисто революционных организаций. И молодежь, конечно, не могла оставаться равнодушной, в стороне от этой кипящей вокруг политики. Так или иначе, казалось, что надо было на нее реагировать и становиться в чьи-то ряды. Но я не обманула доверия доброго сенатора, поступив на курсы, а также в Петербургскую консерваторию. Главное, мои родители переехали в Петербург, я поселилась с ними, у нас стали бывать все выдающиеся писатели того времени, т. к. мой отец — С. Елпатьевский был близок к редакции «Русского Богатства», жур-

нала, входившего тогда в славу, а моя мать была подругой Александры Аркадьевны Давыдовой, издательницы другого популярного журнала «Мир Божий» и, приезжая в Петербург, жила в большой квартире Александры Аркадьевны на Лиговке против Греческой церкви и коричневого особнячка, где жил тогда Вл. Гал. Короленко.

Я бывала в обеих редакциях: на журфиксах «Русского Богатства» и более интимно в «Мире Божьем», хотя народническое направление «Русского Богатства» мне было ближе и милее марксистского, т. к. я часто жила среди русского крестьянства, любила его и горячо сочувствовала его нуждам.

С одной стороны будущие народные социалисты: — Н. К. Михайловский, В. Г. Короленко, Н. Ф. Анненский, В. А. Мякотин, А. В. Пешехонов, с другой — М. И. Туган-Барановский, П. Б. Струве, С. Н. Булгаков и Богданович — ярые социал-демократы. Эти идеологические враги, дружно нападали на правительство, что не мешало им так же яростно нападать в своих журналах друг на друга.

Покойный муж Александры Аркадьевны, К. Ю. Давыдов, композитор, избранный после смерти Антона Рубинштейна директором Петербургской Консерватории, был неповторяемым виолончелистом, на его концертах, потрясенная его гениальной игрой публика плакала. Его знаменитая виолончель Страдивариуса была уже разбита, а вторую — тоже с трещиной, дочь Давыдова, Лидия Карловна по мужу Туган-Барановская, увезла в Париж и продала там за крупную сумму в 70.000 рублей, кажется, Парижской Опере. В их гостиной, где Ал. Ар. устраивала концерты, а ее дочь, милейшая Лидия Карловна собирала вокруг себя нас — молодежь, висел во весь рост портрет Давыдова и ее самой, замечательной красавицы, прозванной «сладчайшей» Гончаровым.

Ее любимая дочь, Лидия Карловна, получившая прекрасное образование, редкая по уму и обаятельности женщина, была вдохновительницей редакции «Мира Божьего» и зачастую исправляла политико-экономические статьи своего мужа. Она скоро умерла от белокровия, так же скоро умерла ее мать, не могшая перенести потери своей дочери. После ее смерти «Мир Божий» перешел в руки ее приемной дочери Муси и ее мужа Александра Ивановича Куприна.

Это было время расцвета модного тогда марксизма. Мих. Ив. Туган-Барановский, Сергей Ник. Булгаков, написавший в Париже уже замечательные статьи по богословию, Петр Берн-

гардович Струве и Богданович стали во главе русского марксизма, а также журнала «Мир Божий».

«Русское Богатство» и «Мир Божий» — две редакции, два враждебных лагеря, оба левых убеждений, друзья — враги, так сказать...

Редакция «Русского Богатства» по умственным силам была сильнее «Мира Божьего», но «Мир Божий» был более отзывчив к текущей жизни, благодаря влиянию матери и дочери Давыдовых, несмотря на сухую непреклонность марксизма. «Мир Божий» считался со вкусами широкой публики, желавшей читать модных тогда беллетристов и особенно в этом помогал Ал. Ив. Куприн.

«Русское Богатство» не гонялось за модными писателями, часто говаривало: «У последних такие денежные аппетиты, что удовлетворить их «Русскому Богатству» не под силу».

Но, конечно, не это одно... Редакция его: Ник. Конст. Михайловский, С. Южаков, Вл. Короленко, Н. Ф. Анненский, были продолжателями идей народовольческой партии — мысль которой была всецело поглощена вопросами политики, которая могла бы изменить тяжелое положение дорогого «Русскому Богатству» крестьянства.

Вспомним знаменитое письмо Ник. Конст. Михайловского, написанное им императору Александру III-ему от имени «Народной Воли», вскоре после трагического 1-го марта, письмо, облетевшее нелегально всю Россию!

Михайловский был непререкаемым главой редакции, перед умом и авторитетом его преклонялись. Его статьи о Достоевском («Жестокий Талант»), «Герои и толпа» знала вся интеллектуальная Россия. Кто-то сказал о нем: «Если бы он писал заграницей, он открыл бы новую эпоху в социологии».

Только что окончился процесс 193-х, и отец моего мужа бар. А. К. Врангель рассказывал мне, как он шел, кажется, по Знаменской улице, и, как его обогнала ужасная процессия: посреди взвода солдат тихо ехала простая телега и в ней сидели со скрученными руками Желябов, Перовская и Рысаков, ехали на казнь. За телегой бежали уличные мальчишки. Прохожие останавливались в подавленном молчании. Желябов начал было что-то говорить, обращаясь к остановившимся прохожим, но тотчас же забил барабан и не слышно было его слов.

Трагические дни 1-го марта имели губительное политическое влияние: страна замерла в глубоком оцепенении последующего царствования.

Личная жизнь Михайловского сложилась неудачно, жена его покинула, а его увлечения красавицей Александрой Аркадьевной и другими выдающимися петербургскими женщинами не играли роли в направлении его жизни и деятельности. Но у Николая Константиновича были уголки души, куда он допускал единичных друзей, как писателя Мамина-Сибиряка и литературного критика Горнфельда.

«Стою я у конторки и пишу, — рассказывает Н. К., — слышу звонок... и вижу вдоль стены, как бы ощупью, приближается ко мне маленькая горбатая фигурка». Это и был Горнфельд, которому так покровительствовал Михайловский за его широкие знания, хороший литературный вкус и дарования.

Когда умерла от родов красавица жена Мамина-Сибиряка, оставив ему дочку Аленушку, которую он так любил и для которой написал свои прелестные «Аленушкины сказки», то Мамин-Сибиряк приходил к Михайловскому, садился на диван и долго горько плакал.

Тогдашний Петербург был шумный и людный. Интересными вечерами были день рождения и именины Н. К. Михайловского — 14 ноября и 6 декабря. Хозяйки не было, хозяйничали два сына Михайловского и мы — гости. В самое людное время иногда начинался бой между Мякотиным и Милюковым, представителями двух разных течений общественной мысли. Тогда замолкали гитары и балалайки в дальних комнатах сыновей Михайловского, и молодежь, а среди них и Качалов, уже наметивший свой актерский путь, тесным кольцом окружали спорящих. Подходил Михайловский и, не вмешиваясь в споры, подавал свои реплики, выпрямлявшие спор.

Михайловский слишком много работал за последний год: у него начались головокружения и обмороки, два раза он падал на улице без сознания. Мой отец видел его почти ежедневно, собрал консилиум и его решили увезти из Петербурга в Ялту. Николай Константинович был в Ялте не петербургский Михайловский, строгий, застегнутый, настороженный, готовящийся отразить возможный удар, — в Ялте, по словам моего отца «он был доверчивый, мягкий, деликатный, отдыхающий глубоко от необходимости отражать и наносить удары. Быстро пошло улучшение, прекратились головокружения, и я помню его радость, когда через месяц отдыха, он совершал прогулки со мною в Олеиз, за 12 верст от Ялты. В Олеизе мы ходили к Марье Ивановне Водовозовой, марксистке, владелице Олеиза, как к другу-врачу. Тогда же приехал навестить Михайловского

Мамин-Сибиряк. Он не любил Ялту: ему было тесно в ней, не было дремучих уральских лесов, где люди жили как отшельники, отыскивая платину, где «старатели», страстные любители своего промысла, знали все горные ручейки Урала, на дне которых они находили изумруды, александриты, яхонты, аквамарины и другие драгоценные камни; где жили промышленники в дворцах, где прокучивались «Приваловские миллионы», где родилась на широкой, солнечной улице Екатеринбурга его любимая, покойная жена, сестра второй жены Куприна.

Не нравился ему юг с кипарисами-«метлами», как он говорил и иногда он вынимал из своего кармана мешочек с редкой коллекцией уральских камней и рассказывал о них причудливые истории.

Мамин-Сибиряк много писал в «Русском Богатстве».

Большим влиянием в «Русском Богатстве» пользовался Ник. Фед. Анненский, брат известного поэта Иннокентия Анненского. Одаренный блестящим умом, энергичный, веселый, человек дела, он был признанный глава русской статистики и писал свои месячные обозрения совместно со своим другом Влад. Короленко, под псевдонимом «Оба».

Он не был литератором, но его знания экономического состояния страны, его русская беспредметная талантливость завоевали любовь и влияние в редакции.

Впрочем, был у Н. Ф. Анненского и свой собственный талант, могучий талант народного трибуна. Такого оратора я уже больше никогда не слышала, хотя я много раз видела и слушала Жореса, живя в юности в Париже, и была в восторге от его львиной фигуры на сцене, где он метался, как лев в клетке, апеллируя к восторженным слушателям.

Анненский был высок, грузен, его некрасивое, но хорошее лицо с серыми, часто веселыми глазами, которым нельзя было не верить быстро завоевывало слушателей. Одна рука его закинута за спину, а другая направлена на толпу, как бы указывая ей путь, по которому надо было идти. Своим блестящим умом и уничтожающим сарказмом, он быстро топил своих противников и такие восторженные овации, как ему, вероятно, доставались только одним знаменитым певцам. Не даром Николай Федорович говорил шутя: «Эх, если бы у меня был какой-нибудь талант, хотя бы оперного певца...» Он часто напевал арии из опер, и однажды вечером, гостя на даче у Короленко в Финляндии, после ужина, напевая какую-то арию, он простился с

присутствующими и пошел спать... чтобы никогда больше не просыпаться от своего последнего сна.

У жизнерадостного, страстного Анненского была тихая семейная жизнь. Его жена, дальняя его родственница, Александра Никитична, урожд. Ткачева, несмотря на своего родственника революционера, была спокойная и положительная женщина и очень известная детская писательница. Ее «Зимними вечерами», «Маленьким Оборвышем», «Моими племянницами», зачитывалась вся детская Русь. Она не вмешивалась никогда в политику и интересовалась только педагогикой и здоровьем обожаемого мужа. Одна из ее племянниц вышла замуж за редактора журнала «Мир Божий» — Богдановича.

Впоследствии, редакция «Русского Богатства» пополнилась Мякотиным, Пешехоновым. Из беллетристов сотрудничали: Мамин-Сибиряк, Куприн, давший своего первоначального «Молоха», Горький своего «Челкаша», Вересаев, Гарин-Михайловский и, конечно, Короленко. Редакция «Русского Богатства» была в Басковом пер., недалеко от Литейного проспекта. Поднимаешься по узкой лестнице в прихожую, всю заставленную книгами и проходишь через контору редакции в соседнюю большую комнату, где около стола с самоваром по четвергам собирались люди, близкие к редакции.

Если у стола сидел Владимир Галактионович Короленко и рассказывал что-нибудь, устремив свои мечтательные глаза вдаль, откинув назад свою красивую голову, все умолкали, и очарованные, заслушивались его всегда прекрасным рассказом. Н. К. Михайловский обычно стоя и держа папироску в своих тонких руках, небольшой и сухощавый, аккуратно застегнутый, наклонив голову, слушал Короленко, и его обычно строгое лицо, смягчалось и даже улыбалось.

Приехав из Крыма с А. И. Куприным, моя мать познакомила его с обеими редакциями. Она старалась ввести Куприна в редакцию «Русского Богатства».Он дал свою первую повесть «Молох», но скоро почувствовал себя чужим в этой суровой обстановке и перестал бывать по четвергам, а наоборот стал близким человеком к «Миру Божьему», много там печатался и наконец женился на приемной дочери Давыдовой — Мусе.

Атмосфера редакции «Мира Божьего» была совсем иная. Мы, зеленая молодежь, чувствовали себя там как дома. Редакция занимала 2 комнаты, а мы большую гостиную. Руководительницей и там у нас была наша любимая Лидия Карловна

Туган-Барановская, покровительница наших юных душ, нашего юношеского веселья.

Иван Алексеевич Бунин, Александр Иванович Куприн, моя подруга Соня и ее жених, будущий знаменитый историк Мих. Ив. Ростовцев — все наши дорогие друзья незабвенных вечеров «Мира Божьего»!

Все они были далеки от марксизма и всё же сотрудничали, по дружбе, в журнале. Мой отец искренне любя Александру Аркадьевну и Лидию Карловну, держался поодаль от Туган-Барановского, как и вся редакция «Русского Богатства», и других «марксят», как мы называли многих сотрудников «Мира Божьего».

Сыновья Михайловского, Гайдебуров и другие услужливые молодые люди, доставляли нам билеты в театры. В то время в «Александринке» во «Власть Тьмы» и в «Иванове» царствовала умная актриса Савина и выступала Комиссаржевская, трогательная в «Бой бабочек», трагичная в «Бесприданнице» и, основав свой театр с новыми «веяниями», являлась в «Сестре Беатрисе» в серебряном одеянии, прекрасная, трепещущая и уже неземная.

Чудесные декораторы Головин и Шервашидзе подняли Мариинский театр на недосягаемую художественную высоту. Был расцвет русской литературы, музыки, художества и символизма. Леонид Андреев писал мрачные, символические пьесы «Царь Голод», «Анатэма», и у него на квартире я впервые увидела поэта Блока, только что входившего в моду. Он стоял прислонившись к стене, одинокий, с бледным, усталым и неприятно-равнодушным лицом и декламировал свою «Прекрасную Даму».

«И что тут такого значительного, чтобы писать об этом», — думала я, еще не искушенная жизнью.

Во множестве появлялись новые журналы: «Былое», «Старые годы», «Новый Журнал», с его проповедью любви «к дальнему», «Весы», «Сатирикон», «Золотое Руно» и множество других.

Редакции «Русского Богатства» и «Мира Божьего» стояли в стороне от новых литературных течений и символизма и, если реагировали на них, то не всегда дружелюбно. «Русское Богатство» читалось с особенным чувством: эти читатели становились преданными друзьями и почитателями его идеологии. Редакция «Русского Богатства» в своем большинстве не примкнула к наследникам народовольцев — социалистам-революцио-

нерам, а создала свою новую партию «Народных социалистов», без демагогических лозунгов, без террористических выступлений.

Эта партия умеренных социалистов, интеллигентская по существу, не могла иметь тогда широкого успеха среди народных масс, шедших за громкими лозунгами, и была, как мы шутили, «армией генералов без солдат».

Одна из первых встреч моего отца с Владимиром Галактионовичем Короленко была в Красноярске, когда неожиданно к нему явился Владимир Галактионович, возвращавшийся из Якутской ссылки.

Красивый, с пышными каштановыми волосами, с блестящими глазами, он был, по словам отца, оживлен и весел. «Таким сияющим, озаренным радостью, я его уже не видал», — говорил отец. Кончились его бесконечные скитания по тюрьмам и глухим ссылкам, он возвращался в Россию; его ждала там семья, ждала невеста... Он много рассказывал отцу о своей жизни в Якутской области, о том, что у него накопился большой литературный материал, что он везет уже готовый для печати рассказ. Это был его известный «Сон Макара».

В продолжении всей жизни, мой отец был близок с Короленко и когда у нас в доме в Нижнем Новгороде ставили спектакль «Горе от ума», Влад. Галактионович Короленко и Н. Ф. Анненский своими остроумными репликами поощряли нашу детскую игру и горячо нам аплодировали. Иногда Владимир Галактионович брал мои классные сочинения и поправлял их. Чацкого играл мой брат гимназист, а Софью моя подруга, тоже гимназистка, будущая жена историка-академика Ростовцева.

Владимир Галактионович Короленко был студентом в Москве и Петербурге во время подъема революционного движения 70-х годов и не сделался человеком партии. Питая отвращение к насилию, лжи, неправде, позе — он сделался беспартийным революционером. А тогдашняя русская жизнь повелительно звала к себе и не позволяла Короленко жить спокойно обывательской жизнью, отрывая его от художественной работы; но нигде он не был так счастлив, как за своим письменным столом. Еще юношей он печатал свои первые беллетристические рассказы в журнале «Слово».

Но он был русский, а жизнь в России звала его на борьбу с неправдой, он чутко слышал ее и она увела его от чистого художества. Свою литературу, свои сочинения он сделал орудием борьбы со злом русской жизни и это мешало ему творить во всю ширь его художественного таланта. Вероятно, он оставил бы после себя гораздо больше произведений, если бы родился в Англии, Франции, Германии. К нему, этому исключительно чистому, ясному и светлому человеку, приходили люди со своими обидами и горестями, приезжали люди из глухих уездов, как напр. Павловские кустари, не говоря уже о молодых писателях. И дело Бейлиса, на которое Короленко приехал из Полтавы и уже больной жил в одной гостинице с моим отцом в Киеве, волновало его и когда оно кончилось оправданием, он крепко обнялся с отцом и слезы стояли в глазах Короленко. Отец нашел у него миокардит, склероз и глубокое расстройство нервов. Художник во всем... Он прекрасно рисовал и подарил мне свою марину, написанную карандашем, с надписью: «Белеет парус одинокий».

Л. Врангель

ВОСПОМИНАНИЯ В. Л. БУРЦЕВА

АРЕСТ ПРИ ЦАРЕ И АРЕСТ ПРИ ЛЕНИНЕ*

Возвращение в Россию в 1914 году

Я всегда был в оппозиции к русскому правительству, в особенности во время последнего царствования. Мой призыв к нему отказаться от политики реакции и приступить к необходимым реформам, не был услышан. Дошло даже до того, что, настаивая на настоятельной необходимости даровать политическую свободу, я угрожал правительству усилением террористических действий. В моих мыслях всегда стояли жизненные интересы России и я боролся с правительством ради свободной России. Мои публикации поддерживали не

---

* Эти главы из воспоминаний В. Л. Бурцева присланы нам Г. П. Беннигсеном. Поскольку мы можем установить они никогда напечатаны не были. РЕД.

Настоящая глава из Воспоминаний В. Л. Бурцева является переводом с перевода. В качестве его секретаря в Англии, я исполнял для В. Л. в течение нескольких лет изыскания в библиотеках Англии и переводы его статей с русского. Всю исполненную работу я немедленно отсылал ему вместе с русским оригиналом. В случае двух, написанных им глав его воспоминаний я поступил таким же образом, но сохранил в своем архиве копии английских переводов. Почему я так поступил, я сейчас уже не помню; полагаю для того, чтобы в случае присылки дальнейших глав Воспоминаний, легче было бы работать. Я старался выяснить, напечатал ли где-либо эти две статьи по-русски Владимир Львович, но мне это не удалось. Поэтому я предлагаю здесь обратный перевод с английского на русский этих двух глав, подлинность которых не только удостоверяю, но которые и по своему содержанию и по своему стилю явно указывают на авторство В. Л. **Г. Беннигсен.**

только партию **кадетов,** но и революционную деятельность партии социалистов-революционеров. Я поддерживал рабочее движение и забастовки, которыми рабочие старались добиться политической свободы.

Но немедленно после того, как России была объявлена война, не дожидаясь даже увидеть, каково будет отношение правительства к прогрессивному движению, я самым решительным образом повернул свое направление на патриотическую позицию. Настаивая по-прежнему, на необходимости дарования бо́льших прав и демократической свободы, я стал указывать правительству как настоятельно такие уступки были необходимы для успешного ведения войны. С другой стороны я стал призывать все революционные партии всячески и чистосердечно поддержать правительство России, если последнее будет честно защищать страну.

Я пошел с одной из моих статей к редактору газеты «Социальная Война» Эрве. Не так давно он проповедывал гражданскую войну, но в виду опасности грозившей Франции, его отношение к правительству резко изменилось — он стал призывать все партии поддерживать его и бороться с врагом до победного конца.

В приемной я увидел писателя-социалиста, которого я знал, военного и священника. Один за другим они входили в кабинет Эрве и, провожая их, он горячо их обнимал. Было очевидно, что они будут работать в полном согласии. Эрве был мой старый друг. Он одобрил мою статью и напечатал ее в следующем же номере. Французская и иностранная пресса дали о ней отзывы и ее содержание было протелеграфировано в Россию. Даже «Новое Время», обычно враждебное мне, напечатало мою статью.

Когда я сказал Эрве, что я еду в Россию, он отнесся к этому с большим сочувствием, но когда я упомянул, что у меня весьма слабая надежда на то, что русское правительство правильно поймет мой поступок, и что я вероятно буду сразу же арестован, он горячо стал спорить со мной. Он заявил, что было бы сплошным безумием арестовать меня при нынешних обстоятельствах вместо того, чтобы поверить мне и разрешить мне продолжать мою литературную деятельность. Он даже отказался меня слушать, настолько он был уверен, что русское правительство уступит общественному мнению, созовет представителей всех партий, добьется поддержки Государ-

ственной Думы, дарует равенство гражданских прав всем национальным меньшинствам и либеральную автономию Польше. Эту свою уверенность он выразил в таких статьях как «Браво, Государь», «Да здравствует, Государь», которые произвели тогда большую сенсацию.

Далеко не разделяя оптимизма Эрве, я все же думал, что кое-какие уступки будут сделаны, и не хотел верить, что наше правительство будет продолжать свою самоубийственную политику в военное время. При моем отъезде из Франции Эрве дал мне письмо, которое оказалось очень полезным в моем путешествии.

В своем большинстве русские не одобряли моих статей. Меня упрекали в перемене направления, обвиняли меня в том, что я не делаю различия между русским правительством и русским народом, и в том, что я поддерживаю первое против последнего. Мне приводили факты, доказывавшие, что правительство продолжает настаивать на своей реакционной политике, умалчивая о настоятельности реформ, и мне указывали, что это может означать желание сохранить свободу действия для возобновления в будущем новых репрессий.

Не только, говорили мне, у правительства нет никакого сочувствия к освободительному движению, но оно всячески тормозит его. Приводили, как пример, декларацию вел. князя Николая Николаевича к полякам, которой в Петербурге было быстро дано разъяснение, лишившее ее всякого значения. Веские заявления о национальных меньшинствах, делавшиеся не только весьма умеренными политическими деятелями, но даже такими реакционерами, как Пуришкевич, потеряли всякое значение, когда выяснилось отрицательное отношение правительства.

Со стороны нашего правительства не было ни одного призыва к «священному» объединению всех политических партий, какое было опубликовано правительствами всех наших союзников, и даже германским правительством. Напротив, можно было заметить тревожные признаки упорства правительства, и его намерение использовать войну для того, чтобы укрепить свое положение. Даже опасность войны, предстоявшая стране, оставляла правительство неподвижным и столь же слепым, глухим и неспособным, как всегда!

Я не отрицал всего этого, и продолжал обличать реакционеров, однако я настаивал на нашем долге помогать всеми силами правительству в военное время, чтобы не заслужить

упрека в том, что мы увеличили его затруднения в то время, когда страна была в опасности. Я надеялся, что наше лояльное поведение завоюет нам поддержку русского общественного мнения, что заставит правительство считаться с этим во время и после войны. Реакция, после успешной войны, казалась мне невозможностью. Я считал, что революционная вспышка будет величайшим несчастьем для России и союзников, и счастьем для немцев. Я считал, что во время опасности для страны, все партийные соображения должны быть подчинены защите страны, даже если политика правительства становилась бы еще более реакционной, и оно ставило бы интересы монархии выше интересов нации. Я делал исключение только в одном случае — если подписанием сепаратного мира, правительство изменило бы стране. В таком случае патриотически настроенные русские люди имели бы право бороться против правительства вплоть до террористических действий. Но в данное время я не мог допустить такой измены, а потому решил вполне искренне связать свою судьбу с правительством.

В эти дни русские во Франции пользовались огромной популярностью. За наступлением наших войск в Германии следили с напряжением. От России ждали очень много! На мою маленькую квартирку, на Рю де ля Гласиер, постоянно приходили французы всех классов, прося меня протелеграфировать в Россию просьбу ускорить наше наступление. Дама, работавшая в ближайшем почтовом отделении, знавшая меня только с виду, пришла ко мне со слезами на глазах, прося меня телеграфировать в Петербург, чтобы русские войска поторопились занять Берлин. Ее сын был призван и уходил на фронт, и если бы только мы могли взять Берлин во́-время, ему не пришлось бы воевать!

Было довольно невероятно, чтобы наше правительство могло понять мотивы моего возвращения, однако я тешил себя надеждой, что амнистия, под которую попаду и я, будет объявлена. Мне было предложено писать в русских газетах. Во время моего обратного путешествия в Россию, заграничные газеты печатали мои статьи, и содержание их всегда телеграфировалось в Россию, и я мог легко начать кампанию для поддержки войны, объединив в одну группу всех патриотически настроенных левых в России и заграницей. Многие политические эмигранты, во главе с Кропоткиным и Плехановым, разделяли мои взгляды.

За несколько дней до моего отъезда я был свидетелем похорон Жореса. Представители всех французских партий объединились в обще-национальной демонстрации. Социалисты и «буржуа», католики и неверующие шли бок о бок. Немецкие летчики начали уже забрасывать Париж бомбами и, хотя и сообщалось о многих жертвах, но не было никакой паники. Немецкие армии шли на Париж: Марнская битва началась! Нам было объявлено, что последний поезд уходит из Парижа. Без всякого багажа, с 42 франками в кармане и письмом Эрве вместо паспорта я поехал в Англию через Диепп.

В Англии, как и во Франции, Россия пользовалась большой популярностью. Народ понимал, что война может быть выиграна, если Россия, неразделенная Россия, страна 180 миллионов населения будет едина с союзниками. Через некоторое время официальное соглашение признало права России на Ближнем и Дальнем Востоке, и, в особенности, права на проливы.

Меня просили зайти в редакцию газеты «Таймс». Мое возвращение в Россию было одобрено, и, в разговоре с редактором, я говорил о важности для республиканских партий поддержать правительство, что наложило бы на него обязанность сделать уступки после войны. Редактор вполне со мной согласился, и после свидания с ним, я написал открытое письмо в «Таймс», которое было напечатано и обсуждалось в прессе. Я также напечатал статьи в других английских газетах и был интервьюирован их корреспондентами.

Кропоткин жил в Брайтоне и, когда я навестил его, я был счастлив узнать, что как и Плеханов, он был определенно на стороне союзников и противником немцев. Слушая вдохновенную речь Кропоткина, я думал насколько бы он мог быть полезен в России, как он мог бы пробудить энтузиазм в сердцах русских людей! Более разумное правительство приложило бы все усилия для того, чтобы получить поддержку такого человека, как Кропоткин. Три года спустя, когда армия была деморализована, а большевизм был накануне своего торжества, и Россия на краю пропасти, я слушал великую публичную речь Кропоткина в Москве и воспоминание о нашей Брайтонской встрече вернулось ко мне. Если эти речи, произнесенные в Москве, были бы произнесены ранее, в 1914-1916 годах, какое бы влияние они могли тогда иметь!

Кропоткин внимательно расспросил меня о моем решении ехать в Россию и сказал, что, по его мнению, правительство не поймет моих побуждений, и воспользуется случаем отомстить мне за мою прежнюю деятельность. Но, видя мое твердое решение, он горячо поздравил меня и говорил о своем страстном желании вернуться в Россию.

Другие члены русской колонии в Лондоне, напротив, старались отговорить меня от моего намерения, не только потому, что считали его опасным для меня, но и потому, что считали мою поддержку правительства неправильной, после того, что я так долго боролся против него. Они не могли постигнуть, что немцы воюют не с царским правительством, а с русским народом и, что это была война всей мировой демократии против германского империализма, что победа Германии вызовет реакцию не в одной только России, но и во всей Европе. Лондонская колония простилась со мной как с обреченным человеком. Из полученных в Лондоне русских газет, я видел, что правительство было хорошо осведомлено о причинах моего возвращения по моим статьям в заграничных газетах.

Я поехал в Христианию через Ньюкастль и Берген, где я не только встретил пресловутого бывшего монаха Илиодора, но также прочел выдержки из его книги «Святой Чорт» о Распутине. Здесь, как и в Стокгольме, я продолжал мою антинемецкую пропаганду и опубликовал открытое письмо Кропоткина к профессору Стивенсу. Оно произвело сильное впечатление и даже немецкие газеты перепечатали его. Позже я напечатал его в русской прессе, после моего возвращения из Сибири. Многие русские эмигранты считали мое возвращение безумием и советовали оставаться заграницею и там продолжать мою работу. Шведский социалистический лидер Брантинг хотя и понимал мои побуждения, считал мою поездку патриотическим, но бесполезным жестом. Среди немногих русских, которые одобряли мое возвращение, был профессор Гредескул, человек, который позднее играл такую презренную роль в большевистской России. В то время он был пламенный патриот и требовал войны до конца.

Я написал открытое письмо на случай моего ареста, изложив в нем побуждения, заставившие меня вернуться, равно как и мои взгляды на войну и на условия, необходимые для обеспечения успеха. Это письмо заканчивалось протестом против моего ареста. Я разослал его различным русским и ино-

странным газетам и друзьям в Париже и Лондоне, сохранив один экземпляр в своем кармане на тот случай, что я действительно буду арестован. Ни прямо, ни через других я не обращался к русским властям с просьбой о разрешении вернуться в Россию. Я не справлялся в департаменте полиции, ни в каком-либо ином департаменте, как со мной поступят по моем возвращении. Я ехал, как свободный гражданин, и дал правительству достаточно времени, чтобы обдумать мою судьбу.

Мое пребывание в Стокгольме длилось десять дней, во время которых я напечатал несколько статей в шведских газетах и дал интервью, которые были воспроизведены в русской прессе.

Пароход вышел из Страндвагена около 3 часов дня 14-го сентября. Несколько друзей пришли проводить меня и уговаривали меня остаться. Это был мой последний шанс, так как пароход шел прямо на Финляндию, но я отказался в шутливом тоне.

Пассажиры были в большинстве русские, некоторые из них рассказали интересные истории. Мы обсуждали великие события, свидетелями которых мы были, и те, которые должны были еще наступить. Мои спутники, бежавшие из Германии, описывали свои невзгоды в этой стране. Некоторые пассажиры нервничали, опасаясь немецких подводных лодок. Время от времени давались ложные тревоги, увеличивавшие их беспокойство.

Я возвращался на родину по своей доброй воле, при весьма необычных обстоятельствах, после семилетнего отсутствия, после бурной жизни политического эмигранта заграницею, постоянно преследуемого русской тайной полицией.

На другое утро мы причалили в Финляндии. Мне было приятно видеть русские лица, слышать русскую команду на пристани, русские разговоры, русские объявления и русские мундиры. В нескольких саженях оттуда находился сарай с низкими столами, куда пассажиры сходили один за другим по мостику — таможня. Я поставил мой чемодан и раскрыл его перед финским таможенным чиновником, который почти не глядя на него пометил его мелом.

Когда я его закрывал, я услышал возле меня: «Будьте любезны последовать за мной» и, обернувшись, увидел жандармского офицера в сопровождении двух полицейских. В ка-

ких-нибудь двадцати саженях было здание с временным полицейским участком. Офицер прошел вперед, за ним я с моим чемоданом, а за мной полицейские. Проходя мимо пассажиров, встреченных мною на пароходе, я избегал глядеть на них, чтобы не навлечь на них подозрения. Они поняли, что я арестован. Мы шли в молчании. Когда мы пришли, один из полицейских взял мой чемодан. Офицер резко скомандовал: «Обыскать его!»

Один из полицейских схватил мою правую руку, другой левую, и еще двое начали меня обыскивать. Их руки скользили по моему телу как змеи, ощупывая его со всех сторон... Я стиснул зубы и стоял не шелохнувшись. Такова была моя встреча на родине! В течение моих семи лет заграницей я отвык от такого обращения. Полицейские искали не спрятал ли я чего в карманах или не зашил ли чего под подкладкой. Один из них спросил меня: «Есть у вас револьвер?» Не отвечая ему, я повернулся к офицеру и сказал:

«Я не ребенок! Я знал куда я еду, и знал, что в России есть жандармское управление. Я знал, что вы меня арестуете и обыщете, и написал об этом по пути в газеты. Неужели вы думаете, что я сохранил что-нибудь интересующее вас?»

Мои слова повидимому озадачили офицера. Он подумал несколько минут, затем резко приказал полицейским поторопиться с обыском. Они поняли и прекратили обыск почти сразу.

Офицер спросил меня о содержимом моего чемодана.

«Во первых, вот декларация посланная мною в газеты на случай моего ареста. Затем экземпляры французских, английских, шведских и норвежских газет с моими статьями о моем возвращении в Россию. Это всё, что могло бы интересовать вас. Когда я покидал Стокгольм, я тщательно обыскал свой чемодан и карманы и уничтожил все, что я не желал, чтобы попало в ваши руки. Я повторил то же самое на пароходе, можете мне поверить!»

Обыск был кончен, мне поставили еще несколько вопросов, составили полицейский протокол, и мне было официально объявлено о моем аресте. Мне было сказано, что в тот же вечер меня отправят в Петроград. Я снова протестовал против безумия моего ареста, как только я переехал границу, возвращаясь по собственному желанию в Россию, и просил офицера протелеграфировать его начальству мою просьбу разрешить мне ехать одному, за свой счет в Петроград, где меня и могут арестовать. В этом смысле телеграмма была отправ-

лена офицером, но в ответ пришел приказ отправить меня под усиленной охраной.

Во время моего ожидания в участке, офицер несколько раз заходил поговорить со мной.

«Скажите, спросил он, **почему** вы приехали в Россию? Вы знали о вашем неизбежном аресте?» Он подчеркнул слово «почему», и в его голосе я не чувствовал никакой враждебности, только любопытство и изумление, и мне даже показалось, что он симпатизирует мне и одобряет мой поступок. Он спросил меня не имел ли я поддержки одного из великих князей, не имею ли я поручения от одной из Союзных Держав, и так далее. Это меня очень позабавило и я ответил, что я не имею никакой поддержки ни от великих князей, ни от Союзных Держав, что я не принадлежу ни к какой партии, что я русский, свободный журналист, враг существующего режима и приехал в Россию по моему собственному почину, против совета моих друзей. К концу нашего разговора я начал понимать психологию этого полицейского офицера, фамилия коего была Хейнце, насколько мне помнится. В течение нескольких лет он служил жандармским офицером в Вержболове на русско-германской границе, и каждый раз что русская тайная агентура в Париже теряла мой след и Департамент Полиции предполагал, что я тайно уехал, чтобы пробраться в Россию, этот офицер получал строжайшие телеграфные предписания о моем аресте. В те времена в полицейских кругах меня считали обеспеченным каторжником, и часто повторяли циническую фразу члена Думы Пуришкевича, что «где бы Бурцева ни поймали, его следует повесить!» Многие не могли произнести моего имени без бранного слова, и один из таких чиновников, старавшихся убедить свидетеля давать показание против меня, описывал меня как жестокого, кровожадного человека, и, исчерпав весь свой запас бранных выражений, закончил замечанием, что единственно, что говорит в мою пользу, было то, что «я не жид!»

Во время моего заключения и моей жизни в ссылке в Сибири я никогда не говорил, что мое отношение к государю и его правительству изменилось, и что я раскаиваюсь в своей прежней деятельности. И несмотря на это, отношение всех этих чиновников ко мне заметно изменилось. Мой патриотизм заслужил их уважение, и они не могли понять, как все эти Щегловитовы, Маклаковы и Джунковские продолжали вымещать на мне свою ненависть за мою прошлую деятельность.

По действовавшим в то время в Финляндии русским законам, я подлежал аресту только после уведомления полицией финляндского генерал-губернатора. Правительство, однако, опасаясь, что финляндское правительство сможет, если не освободить меня, то замедлить мой арест, решило, в моем случае нарушить закон, не уведомив о моем аресте финляндские власти. Бывший в то время генерал-губернатором генерал Зейн, узнав о моем аресте, по совещанию с вице-президентом финляндского сейма протелеграфировал министру внутренних дел в Петрограде, требуя отмены приказа о моем аресте. Ответа он не получил, а тем временем полиции было предписано ускорить мою отправку в Петроград.

В тот же вечер я был отправлен в отдельном железнодорожном купе из Рауме в Петроград в сопровождении офицера и четырех полицейских. Телеграфные извещения были разосланы вперед и, на каждой узловой станции, к нам входили местные полицейские власти, чтобы проверить не убежал ли я, а может быть и из любопытства.

В Белоострове, когда наш поезд начал двигаться, из коридора в купе вошел кондуктор и почтительно спросил офицера по-русски, но с финским акцентом, кто заплатит за наш проезд? Не глядя даже на него, офицер заметил одному из полицейских: «Пошли его к чорту», что было исполнено так быстро и энергично, что несчастный кондуктор вылетел пулей из купе и стукнулся об дверь коридора. Ошеломленный, он снова открыл дверь купе и, кланяясь, нервно повторил: «Благодарю, благодарю, благодарю».

Я знал, что в том же поезде едет мой спутник по пароходу В. А. Гуревич, который вез мое открытое письмо редакторам русских газет. Если не ошибаюсь, его содержание было напечатано в «Речи», а также тайно распространено из-под полы.

Весьма знаменательно, что как раз за несколько дней перед тем Стеклов-Нахамкес проехал через тот же Рауме и беспрепятственно приехал в Петроград. При начале войны он был арестован в Берлине, но немцы быстро распознали насколько он им будет полезен, и по их инструкциям он и поехал в Россию, где, прикрываясь пламенным патриотом, работал в различных комитетах по снабжению Армии.

По прибытии в Петроград, наш вагон был отведен на запасный путь, где целый отряд полицейских окружил его. Я

был посажен в большой грузовик вместе с тремя полицейскими, вооруженными шашками и револьверами и таким образом меня повезли в Петропавловскую Крепость. Вот как я триумфально возвращался на родину после долгого изгнания заграницей! Все это казалось мне глупым и вульгарным фарсом: в дни, когда страна была в опасности, правительство разыграло всю эту возню со мной, как будто вся безопасность России зависела от моего ареста.

В крепости меня опять обыскали, переодели в арестантскую одежду и заперли в одну из камер Трубецкого Бастиона, столь хорошо мне знакомого. Старшие чиновники Департамента Полиции ожидали меня и сразу же начали меня допрашивать. Документы, отобранные у меня в Рауме, мое открытое письмо и газеты были зарегистрированы. Я показал, что считаю мой арест большой ошибкой правительства, и что мое освобождение было бы необходимо, прежде, чем слух об аресте будет известен широким кругам. Объяснив причины моего возвращения я сказал, что мое освобождение нужно не ради моего благополучия, но для правительства и в интересах русской пропаганды заграницей. Если это не будет сделано, я буду открыто обличать правительство за мой арест в такое время. Допрашивавший меня чиновник, казалось, понял меня, но из его ответов я понял, что министр внутренних дел Маклаков и его товарищ Джунковский решительно были против моего освобождения. Оба они, и в особенности Джунковский, на которого я часто нападал в моей газете, намерены были свести со мной старые счеты.

По дальнейшим, дошедшим до меня частным сведениям, вопрос о моем освобождении обсуждался в Совете Министров. Министр иностранных дел Сазонов, поддержанный Кривошеиным, настаивали на моем немедленном освобождении, но реакционная группа оказалась сильней и я был оставлен в заключении.

Обстановка Трубецкого Бастиона мне живо напомнила время, когда я был заключен там впервые двадцать лет тому назад. Все было мне знакомо, камера с решетчатым окном, распорядок дня, прогулки во дворе, и растущие там деревья. Но много времени прошло с тех пор, и я успел побродить по всему свету.

Несколько месяцев спустя судебный следователь предупредил меня о моем предстоящем суде. Мне не предъявлялись обвинения ни в революционной деятельности, ни в моей при-

надлежности к какой либо нелегальной партии. Я привлекался только за некоторые выражения в моих заграничных статьях, в особенности за некоторые отзывы об особе государя. Таким образом я привлекался исключительно как журналист.

Однажды, когда меня уже перевели в тюрьму Предварительного Заключения, меня навестил А. Ф. Керенский, который должен был быть моим защитником на предстоящем суде.

Мы никогда не встречались раньше, но я знал его по его речам как адвоката и как члена Государственной Думы. После короткой частной беседы и объяснений, он огорошил меня вопросом, захватившим мое дыхание:

«**Почему** вы приехали в Россию?»

Я выпучил на него глаза. Я не ожидал такого вопроса от моего адвоката! Это был тот же вопрос и в тех же словах который я услышал от жандармского офицера в Рауме. Разница была в интонации. Там не было никакого упрека в голосе полицейского, тогда как Керенский говорил с явным неудовольствием. Он продолжал:

«Это была большая ошибка! Вы поставили нас в трудное положение. Мы не можем вас защищать даже когда на вас нападают. Мы всеми силами должны протестовать против этой войны, а вы ее защищаете, поддерживая правительство!»

Затем Керенский назвал имена некоторых писателей прогрессивного направления, которым я написал из Парижа, но которые не были склонны поддержать меня. Я понял, что Керенский выражает не только свое мнение, но мнение целой группы. В течение дальнейших свиданий его отношение к моим убеждениям было по прежнему враждебно, но мало по малу мои слова и моя вера начали оказывать на него и на некоторых других друзей некоторое воздействие. Это было видно потом по письмам, которые мой защитник показал мне. Лопатин писал дружески, но с упреком, говоря, что я сижу в яме, которую «сам себе выкопал», хотя и выражал симпатию, которую друзья чувствовали ко мне.

Слова Керенского открыли мне глаза. Они были для меня сильным ударом и, под каким-то предлогом, я отсрочил наше дальнейшее свидание. По возвращении в мою камеру, тот же мучительный вопрос встал предо мною: было ли мое возвращение ошибкой?

Мне было ясно, что я был прав, и я видел ошибку Керенского и его политических друзей, сохранивших во время

войны свое прежнее революционное настроение против правительства и ставивших партийные интересы выше блага нации, не думая как дорого России придется заплатить даже в случае «успешной революции». Мне было больно это сознавать и предвидеть как дорого страна заплатит за это. Но было также несомненно, что существует группа, готовая поддерживать правительство, на которую я смогу пожалуй опереться в моей работе. Хотя оба наши направления осуждали близорукую политику правительства против которого мы боролись в прошлом, мы теперь чувствовали себя чужими друг другу. Было странным парадоксом, что я, защитник войны до конца сидел в тюрьме.

После нескольких дней я отошел от горького разочарования, причиненного мне словами Керенского и продолжал заниматься в тюрьме мирным изучением русских классиков.

Другим моим адвокатом был известный Н. Д. Соколов, оказавший мне не мало услуг в тюрьме по сношениям с друзьями в городе, и сообщавший мне ценную политическую информацию. Но он был полным пораженцем. Он радостно говорил о распространении революционного движения в стране и особенно в Армии. Он не сочувствовал моей поддержке правительства, и мы часто вели горячие споры о нашем отношении к нему.

Мой суд приближался. Желая иметь одного защитника, разделявшего мои взгляды на войну, я обратился к члену Думы В. А. Маклакову (впоследствии послу в Париже) и, так как он был на фронте, мой суд был отсрочен на целый месяц. Когда он посетил меня в тюрьме, я встретил его словами: «Ну, Василий Алексеевич, я исполнил свое обещание вернуться в Россию». На что он тотчас же ответил: «А я исполнил свое, и приехал защищать вас!»

Несколько лет до того я написал в газете «Авенир», что я когда-нибудь вернусь в Россию, чтобы открыто обличать правительство, и что как в тюрьме, так и на суде повторю обвинения сделанные в газете. Маклаков, находившийся в это время в Париже, зашел ко мне, и как и все, старался отговорить меня от этой мысли, убеждая меня в бесполезности возвращения. В конце нашего разговора я спросил его согласится ли он защищать меня, если я вернусь, и он обещал.

Мой суд состоялся 20-го февраля в Петроградской Судебной Палате. Председательствовал сенатор Крашенинников.

Двери были закрыты для публики, только предъявители особых пропусков были допущены. Как судьи, так и большинство присутствующих принадлежали к высшей бюрократии и носили ленты и ордена. Стены были украшены портретами государей. Возле меня стояли два жандарма с обнаженными саблями.

Суд начался чтением секретарем Суда обвинительного акта. Из моей клетки я мог видеть, что некоторые фразы производили впечатление на читавшего и на слушателей. Это были наиболее яркие пассажи из моих писаний. В этой высокой Палате, в присутствии высших представителей юстиции и административной власти страны, секретарь громко вычитывал мои обвинения против императора Николая II. Временами он заикался и произносил слова с явным смущением — критика государя, столь обычная среди эмигрантской прессы возмущала слух русских чиновников, слушавших их впервые в этой Палате.

Председатель спросил меня, беру ли я обратно все, что я написал раньше? Я ответил, что я не отказываюсь ни от одного слова, написанного до войны. Чтение обвинительного акта почти что закончило производство. Свидетелей вызвано не было, моя статья в «Таймсе» о войне и другие статьи были приложены к делу как вещественные доказательства. Прокурор Г. К. Ненарокомов в своей речи требовал моего осуждения по части I, главы 103 Уложения о Наказаниях, грозившей мне каторжными работами. Когда мне было предложено сказать несколько слов, я заявил, что я принимаю полную ответственность за все свои писания, и сказал, что побуждения к моему возвращению в Россию были чисто патриотические. Затем мой адвокат произнес свою речь. Первая ее часть оспаривала требование прокурора. Он допускал мое обвинение лишь по 3-ей части той же статьи 103-ей, наказуемой лишь ссылкой в Сибирь.

«Бурцев, сказал он, совершил свое преступление заграницей, и с полным сознанием того, что его ожидает, вернулся в Россию. Если бы он сказал, что он изменил свои взгляды и раскаивается, его дело было бы банально и не представляло бы интереса. Это было бы личным делом Бурцева, и Суду нужно было бы только удостовериться в степени его искренности, и определить последствия тому. Но Бурцев вернулся в Россию, заявляя, что он ни в чем не раскаивается и остается тем же самым, каким был раньше, но приехал сюда так как желал быть в России во время войны и служить ей. Это за-

явление и ваш приговор придают делу важное политическое значение. Если вы верите в искренность Бурцева, а до сих пор никто никогда в ней не сомневался, Суд должен понять большое политическое значение вашего приговора. В своем манифесте по случаю объявления войны император объявил: «В этот грозный час испытаний забудем все внутренние разногласия...» Эти слова государя были обращены ко всем русским людям, в том числе и к Бурцеву. Бурцев ответил на этот призыв забыть все прежние разногласия и приехал сюда не для того, чтобы бороться против государя и его правительства, но чтобы помочь России сражаться против общего врага. Как же, объявляя ваш приговор от имени его императорского величества, наказывать Бурцева за его старые ошибки не впадая в противоречие с словами его величества и пользуясь его призывом лишь как средством для уловления Бурцева с места, где он жил в безопасности? Я знаю, что манифест не есть амнистия, и что вы не имеете права помилования, но вы имеете право рекомендовать Бурцева милосердию его величества и вы должны сказать ему, что по вашему мнению возвращение Бурцева после опубликования манифеста делает, по вашему мнению, невозможным применение к нему установленного наказания».

Во время перерыва я увидел, как Маклаков быстро встал и поздоровался с пожилым господином, который прошел по залу. Позже он спросил меня, не знаю ли я его? Я ответил отрицательно. — «Это граф Витте, и он мне сказал, что он пришел повидать Бурцева!»

Хотя я никогда не встречал Витте, я писал ему несколько раз. Он никогда не отвечал на мои письма, но посылал словесные ответы через общих знакомых. Я также знал, что он интересовался моими писаниями. Видимое любопытство побудило его прийти на суд. Это был единственный раз что мы встретились, так как он вскоре умер.

Мой приговор изумил многих как в России, так и заграницей. Сначала думали, что это было сделано с целью дать возможность государю проявить свое великодушие. Мне было сказано, что председатель совета министров подал государю доклад в этом смысле, и государь якобы согласился, как сам Горемыкин говорил некоторым лицам. Но брат моего адвоката министр внутренних дел Маклаков вмешался, и, будучи поддержан министром юстиции Щегловитовым настоял, чтобы предположенная амнистия была отменена и решение о

моей ссылке в Сибирь осталось в силе. На другой же день после моего суда, до меня дошел слух, что министр двора и юстиции не просили о моем немедленном помиловании потому, что хотели оставить самому царю инициативу этого поступка, с тем, чтобы он этой амнистией смог успокоить общественное мнение. На самом же деле эти слухи распространялись только для того, чтобы взвалить на государя всю ответственность. Эта компания решила покончить со мной старые счеты и скорей упечь меня в Сибирь.

Около двух лет спустя я обсуждал с Щегловитовым этот вопрос, когда мы оба сидели в большевицкой тюрьме. Он искренне сознался, что он настаивал на моей ссылке в Сибирь и упомянул о своих двух величайших ошибках: его антагонизм к Красному Кресту, так как он понял огромное значение этой организации для помощи заключенным, и мою ссылку в Сибирь в условиях того времени. Один мой приятель, говоривший с Щегловитовым за несколько дней до его расстрела летом 1918-го года в Москве, передал мне его слова:

«Меня нередко называли «Каином», но я клянусь вам, что я не подписал ни одного смертного приговора. Но я виновен перед моей страной за то, что, зная по именам этих мерзавцев (он имел в виду Ленина, Троцкого, Нахамкеса и проч.) и имея их в сущности в моих руках, я не расстрелял их. Если бы я это сделал, Россия не должна была бы пережить весь этот ужас и я сам не сидел бы в тюрьме в ожидании смерти. Я прошу у моей страны прощения за этот мой величайший грех».

Вскоре после моего суда В. А. Маклаков уведомил меня, что всякая надежда на помилование исчезла, и что решено сослать меня в Сибирь. Я не пытался апеллировать против приговора и, через неделю, он вступил в силу. Меня перевели в другую тюрьму, из которой отправляли партии ссылаемых, снова одели в арестантскую одежду и обрили пол-головы.

Ошибка правительства, поставившего вопрос мелочных расчетов выше национальных интересов, была понята заграницей, особенно в Париже. Там понимали, что Россия может быть сильной только при поддержке всех национальных патриотических групп. На мой арест взглянули как на знак внутреннего состояния России. Шаги были предприняты для того, чтобы добиться моего помилования премьер-министром французского кабинета Вивиани и даже президентом республики Пуанкаре.

После моего осуждения, из тюрьмы и во время моего путешествия в Сибирь я продолжал настаивать на необходимости объединенного фронта против врага, и серьезные газеты в России и заграницей печатали мои статьи. Однако заграницей находились пораженцы типа Чернова (социалиста-революционера), которые открыто радовались моему аресту. В своей статье «Он поверил!» Чернов издевался над моим простодушием с которым я доверился Николаю II и его правительству. Была ли это политическая пропаганда, или Чернов искренне верил тому, что писал, не имеет значения, но важно то, что русское правительство дало людям, подобным ему, случай для нападок и агитации против войны.

Я поехал в Сибирь с твердой уверенностью, что я достиг своих обеих задач. Я показал заграницe и России необходимость объединения во время войны всех национальных сил, и с другой стороны обличил правительство, которое в столь грозный момент русской истории, продолжало свою анти-национальную политику и отказалось идти навстречу интересам нации.

Нас отправили в Красноярск через Вологду, Пермь и Томск в вагонах для ссыльных. Когда 16 марта нашу партию в 200 человек привезли из тюрьмы на Николаевский вокзал, на большинство из нас надели кандалы. Группа друзей и родственников пришла проводить нас к воротам тюрьмы. Когда нас усадили в вагон, они подошли к окнам и с помощью конвойного я ухитрился передать записку друзьям. Подобное же письмо было послано мною в Петроград с пути, и было сразу же напечатано в газетах, что я был отправлен в Сибирь в кандалах. Официальная корреспонденция началась по этому вопросу, и было сообщено, что «кандалы были одеты по распоряжению начальника эшелона капитана Исаева, причина распоряжения неизвестна». После того, как приговор вступил в силу, я был в полном распоряжении подобных капитанов Исаевых, которые распоряжались нами и могли обращаться с нами как им вздумается.

Телеграфный приказ снять наши кандалы был получен только когда мы приближались к Красноярску. Около тридцати лет до того, в 1887 году я проделал ту же дорогу с большой партией политических ссыльных. Нас содержали строго, но обращались вежливо. В этот раз я и семь или восемь других политических ехали вместе с уголовными в вагоне с решетчатыми окнами, настолько скученном, что приходилось сидеть днем

и ночью. Почти все были закованы в кандалы, и звон этих цепей раздавался днем и ночью вместе с криками и бранью. Конвойные были особенно грубы, бранили, толкали и били арестантов. В этих условиях наш путь до Красноярска длился от шести до семи дней.

Я сидел на одной скамье с большевиком, яростно противившимся войне, и оба закованные и томившиеся от безделья, мы вели безконечные дискуссии, споря о войне и о большевиках. Политические ссыльные, и даже конвойные, спрашивали, как я мог быть сослан? Эти грубые конвойные, которые жестоко обращались с нами, были готовым материалом для принятия большевизма, и по всей вероятности этот тип людей обеспечил успех ленинской революции.

Я провел почти дне недели в Красноярской тюрьме, пока Енисей не был открыт для навигации и мы могли быть отправлены дальше. Трудно позабыть эту тюрьму. Большое двухэтажное здание имело несколько палат в каждом этаже. Днем нам разрешалось гулять во дворе в течение часа. В нашей палате было от семи до девяти политических и сорок уголовных, — убийцы, воры, грабители. Почти все носили одежду арестантов. Грязь была ужасающая; всякого рода насекомые изобиловали. Воздух был ужасный; мы часто голодали из-за недостатка пищи. Многие арестанты были больны, и трудно понять как все мы не захворали заразными болезнями.

Время от времени старые политические ссыльные навещали нас в тюрьме и помогали нам подготовиться к дальнейшему пути. Обычной темой наших разговоров была война. Немногие разделяли мои взгляды, большинство были пораженцы. Одни из них рассчитывали на победу немцев, думая, что это поведет к революции и торжеству социализма, другие стояли за мир во что бы то ни стало, третьи желали сосредоточить все усилия на борьбе с правительством, которое было в трудном положении, оставляя в стороне вопрос о войне. Мне приходилось довольно часто объяснять почему я считал необходимым поддерживать войну и, почему революционная деятельность в России поможет только германским империалистическим интересам и поможет поражению Союзников.

Один случай нашей жизни в Красноярской тюрьме запечатлелся в моей памяти. Через секретную почту я послал друзьям в Москву описание нашего путешествия. Я писал о войне, и среди прочего упомянул, что, хотя я и сослан «по-

жизненно», я все же надеюсь, что буду освобожден в текущем же году и увижу их в Москве. Совершенно неожиданно мои друзья напечатали это частное письмо в «Русском Слове». Когда экземпляр этой газеты был получен в нашей тюрьме, мои сожители посмеялись над моим оптимизмом, тогда как другие попрекнули меня за легкомысленное отношение к политическому вопросу даже в частном письме, которое могло быть напечатано. Я же все-таки был уверен, что, несмотря на свою враждебность ко мне, правительство не сможет долго продержать меня в ссылке и после нескольких месяцев мои надежды были оправданы.

В начале мая лед прошел по Енисею и наша партия в 200 человек была отправлена из Красноярска на первом пароходе в Енисейск. Так как моим назначением была Туруханская область в каких-нибудь 2.000 верстах от Красноярска, то я был задержан на целую неделю в Енисейске. Трудно описать эту последнюю тюрьму. Это старое здание с толстыми стенами, сводами и двойными решетками. Около сотни нас были заперты в двух камерах, рассчитанных первоначально на 25 арестантов. Нам приходилось спать не только в тесноте на койках, но и под ними, и в проходах между койками. Трудно было выйти ночью за нуждой, так как приходилось тревожить несколько человек. Дышать было трудно, так как открытые двери и окна мало помогали. Грязь и вонь были ужасны и пища, которая имела противный привкус, приносилась в грязных, вонючих ведрах. Нас было около 20 политических, остальные были уголовные худшего типа. В этой тюрьме я пробыл всего неделю, но это была худшая неделя всей моей жизни.

Я покинул тюрьму будучи почти отравлен ее удушливой атмосферой и долгое время чувствовал последствия моего пребывания там. Наше дальнейшее путешествие вниз по Енисею мы сделали в лодках. Нам дали одну большую и две малые лодки. На каждые десять или пятнадцать арестантов было по одному конвойному и несколько крестьян, которые не только гребли, но также помогали караулить нас. При мне был назначен особый конвойный. Мы делали от 15 до 20 верст в сутки, после чего останавливались у какой-нибудь маленькой деревушки с 15-20 избами на ночлег. Такие деревни были разбросаны вдоль реки на далеком друг от друга расстоянии. Мы встречали ссыльных, как и мы сами, которые жили там много лет. Лодки были небольшие и старые, дававшие немалую течь со всех сторон, которую приходилось все время откачивать. Лодки были также перегружены и волны

часто захлестывали через борт. Однако, после моей жизни в Енисейске, и особенно когда погода была хорошая, плыть в лодке было очень приятно, несмотря на свою монотонность. Чем дальше мы шли вниз по реке, тем слабей был надзор за нами, так как было очевидно, что никакое бегство не было возможно в этой безлюдной местности. Но когда погода менялась, было далеко не приятно. В этих местах Енисей достигает полутора верст ширины, и нам приходилось переживать настоящие бури в наших утлых ладьях. Не раз мы думали, что погибаем, наши лодки наполнялись водой так быстро, что мы еле успевали ее откачивать. Раз, когда буря стала усиливаться, мы повернули к берегу. Было еще очень холодно, льдины плыли кое-где по воде, и на берегу лежали большие кучи льда и снега. Вдруг на нас налетела большая волна и перевернула нашу лодку. К счастью вода в этом месте не была глубока, и нам удалось выбраться на берег и спасти нашу лодку и пожитки. Затем мы разложили большой костер, напились чаю, обсушились, поели и дождались прекращения бури, чтобы плыть дальше.

После томительного плавания, я достиг своего места назначения, села Монастырское, Туруханского уезда. Здесь был административный центр всего края. Большинство моих спутников были разосланы по более мелким деревням, я же был оставлен в Монастырском, где за мной было лучше наблюдать. Я был зарегистрирован в местном полицейском управлении и впервые, после Рауме, был «свободен», т. е. мог гулять по окрестностям без провожатого; но это было где-то возле Полярного Круга!

Я нашел около 25 политических ссыльных в Монастырском, среди них Свердлова, освобожденного после революции и сыгравшего такую страшную роль при Ленине. Он умел угодить администрации и пользовался разного рода поблажками. Вскоре после меня в Монастырское прибыли Каменев со своими товарищами, осужденными на суде социал-демократических членов Думы. В селе были телеграф, церковь, больница, и конечно полицейское управление и тюрьма. Несколько лавок обслуживали весь округ.

Я прибыл в лучшее время года. Река была открыта для сообщения с Енисейском и Красноярском. Пассажирские и грузовые пароходы приходят в Монастырское с мая до конца августа и привозят письма и газеты. Весной и осенью всякое сообщение прекращается на шесть недель и село отрезано от всяких сообщений с внешним миром. Я поселился в ма-

ленькой крестьянской избушке, гулял по окрестностям, удил рыбу, но не мог приучить себя к жизни в этом краю. Трудно себе представить как комары и всякая мошкара отравляют жизнь, особенно вновь прибывших. Все носят толстые сетки, но они мало помогают, так как этот гнус всегда умеет пробраться и кусается нещадно. Во время еды мне приходилось поднимать сетку и в то же мгновение мое лицо было покрыто комарами и мошкарой. В течение нескольких ночей я совершенно не мог спать. Прежде, чем ложиться я окуривал свою постель, но и это мало помогало. Иногда я уходил гулять на целую ночь. Но в сущности ночи летом там не бывает: солнце никогда не заходит за горизонт и в полночь почти также светло как и в полдень и можно читать и писать без искусственного освещения. Напротив того зимой царит сплошная ночь.

После месячного пребывания в Монастырском, когда я начинал мало-по-малу привыкать к нему, я был внезапно уведомлен о моем предстоящем переводе в село Богучанское. Некоторое время до того до Енисейского губернатора дошли вздорные слухи о том, что какая-то морская экспедиция будет послана через Ледовитый океан и устье Енисея для моего спасения. И эта возможность безпокоила губернатора, который ей поверил! В это время в Красноярске находился начальник Богучанской полиции, и, желая заслужить расположение губернатора, он предложил перевести меня в Богучанское, ручаясь, что я оттуда не убегу. Обрадованный губернатор отдал приказ о моем переводе. Возможно допустить, что предписание о моем переводе было прислано из Петрограда, так как я был переведен из Монастырского, тамошний полицейский вздохнул с облегчением и сказал: «Слава Богу, я предпочитаю иметь 50 ссыльных всякого рода, чем одного Бурцева!»

Я поехал из Монастырского по Енисею на пассажирском пароходе, под охраной двух казаков. Затем мы опять поплыли в лодках вверх по реке Тунгуске под охраной нескольких полицейских. Река очень быстрая и нам приходилось тащить лодку по-бурлацки почти все время. Богучанское небольшой поселок домов в 50, построенных в одну линию вдоль берега реки. Я там встретил начальника полиции, взявшегося охранять меня. Он назначил особого конвойного караулить меня, и он следил за мной по пятам. Когда я заходил в какую-нибудь избу, он следил за мной через окно. Мне было разрешено купаться в реке только перед самой деревней.

Я встретил в Богучанском около двадцати политических ссыльных, по большей части пораженцев, однако было несколько патриотически настроенных, как и я. Многие смотрели на всё пессимистически. Предсказывали долгие годы реакции в России, тогда как я говорил им, что падение правительства неизбежно. В дни, когда приходила почта, все мы, жившие от почты до почты, собирались в почтовом отделении. Мешок вскрывался в нашем присутствии, и все мы читали свои письма, а затем делились друг с другом своими новостями.

Однажды кто-то, раскрыв «Русское Слово», начал вычитывать новости. Петроградский корреспондент сообщал московской газете, что правительство решило пойти навстречу общественному мнению, что новый министр внутренних дел князь Шаховской сказал некоторым членам Думы, что, как знак перемены политики правительства решено восстановить Бурцева в его правах и вернуть его из ссылки, о чем уже подписан соответствующий указ.

Нечего говорить как я был взволнован этим неожиданным известием. Газета была прочитана в присутствии многих ссыльных и караульных, приставленных следить за мной. С газетой в руке я пошел к начальнику полиции, который уже ознакомился с известием. Я его спросил:

«Значит я могу уехать?»

«Конечно нет!» И, обращаясь к полицейскому, приставленному ко мне, и повышая голос, он приказал: «Наблюдать за ссыльным Бурцевым по-прежнему! Не оставлять его никогда одного и никогда не выпускать его из поселка!» Затем обернувшись ко мне, он произнес уже другим тоном:

«Я не признаю никаких газет и никакой Государственной Думы, но лишь приказания моего начальства. Вы уедете отсюда тогда, когда я получу приказание освободить вас. Если губернатор уведомит меня, что Государственная Дума добилась вашего назначения генерал-губернатором, тогда я...», он встал из-за своего стола, сделал шаг вперед, стал на вытяжку, отдал честь и, глядя мне прямо в глаза, сказал:

«...тогда я скажу: Ваше Высокопревосходительство! Отдавайте ваши приказания, они будут исполнены! А до тех пор вы ссыльный и я запрещаю вам покидать поселок и если вы ослушаетесь, я немедленно посажу вас под арест!»

Арестный дом был грязной комнатой при волостном управлении, куда сажали людей по его приказу. Он был типич-

ный представитель сибирской администрации, и хорошо знал что делает, когда обещал держать меня в сохранности в Богучанском!

Я однако знал, что не долго уже придется зависеть от произвола этого держиморды и не придавал большого значения его угрозам. На другой день я опять был вытребован предстать перед ним. Мы все думали, что пришел приказ губернатора о моем освобождении, но к моему удивлению этот чин торжественно прочел мне приказ об отправке меня обратно в Монастырское под строгим конвоем.

Я подумал сначала, что произошло какое-то недоразумение, но затем вспомнил что, когда приказ о моем переводе в Богучанское был получен в Монастырском, я телеграфировал друзьям в Красноярске, прося хлопотать за меня в Петрограде, чтобы мне было разрешено жить или в Енисейске, или вернуться в Монастырское. В то время я мог попасть туда пароходом; это был запоздалый ответ на мою просьбу.

Теперь не было никакого смысла возвращать меня в Монастырское и снова проделывать то же утомительное путешествие в гребных лодках. К тому же всем было известно, что я свободен, и находился в Богучанском потому, что соответствующий приказ еще не был получен от губернатора. Но я напрасно старался объяснить это: приказ должен быть выполнен немедленно. Я тогда вспомнил, что мы должны проехать через Енисейск и надеялся найти там более разумных людей, которые разрешат мне остаться там до получения приказа губернатора, вместо того, чтобы снова ехать мне в Туруханский край.

Известие о моей амнистии отчасти рассеяло пессимизм некоторых из моих сожителей, которые согласились, что весенняя струя пронеслась в душной политической атмосфере России, хотя большинство объясняло мое освобождение боязнью общественного мнения Европы и имели мало надежды на перемену реакционной политики правительства. Они не рассчитывали также и на улучшение их собственного положения от победы Союзников. Когда я сел в лодку, чтобы ехать в Монастырское, ссыльные пришли проводить меня. В присутствии охранников, я крикнул им: «До свидания в Петрограде и Москве. Россия скоро будет свободна!»

Под строгим конвоем я снова проделал путь вниз по Тунгуске. Мы останавливались на ночь возле деревень и я везде встречал ссыльных. В Рыбном я неожиданно встретил моего Богучанского начальника полиции, получившего уже

распоряжение губернатора о моем освобождении и он был так любезен, что я еле узнал его; он даже просил меня не поминать его лихом!

«Если бы вы только знали, какие распоряжения я получал на ваш счет!»

Я понял его! Пришел новый приказ и он его выполнял.

Как я позже узнал, ни мои адвокаты, ни друзья не делали никаких шагов для моего освобождения, помощь пришла из других источников. Заграницей, и особенно во Франции, общественное мнение считало мой арест большой ошибкой правительства, и настаивало, чтобы было на него оказано давление. В своих воспоминаниях, французский посол в Петрограде М. Палеолог упоминает, как французское министерство иностранных дел предписало ему лично обратиться к императору в мою пользу, и в ответ на эту просьбу я был так внезапно освобожден, и мне было разрешено покинуть Сибирь.

С удостоверением в кармане я вышел из Рыбинского полицейского управления, чувствуя себя наконец свободным гражданином России. В тот же день я выехал в Енисейск на большой барже. Нас было около тридцати пассажиров — священник, чиновник, крестьяне, учителя, солдаты, возвращавшиеся на фронт. Разумеется все наши разговоры вертелись вокруг войны.

В Енисейске мне выдали новый документ и мне было предложено избрать город для моего жительства, за исключением обеих столиц, университетских городов и городов в прифронтовой полосе. Я сначала выбрал Выборг, но мне в этом было отказано, и я остановился на Твери.

В Сибири и во время железнодорожного пути до Москвы длившегося 12 дней я имел случай взглянуть на подлинный облик России. Всякого рода люди проходили перед моими глазами, люди всех классов, национальностей и взглядов, интеллигенты, рабочие, солдаты, крестьяне. Их крепкая жизненная сила, способности и познания поразили меня. Мне было выявлено большое духовное богатство нации: Россия раскрылась предо мною богаче Европы, обладая бóльшей внутренней свободой чем она. В проходивших мимо моих глаз массах чувствовалась скрытая сила.

Я также знал о беспредельных природных богатствах страны, огромных лесах, почти что нетронутых горных богатствах, рыбных богатствах. Я ехал по обширной сибирской равнине и вспоминал слова нашей древнейшей летописи —

«Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет». И никогда я не чувствовал такой ненависти к императорскому правительству как, глядя из окна моего вагона на эту обширную и богатую страну. Я не нидел в ней порядка.

В Сибири же я ближе узнал большевиков и им сочувствовавших. Они не только настаивали на необходимости бороться с правительством в это критическое время, но даже проповедывали необходимость активной поддержки немцев против русских войск. Свердлов и другие, которых я встретил в Туруханске, негодовали на меня за то, что я их обвинял в измене, не одобряли мою патриотическую кампанию в прессе. Но у них было еще мало надежд на скорую революцию. Когда вспыхнула мартовская революция, Каменев, который мечтал лишь о конституционной монархии, от имени собрания ссыльных послал поздравительную телеграмму великому князю Михаилу (Александровичу).

Но правительство не хотело сделать войны делом национальным. Оно не столько стремилось одержать победу над врагом, сколько укрепить свою позицию. Каждая уступка в деле сотрудничества народа в обороне страны, давалась после долгой борьбы. Отношения между правительством и прогрессивными партиями не могли быть хуже: власти никогда не отменили своей политики обуздания прессы, земств и национальных меньшинств, поляков, финнов, евреев и других. Эта борьба велась не по причине отрицательного отношения этих народов к войне, а для подавления их мечтаний о большей свободе. При таких условиях задача людей подобных мне была чрезвычайно трудна. Нам приходилось смотреть на правительство как на сознательных предателей и союзников немцев. Разумеется, мы не верили в распускавшиеся кругом слухи о сношениях императора с врагами, и знали, что он лично надеется на победу над Германией вместе с нашими Союзниками. Но все же все внимание правительства не было всецело занято войной, прогрессивное движение считалось более опасным, чем Германия, и это имело последствия мешавшие ведению войны. Однако страна не обладала организованной силой для противодействия правительству, и условия для этого не были благоприятны. Всякая революционная деятельность в это время могла только усилить врага и повлечь за собой вероятное торжество реакции в России. Поэтому я и моя группа осуждали всякое революционное выступление в России, будучи убеждены, что если мы поможем разгромить немецкий империализм, то Союзники помешают возможной реакции утвердиться в России, которая

тогда сможет развиваться в здоровом и свободном направлении.

Я должен был ехать прямо в Тверь, не останавливаясь в пути и явиться там местной полиции. Однако я остановился на несколько дней в Самаре, где я встретил многих интересных общественных деятелей и напечатал несколько статей в местной прессе. Когда я прибыл в Тверь, я убедился, что правительство намерено держать меня под наблюдением. В этом небольшом провинциальном городе, где все знают друг друга, сыщики следовали за мной по пятам. Агенты тайной полиции наблюдали за мной, моя корреспонденция перлюстрировалась, и наконец, присланный агент из Петрограда поместился в моей гостинице. Месяц спустя я просил разрешить мне посетить на время Петроград. Новая перемена произошла в правительстве. Новый министр внутренних дел А. Н. Хвостов принадлежал к крайней реакционной партии, но он был убежденным врагом немцев и искренне желал победы России. Его ненавидели все прогрессивные круги и он сумел создать себе врагов повсюду. Сознавая это, он почувствовал необходимость уступок и, в одном из своих докладов государю, просил разрешить мне вернуться в Петроград, и разрешение было дано. Когда Хвостова обвиняли в реакции, он указывал, что мое возвращение в столицу сделано им. Он мне это сказал лично когда мы оба сидели в большевицкой тюрьме и сказал мне, что он понимал, что главной заботой России должна быть война. Таким образом случилось, что, покинув Рауме в сентябре 1914 года я достиг Петрограда лишь зимой 1915 года проехав через самые отдаленные районы северной Сибири! Я был наконец в состоянии сотрудничать в прессе и делать ту работу, ради которой я вернулся в Россию!

Мой арест в первый день большевицкой революции

С мрачными предчувствиями, вызванными всем, что я видел в течение последних дней, я вышел утром 25-го октября (7 ноября) из своей квартиры на Литейном Проспекте и пошел пешком в редакцию «Общего Дела» на Невском. Желая, однако, узнать, что делается в городе, я решил сначала пройтись по соседним улицам. На стенах были расклеены плакаты, только-что напечатанные большевиками, с призывом к народу подняться против Временного Правительства, но нигде я не видел призывов этого Правительства к народу сплотиться вокруг него. Повидимому

катастрофа, которую мы ждали с такой тревогой в течение недель и месяцев, наступила. Было очевидно, что нам придется дорого заплатить за политику Керенского и его сподвижников. Всё было тихо..... Жуткая тишина! Время от времени проезжали кавалерийские отряды, но я не мог угадать по лицам солдат на чьей они стороне, за или против большевиков? Прохожие казались обеспокоенными и, как и я, явно хотели узнать, что происходит в городе.

Когда я, наконец, дошел до редакции, я застал там больше обычного народу. Меня забросали вопросами и слухами. Ходили фантастические рассказы о расстрелах, убийствах, баррикадах. Все были возбуждены. Одни считали большевицкий переворот безумной и безнадежной затеей. Другие сообщали, что они всюду имели полный успех. Впечатление большинства сводилось к тому, что победа была на стороне большевиков и что им нигде не было оказано настоящего сопротивления, и вообще никакого сопротивления ожидать нельзя; Петроград пропал, одна надежда на провинциальные города, и на Москву.

Вместе с тем нельзя было не признать, что ничего неожиданного не произошло. Изо дня в день, в течение недель я предупреждал читателей, что мы накануне большевицкого восстания. Я открыто обвинял правительство Керенского в потакании большевикам. На Государственном Совещании я предупреждал самых влиятельных членов правительства, что мы очень близки к большевицкому захвату власти. Я говорил, что общественное мнение требует освобождения таких патриотов и врагов большевизма, как генералы Корнилов и Деникин, арестованные Керенским, и что правительству следует заключить соглашение с казаками и принять их предложение о помощи против большевиков. Члены правительства уверяли меня, что мои сведения преувеличены, что все необходимые меры приняты: правительство сильно и сможет раздавить большевиков, когда найдет это нужным, и т. д. Такое отношение было мне совершенно непонятно и я спорил: — Или я сошел с ума и не в состоянии понять этого, или вы действуете так, как будто бы слепы и глухи.

Вот почему, когда в редакции «Общего Дела» утром 25-го октября я выслушал противоречивые сообщения о происшествиях в городе за прошлую ночь, я понял, что мои опасения были правильны. Столица и мы все были во власти большевиков. У нас не было никакой силы для сопротивления им, и Керенский и его окружение выдали нас. Однако, я еще пытался убедить себя, что не все еще пропало, что какие-

нибудь организованные силы, где нибудь, окажут сопротивление большевикам, и что, хотя Петроград и в их руках, но им еще окажут сопротивление в пригородах, и может быть в Москве.

Издание моей газеты было запрещено временно 21-го октября. Номер 23-ий не вышел и, по распоряжению Керенского, через два дня газета была запрещена **навсегда**, и ее типография конфискована и опечатана.

С 21-го по 25-ое октября комиссия под председательством министра юстиции Малянтовича обсуждала вопрос о моем аресте и суде согласно предложению Керенского. Это была главная забота Керенского в самый канун большевицкой революции. Все же, когда «Общее Дело» было запрещено, я тотчас же решил не прекращать моей борьбы, направленной против большевиков и Керенского. Я вошел в соглашение с типографией на Васильевском острове, на окраине города и начал подготовлять издание первого номера «Нашего Общего Дела». Большевицкое восстание изменило положение. Было сомнительно, чтобы типография посмела печатать антибольшевицкую газету, или что рабочие, среди которых должны были быть и большевики, позволят это. Поэтому, в сопровождении г. Бразуля (в настоящее время одного из самых активных сотрудников советской прессы) я решил посетить типографию.

На Николаевском мосту мы были задержаны большевицкой заставой. Они нас обыскали, но не нашли ничего интересного. На Неве, возле моста стоял на якоре крейсер «Аврора», и мне было сообщено, что он привез большевиков из Кронштадта. И в самом деле, несколько часов спустя орудия с «Авроры» открыли огонь.

Совершенно неожиданно типография согласилась выпустить мою газету, без всякой однако гарантии, и мне пришлось подписать заявление о том, что я беру на себя всю ответственность за публикацию. Я справился о настроении рабочих и получил ответ, что хотя среди них есть большевики, но так как исход восстания еще неизвестен, то оппозиции с их стороны не ожидается.

Я написал передовицу в типографии, затем со своими сотрудниками составил колонки «Событий Дня», обзор прессы и прочее. Каждую минуту телефонные звонки прерывали нашу работу, и мы получали информацию из помещения редакции «Общего Дела». Нам сообщили, что редакции угрожают большевики, и что нападение ожидается каждую минуту. Все подобные сообщения записывались как сообщения на-

ших репортеров, и немедленно передавались типографам. Нашествие большевиков на типографию могло, конечно, произойти, но несмотря на это я продолжал писать и корректировать свои писания.

Наше беспокойство усиливалось полной невозможностью узнать подлинное положение вещей из-за крайне противоречивых и мало вероятных сведений, которые доходили до нас, но было очевидно, что Петроград переживает тяжелые минуты и, что для всех нас предстоят тяжелые испытания. В то время, как я пишу эти воспоминания, я имею перед собой знаменательный и единственный экземпляр «Нашего Общего Дела», и я приведу наудачу несколько выдержек взятых главным образом из колонки «Новостей Дня». Телефон звонил непрерывно и сообщения наших репортеров со всех концов города заполнили почти весь номер, каждая строка которого является ценным историческим документом, описывающим жизнь антибольшевицкого Петрограда в этот критический день большевицкого переворота. Вот эти выдержки:

«Типография газеты «Копейка» захвачена Военно-Революционным Комитетом. Прокламации к войскам и народу печатаются там; почта, телеграфное и телефонное управления, и все железно-дорожные вокзалы захвачены большевиками. Зимний Дворец отрезан. Правительство Керенского низложено. Юнкера и кадеты раздавлены. Казаки отказались поддерживать Временное Правительство.

Мариинский Дворец занят отрядом в 50 большевиков. Зимний Дворец окружен. Все его ворота заняты. Временное Правительство все еще совещается... Большевики воздвигли баррикады на Гороховой улице и Вознесенском Проспекте, ожидая атаки правительственных войск вдоль этих артерий.

В полдень большевики перерезали телефоны Мариинского Дворца. Они захватили также типографию «Русской Воли», а типография «Биржевых Ведомостей» захвачена Центрофлотом.

По распоряжению Военно-Революционного Комитета все бывшие под арестом большевики освобождены.

В час дня заседание Комитета Национальной Безопасности назначено в Городской Думе.

Дворцовая Площадь и подходы к Зимнему Дворцу напоминают военный лагерь. Постоянный приток небольших частей непрерывно подходит ко Дворцу, чтобы стать в распоряжение Временного Правительства.

2 часа пополудни. Сообщается, что два гвардейских полка идут к Зимнему Дворцу, чтобы защищать Временное Прави-

тельство и два армейских корпуса спешно идут в Петроград, на помощь правительству. Они ожидаются около 4 часов пополудни.

А. Ф. Керенский уехал в Ставку. Совещание, назначенное на 12 ч. дня для обсуждения мер для защиты правительства и столицы, решено перенести в Зимний Дворец, где особое совещание Временного Правительства состоится в Малахитовом Зале под председательством А. Коновалова. Председатель особого Комитета Обороны, а также инженер Рутенберг также приглашены на это совещание.

В 12 ч. дня дом Совета Республики был окружен матросами Гвардейского Экипажа. Никто не допускается в дом. Только предъявители особых разрешений выпускаются из него. Отряд моряков явился для ареста генерала Алексеева. В 1.30 пополудни П. Милюкову было разрешено уйти через главный вход.

Мы также привели следующую интересную заметку:

«Последняя колонка сегодняшнего номера «Новой Жизни»* печатает на первой странице черным по белому следующее сообщение:

«Вчера Совещание Военно-Революционного Комитета Рабочих и Солдатских Делегатов приняло единогласную резолюцию, объявляющую, что вопреки противным слухам и измышлениям, он создан **не для того, чтобы подготовить и совершить революцию,** а только для того, чтобы защищать интересы Петроградского гарнизона и демократии от всяких контр-революционных и погромных попыток».

Эта резолюция была напечатана в тот самый момент, когда план большевиков тщательно приводился в исполнение.

Моя передовица в первом и последнем номере «Нашего Общего Дела» начиналась словами: «Граждане, спасайте Россию!» Вот несколько выдержек из этой статьи:

«Неизбежное случилось, то, что одни только умышленно слепые не хотели видеть. Мы били тревогу еще до публикации «Общего Дела» и продолжали это в каждом его номере. Страна стоит на краю пропасти. Враг у наших ворот... Большевики со своими Лениными и Троцкими раскрывают им

---

* «Новая Жизнь» была газетой Горького, Военно-Революционный Комитет печатал в ней свои постановления, так как большевицкий орган «Рабочий Путь» был в это время приостановлен Временным Правительством.

врата столицы... Предатели народа скинули свои маски... Сейчас не время для колебаний... Впредь борьба должна вестись беспощадно. Мы не должны останавливаться перед репрессиями. Никакое перемирие с большевиками невозможно... Наше несчастье происходит от двух причин: 1) Слабое и неспособное правительство, которое не могло разобраться в том, кто его друзья и кто враги, боролось с первыми и браталось с последними, 2) Наш враг, враг России, враг наших Союзников, опирается на две крайние партии, большевиков и анархистов и их сторонников. Мы били тревогу и предупреждали правительство... Наша первая и главная задача состоит в том, чтобы довести войну до победоносного конца вместе с нашими Союзниками и все наши усилия должны быть направлены к этой цели. Всякая попытка вызвать гражданскую войну должна быть беспощадно подавлена. Нужно создать сильное правительство для борьбы с врагом внешним и внутренним. Мы требуем суда над всеми главарями большевизма: Лениным, Троцким, Рязановым, Каменевым, Зиновьевым, Коллонтай, Нахамкесом, Луначарским и прочими».

Около четырех часов пополудни проверенные гранки были сданы в набор. Адрес типографии указан не был, только адрес редакции и мое имя как редактора и владельца газеты.

Окончив свою работу, и с экземпляром гранок в кармане, я покинул типографию. По пути я передал их приятелю с просьбой пройти в редакцию «Общего Дела» кружным путем, а сам сел в трамвай, чтобы переехать через Николаевский мост. Он был занят с утра большевицкими заставами. Наш вагон был остановлен. Я сидел в углу и разговаривал с незнакомым мне человеком. Несколько офицеров и двое штатских были задержаны. Большевики внимательно всматривались в нас, но даже не спросили у нас документов.

Переехав через мост, я сошел с трамвая, для того, чтобы посмотреть, что делается в городе. Кругом царила атмосфера крайней нервности и беспокойства. Броневики мелькали здесь и там, конные разъезды скакали по улицам. Время от времени слышались одиночные выстрелы. Я пошел по направлению к Мариинскому Дворцу, но площадь была занята взбунтовавшимися солдатами, которые не пропускали никого. Остальная солдатня была скучена на ступенях дворца. Я повернул вдоль Гороховой и Морской и видел вновь воздвигнутые баррикады. Встреченные друзья рассказали мне о происшедших боях, о многих раненых и убитых, о захваченных большевиками зданиях, о местах, куда доступ был воспрещен, и т. д.

Я пошел пешком до нашей редакции вдоль по Невскому, и был встречен моими друзьями. Они знали не больше моего о том, что происходило, но у всех было впечатление, что столица уже в руках большевиков и что серьезного сопротивления оказано не было. Мы поняли теперь, что Керенский обманул нас больше, чем мы думали, когда уверял нас, что все меры против восстания приняты.

С тревогой ожидали мы доставки отпечатанных экземпляров «Нашего Общего Дела», что было делом нелегким. Мосты с Васильевского острова, где они печатались, были заняты большевицкими заставами, и было делом рискованным стараться проскользнуть мимо них. Нам приходилось отправлять их кругом по Петербургской и Выборгской стороне.

Типография позвонила нам, что печатание закончено благополучно, и все номера отправлены нам. Мы получили первые экземпляры «Нашего Общего Дела» около шести часов дня. Их принес один из наших служащих под своим жилетом. По пути его остановила большевицкая застава, но после некоторых объяснений, пропустила, не обыскав его.

Если память мне не изменяет, ни одна антибольшевицкая газета не появилась в этот день. Мне кажется, что ни одна газета не была даже напечатана.

После первого человека стали появляться другие с запасами газеты. Всем им удалось проскочить благополучно и мы их горячо приветствовали в редакции. На улице уже знали, чта наша газета вышла. Я сам поместил несколько экземпляров в окна нашей лавки, находящейся под помещением редакции и сразу же большая толпа собралась у окон. Мы вынесли экземпляры на улицу и стали их продавать. Каждый экземпляр продавался немедленно и покупатели немедленно бежали домой: как бы они не были у них отняты. Таким образом слух о выпуске «Нашего Общего Дела» быстро распространился по городу и со всех сторон к нам стекался народ.

К семи часам вечера, когда уже совсем стемнело, несколько тысяч экземпляров было уже доставлено нам, и мы открыто продавали «Наше Общее Дело» на улице. Большая толпа образовалась у дверей редакции и нам пришлось приостановить продажу. Газету выхватывали из рук и мы не имели времени брать деньги. К тому же большевицкие агенты появились в редакции и потребовали выдачи оставшихся номеров. Редакция была обыскана. Мы поставили своих людей на улице, чтобы помешать большевикам схватить приносимые экземпляры, и как только их приносили, мы их сразу разда-

вали толпе. Таким образом не более двух сотен экземпляров было схвачено нашими противниками.

Перед нашествием на редакцию я вышел на улицу и смешался с толпой. Чтение газеты видимо производило сильное впечатление. Иные читали с воодушевлением — мой призыв бороться против большевиков и открыто обвиняли Ленина и Троцкого в измене. Другие, явно большевики, громко кричали, требуя моего ареста и разгрома моей редакции. Форменные митинги происходили на улице перед редакцией. Между группами наших людей и большевиков дело чуть не доходило до драки. В то время, как я переходил от группы к группе, я был узнан нашими, которые меня громко приветствовали. Мне уже было невозможно оставаться в толпе, и я задним ходом вернулся в редакцию. Большевики уже ушли, справившись где я.

Мы уже унесли всё, что могло заинтересовать большевиков, но я нашел еще кое-что, что мы оставили раньше и отправили это в безопасное место. После этого я решил вернуться на свою квартиру на Литейном и стал ждать непрошенных гостей. Вскоре мне позвонили, что большевики заняли редакцию «Общего Дела», которую тщательно обыскали и, забрав кое-какие вещи, ушли, снова справившись, где я. Мои друзья опять настаивали на том, чтобы я скрылся, но я отказался последовать их совету. Я долгое время открыто обличал большевиков как предателей страны, агентов врага и убийц, и не желал скрываться от них. Я хотел иметь право сказать, что я открыто обвиняю их в час их торжества, когда я сам был в их власти.

Вскоре послышался шум, громкие голоса и спешные шаги по лестнице. Раздался резкий звонок у двери, я понял, что «товарищи» наконец пришли. У меня еще была возможность бежать задним ходом...

Я открыл дверь. Десять матросов, вооруженных винтовками, ворвались в переднюю. Человек в студенческом картузе шел за ними.

— Вы гражданин Бурцев? — спросил один из матросов.

— Да, это я, — сказал я, и добавил: — вы пришли арестовать меня, я ожидал вас. Слишком долго я был вашим противником.

Они предъявили напечатанный на машинке приказ о моем аресте с печатью Военно-Революционного Комитета. Всё было в полном порядке, как при царском правительстве.

В сопровождении матросов я стал спускаться по лестнице. На улице стоял автомобиль. Когда мы отъехали, один из матросов сказал мне:

— Когда-то Николашка ездил в этом автомобиле.

Он явно имел в виду Николая Второго. Я ответил:

— Подозревал ли он, что наступит день, когда революционеры повезут в тюрьму его врага Бурцева в его собственном автомобиле?

Хотя я и говорил о «тюрьме», но я вовсе не был уверен, что меня не везут прямо на казнь. После минутного молчания тот же матрос сказал:

— Да, гражданин Бурцев, мы хорошо знаем как в вашем «Общем Деле» вы ругали наших Ленина и Троцкого.

— Я вовсе не ругал их, — возразил я. — Я только обвинял их в работе рука об руку с нашими врагами. Немцы прислали их нарочно в запломбированном вагоне в Россию, для того, чтобы добиться ее гибели.

Я не мог угадать, чем бы наш разговор кончился, если бы, подъезжая к Троицкому мосту, наш автомобиль не остановился внезапно и не отказался двигаться дальше. Мы все покинули его, и меня повели через мост в Петропавловскую крепость. Я шел, окруженный десятью вооруженными матросами. Ночь была темная и безлунная. С трудом можно было различать силуэты крепости, Академии Наук, других зданий. Лишь тут и там, как отдаленные звездочки, светились огоньки в частных домах.

Точно раскаты грома слышалась стрельба орудий. Можно было подумать, что противник штурмует столицу. Со всех сторон слышались резкие выстрелы винтовок и пулеметов... Мимо нас провозили раненых и стонущих... Ежеминутно на мосту прохожие и матросы останавливались, повидимому стараясь угадать откуда шли выстрелы.

Оба кронштадтские крейсера, которые утром пришли в Петроград, и которые я видел у Николаевского моста, стреляли по городу. Они обстреливали Зимний Дворец где, как мне было известно, шло заседание Временного Правительства. Обстрел шел непрерывно, выстрелы грохали один за другим с весьма короткими интервалами. Грохот разрывающихся снарядов был таков, что казалось, что весь дворец должен быть скоро обращен в груду развалин. Но было так темно, что мы не могли ничего видеть.

— Разбивается последний оплот контр-революции, — сказал один из матросов с удовольствием. Я грустно посмот-

рел на тупое выражение его лица. Было очевидно, что он не понимал ни того, что говорил, ни того, что делал. Возможно, что он был не плохой парень, но он был введен в заблуждение и, как попугай, повторял слова, которым был научен. Что он работает на немцев и губит свою страну, ему и не приходило в голову.

— Я не знаю, что там делается, — сказал я указывая на Зимний Дворец, — не знаю, кто его обстреливает, но во всяком случае Россия гибнет, и расплатятся за это русские крестьяне, ваши родители, а также ваши дети, которые дорого заплатят за это, — и я опять указал на дворец.

Матросы слушали меня с видом превосходства, и по их ответам я увидел, что у них есть готовый ответ на всё. Они думали, что наступает новая эра и ожидали от обстрела дворца чего-то необычайного. Но вместе с тем казалось, что они не вполне уверены в своем конечном успехе. Они производили впечатление людей, которые в глубине сердца знали, что они стоят на краю пропасти, в которую их толкает какая-то неведомая сила.

Я все еще тешил себя надеждой, что сопротивление будет еще где-нибудь оказано. Матросы тоже, казалось, не были вполне уверены в своей победе, что видно было из того как они со мной обращались и по случайным словам, которыми обменивались. Быть-может, будь они уверены, что успех был уже на их стороне, они бы без обиняков расправились со многими из нас.

Во время одной остановки на мосту матросы отошли в сторонку, чтобы что-то обсудить, чего я не должен слышать, до меня только долетело: «Да чего с ним возиться? Швырнем через мост и всё...».

Внезапно сильная пулеметная очередь затрещала позади нас — показалось даже, что мы были выбраны мишенью. Матросы бросились на землю, крепко схватив меня за руки, чтоб я не убежал. Когда кругом все затихло, матросы вскочили, волоча меня за собой, к крепости.

Некоторое время мы стояли у ворот крепости. В темноте недалеко от нас вдруг кто-то побежал, раздались крики, несколько выстрелов, потом послышались отчаянные стоны, и все стихло. Было ясно, кого-то расстреляли. Позже мне сообщили, что стража открыла огонь по группе арестованных, которые, у самых ворот, якобы, бросились бежать. Несколько человек были убиты. Вскоре подобные происшествия стали обычными.

Меня повели в хорошо знакомое мне здание Трубецкого Бастиона, где я долгие годы сидел арестантом в царствования Александра III и Николая II. Около четверти часа мне пришлось дожидаться в караульном помещении. Солдаты скоро узнали кто я и, казалось, были заинтересованы моим арестом, но я не мог угадать ни как они ко мне относятся, ни что меня ожидает. Поведут ли меня в камеру или выведут во двор на расстрел.

Среди солдат были большевики, открыто ко мне враждебные. Они ругали контр-революционеров и повторяли заученную фразу о том, что «разбивается последний оплот контр-революции». Другие солдаты хранили неопределенное молчание.

Вскоре я был заперт в камеру. Я хорошо знал эти камеры Трубецкого Бастиона: большая, пустая комната без обстановки, ничего, кроме железного стола и койки, привинченных к стене. Высоко под потолком маленькое окошко с тройной решеткой. В такую же точно камеру я был посажен три года ранее, когда в царствование Николая II, я вернулся в Россию.

Дверь за мною захлопнулась и я остался один, на этот раз в большевицкой, а не в царской тюрьме.

Грохот орудий и стрельба пулеметов не стихали, а казалось только усиливались. Казалось, что обстреливают самое крепость. Я услышал громкие голоса солдат, бежавших по коридору. Мозг мой лихорадочно работал — я с волнением старался угадать, что происходит там, за этими стенами... Кто победил, большевики или Временное Правительство? Где Керенский и прочие члены правительства? Были ли еще живы мои друзья? Что принесет нам завтрашний день? Я хорошо сознавал, что мои тюремщики не имели причины любить меня, и что я могу скоро испытать на себе их недоброжелательство, но дело шло о существовании моей страны и я почти не думал о собственной судьбе.

Около двух или трех часов ночи стрельба несколько стихла, и шум в коридоре несколько стих, но ненадолго. Тишина была нарушена новым шумом, знакомым обитателям тюрем. Двери отпирались и замыкались, солдаты громко вызывали арестованных, а затем вполголоса говорили между собой. Я догадался, что прибыла новая партия арестованных, и очевидно значительная. Но кто были они? Если бы победило Временное Правительство, то крепость не была бы уже

в руках большевиков, и все арестованные были бы освобождены...

Я провел бессонную ночь. Под утро солдат принес мне кипятку для чая. Он знал меня больше, чем по имени, так как служил в том же бастионе когда я сидел в нем в царствование Николая II. С ноткой симпатии в голосе он сказал: «Они и вас арестовали!» — с ударением на «они». И нервно оглянулся, словно боясь, что его могут подслушать.

— Обо мне и других частных лицах думать нечего, когда дело идет о России, — ответил я. Солдат тяжело вздохнул и с отчаянием махнул рукой:

— Да разве мы этого не понимаем? — Он явно чувствовал свое бессилие при сложившихся обстоятельствах. Я спросил его кто были новые арестованные.

— Все ваши, они были арестованы во дворце Временного Правительства! Он назвал несколько имен, которые запомнил: Терещенко, Коновалов... Керенского среди них не было. Позже я узнал имена тех, кто были доставлены в крепость после меня в ночь с 25 на 26 октября. Среди них были члены Временного Правительства разного состава: Кишкин, Карташев, Гвоздев, Маслов, Малянтович, Смирнов, Бернацкий, Третьяков. С ними же были привезены Рутенберг и Пальчинский.

За стенами крепости события развивались быстро. Победа большевиков была подавляющая. Россия была предана и продана...

В нашей тюрьме мы напрягали слух, чтобы уловить новости. Через несколько дней нам разрешили прогуливаться с другими арестованными во дворе крепости. Социалистические члены правительства были уже освобождены, и я их уже не видел, но я встретился с другими членами Временного Правительства. Временами появлялись новые пришельцы: командующий 5-ой армией генерал Болдырев, Шингарев, Кокошкин, князь Долгоруков, чьи имена были популярны среди нас, бывшие члены комитета Учредительного Собрания, много меньшевиков и других политических деятелей: член Думы Пуришкевич, генерал Черемисов и другие, также и наши бывшие противники, члены царского правительства, с которыми я так долго боролся. Они сначала были рассажены по отдельным камерам, но скоро и им разрешили гулять с нами. Среди них был директор департамента полиции Белецкий, бывший министр юстиции Щегловитов, министр внутренних дел Хвостов, военный министр Сухомлинов и другие.

Но в том же самом дворе Трубецкого Бастиона я встретил и старых друзей. Когда я впервые был заключен в крепость в 1885 году и шагал по двору там были посажены, молодые деревца. В 1914-1915 гг. я увидел их опять. В 1917 году им было уже более 30 лет и они высились над крышей бастиона, молчаливые свидетели многих трагедий, они могли бы рассказать много мрачных историй не только из того, что видели в царствования Александра III и Николая II, но и за время большевизма.

Наши прогулки продолжались с конца октября до конца декабря, когда большинство из нас были распределены по другим тюрьмам, а иные, как Кокошкин и Шингарев были убиты... Много дум передумали мы в одиночестве наших камер и много интересных разговоров было во время наших прогулок по двору тюрьмы...

В. Л. Бурцев

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.*

ПЕРВОЕ СОГЛАШЕНИЕ СОВЕТА С ВРЕМЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ О ЦЕЛЯХ ВОЙНЫ

1. Позиция буржуазии в вопросе о войне

23 марта, накануне дня, назначенного для наших переговоров с Временным Правительством, в Петрограде происходила грандиозная манифестация, — торжественные похороны жертв революции на Марсовом поле. Манифестация эта подняла на ноги буквально все население столицы: в ней приняло участие около миллиона человек. На бесчисленных знаменах были самые разнообразные надписи, формулировавшие стремления разных групп, классов, профессий, — но все это были красные знамена, и дух единения, воодушевлявший всех манифестантов, нашел свое выражение в основной надписи, общей для всех знамен: «Да здравствует Великая Революция!».

Я следовал в этой процессии в одном автомобиле с Верой Фигнер, представительницей революционного движения 1870-х годов. На всем пути народные массы приветствовали ее с такой искренней сердечностью, что, казалось, все они ее лично знали. Многие подходили и пожимали ей руку. Ее глаза сияли счастьем. Это было глубоко трогательное и прекрасное зрелище: наблюдать, как освобожденный народ воздает почести той, которая была товарищем по борьбе Желябова, Перовской и все-

---

* Этот отрывок из воспоминаний И. Г. Церетели мы печатаем с любезного разрешения его душеприказчика А. М. Бургиной. Печатаемая глава была написана И. Г. Церетели по-французски для шведской печати. Русский перевод сделан А. М. Бургиной. Воспоминания И. Г. Церетели в ближайшее время выйдут в свет в пяти томах. РЕД.

го великого поколения первых революционеров, которые будучи сами безвестны народу, отдавали свои жизни за него.

Позднее я видел много грандиозных манифестаций в Европе. Но нигде, — даже в странах, тоже свергнувших троны, — не чувствовалась такая молодая вера в мощь революции, какая в этот день воодушевляла несметные толпы манифестантов в Петрограде.

Внутренние противоречия, о которые позднее разбилась русская революция, еще не успели развиться, и революция сохраняла свой всенародный характер. В этом единстве освобожденного народа была подлинная причина лучезарного ореола, который тогда окружал февральскую революцию. И хотя она не шла на штурм буржуазной системы внутри страны и капиталистических твердынь вовне, — своей подлинно революционной сущностью она импонировала всему цивилизованному миру несравненно больше, чем большевистская диктатура, пришедшая ей на смену в грохоте гражданской войны.

Но если дух единства с такой силой проявлялся в народных массах, то в руководящих кругах различных партий уже начали выявляться противоречия классовых интересов.

В тот самый день, когда народные массы с такой силой демонстрировали единство революционной России, в газетах появилось интервью министра иностранных дел Милюкова с представителями печати, в котором он вновь самым категорическим образом заявил, что Россия сохраняет старые цели войны, т. е. программу завоеваний и аннексий, как она была разработана при царском режиме.

Опубликование этих заявлений Милюкова на следующий день после принятия Исполнительным Комитетом решения с требованием, чтобы Временное Правительство отказалось от империалистской программы войны, произвело впечатление вызова, брошенного всей революционной демократии.

Совсем не случайно антагонизм, существовавший между двумя основными силами нового строя, между пролетариатом и буржуазией, прежде всего выявился в вопросах внешней политики... В обстановке, созданной революцией, когда на сцену выступили народные массы, часть буржуазии во главе с Милюковым в защите империалистской внешней политики продолжала видеть (как и до революции) не только средство борьбы за расширение границ государства, но и орудие укрепления своих классовых позиций внутри страны.

Она понимала, что не может с надеждой на успех открыто выступать против программы революционной демократии в области внутренних реформ. Всякие попытки с ее стороны ограничить аграрную реформу, или социальное законодательство, или политические свободы только восстановили бы против нее крестьян и солдат, — не говоря уже о рабочих, которые составляли главные кадры сторонников социалистических партий. Естественно, что в этих вопросах буржуазия должна была соблюдать осторожность, протестуя лишь против эксцессов массового движения, но остерегаясь выступать прямо против принципов демократической политики в области внутренних отношений.

Совсем иначе она расценивала положение в области внешней политики. Против программы демократического мира она надеялась с успехом играть на националистических чувствах, обостренных обстановкой войны. Оппозиция крайних групп, большевиков и интернационалистов, к политике национальной обороны, давала Милюкову и его сторонникам предлог, чтобы приписать подобное отношение к обороне страны также и всей социалистической демократии и спекулировать призраком пораженчества. Милюков и его сторонники надеялись даже вызвать раскол в рядах советской демократии, играя на том чувстве тревоги, которое часть демократии испытывала в отношении всей внешней пропаганды в пользу мира. Этой пропаганде они противопоставляли тезис о необходимости сохранения незыблемой старой программы целей войны и утверждали, что лишь такая линия поведения может сохранить мораль войск, а также предотвратить разрыв с западными державами. Именно этим способом, т. е. выступая в качестве единственных защитников страны против внешней опасности и эксплуатируя национальные страсти и тревогу за положение на фронте, они надеялись подорвать внешнюю политику демократии и обеспечить за собой решающее влияние на весь ход революции.

Такова была политика одной важной группировки буржуазии, представляемой в ту эпоху Милюковым. Но если указанные выше психологические факторы открывали некоторые возможности для успеха этой политики, то другие, более могущественные, действовали в противоположном направлении и определяли развитие более здравых идей в широких кругах буржуазии.

Концепция воинствующего империализма находилась в таком явном противоречии с демократическими настроениями,

охватившими всю революционную Россию, что даже в собственной партии Милюкова поднимались голоса против «бестактных заявлений» главы партии. Во Временном Правительстве большинство было явно недовольно выступлением министра иностранных дел, и Керенский имел возможность опубликовать 24 марта в газетах официальное сообщение с заявлением, что декларация Милюкова «выражает его личное мнение и ни в какой мере не отражает точки зрения Временного Правительства».

В этом не было, конечно, присоединения правительства к политике Совета, как не было и акта пересмотра прежней внешней политики, но это было уже благоприятным симптомом для начала предстоящих переговоров.

Готовясь к этим переговорам, мы ставили перед собой вопрос, способна ли буржуазия встать на почву соглашения с демократией, т. е. решительно отказаться от той политики, с которой она себя так тесно связала в предыдущий период.

Аргументы социалистического порядка, которые мы противопоставляли империалистской политике, не могли, конечно, находить отклика в этой среде. Но положение России было таково, что и с точки зрения чисто национальной борьба за демократический мир была лучшим способом защиты ее интересов. В самом деле, огромные жертвы людьми, потери материальные, дезорганизация промышленности и сельского хозяйства, явные признаки общей усталости населения, — все это было опасными симптомами, с которыми нельзя было не считаться. Было совершенно очевидно, что если война затянется, Россия будет не в состоянии нести ее тяготы, — ни материальные, ни моральные. В этих условиях, даже империалистские круги не могли не понимать, что проблематические территориальные приобретения не оправдывали тех реальных жертв, которые они накладывали на государство, когда каждый новый месяц войны наносил такие раны, которые залечивать нужно было десятилетиями.

С другой стороны, и относительно возможности укрепления позиций буржуазии внутри страны при помощи военного патриотизма, — большинство членов правительства видимо сознавало, как мало обоснована и эта надежда. Они не могли не понимать, что, отказываясь от соглашения с Исполнительным Комитетом по вопросу о целях войны, они идут навстречу разрыву с Советом и к борьбе, которая развернулась бы в условиях, дающих Временному Правительству очень мало

шансов на успех. Ибо уже и без того солдатские массы признавали Совет за руководящий орган в вопросах политики и подчинялись военным властям лишь поскольку революционные организации от них этого требовали. И не было никакого сомнения в том, на чью сторону встанет большинство армии в случае разрыва между Советом и правительством, — в особенности, если этот разрыв произойдет по вопросу об империалистических целях войны, которые были совершенно чужды стремлениям народных масс.

Все эти соображения заставляли нас считать, что соглашение с правительством возможно.

2. Переговоры между Советом и Временным Правительством по вопросу о войне

Первая встреча с Временным Правительством по вопросу о войне состоялась 24 марта в Мариинском дворце. Делегация Исполнительного Комитета состояла из Чхеидзе, Скобелева, Стеклова, Филипповского, Суханова и меня.

Прием, оказанный нам членами правительства, с внешней стороны был самым дружественным. В ожидании открытия официального заседания, завязался общий отрывочный разговор. Министры расспрашивали нас о нашей работе и обменивались с нами впечатлениями о вчерашней манифестации. Но сквозь внешнюю любезность нетрудно было разглядеть их внутреннюю настороженность и почувствовать, что они с холодной осмотрительностью выжидают наших заявлений. Это был мой первый контакт с членами правительства, — и он только укрепил уже создавшееся у меня впечатление, что в правящих кругах революции дух единения веял с меньшей силой, чем в народных массах.

После краткой беседы, кн. Львов открыл заседание. Чхеидзе сообщил, что Исполнительный Комитет возложил на нас задачу ознакомить правительство со взглядами Совета на вопрос о войне и поручил попытаться найти общую почву для соглашения. Чхеидзе огласил решение Исполнительного Комитета, требовавшее разрыва со старой империалистской программой и новой ориентировки всей внешней политики страны. Он добавил, что последние заявления министра иностранных дел только обострили в кругах революционной демократии сознание необходимости раз навсегда, с полной ясностью установить

внешне-политические задачи революции, — и что этими задачами, по мнению Совета, могут быть только оборона страны и установление общедемократического мира.

После Чхеидзе слово для ответа взял председатель правительства кн. Львов, речь которого для нас оказалась полной неожиданностью. Нельзя сказать, что он отнесся враждебно к нашим требованиям, но он, казалось, не отдавал себе отчета в том, что Совет ставит перед правительством коренной вопрос, ответ на который должен определить все отношения между двумя центральными органами революции.

«Подумайте, — говорил он недовольным и в то же время робким тоном, — как можно поднимать вопрос о целях войны, когда наши земли заняты неприятелем и все наши усилия должны быть направлены на их освобождение? Демократический характер нашей политики ясен всему миру. Кто может подозревать нас в желании затягивать войну дольше, чем это необходимо для обороны государства?».

Хотя и избегая прямо поставить вопрос о заявлениях Милюкова, кн. Львов довольно ясно давал понять, что эти заявления не отражают взглядов правительства и что из-за них не следует обострять конфликт. Этим своим заявлением кн. Львов думал покончить с вопросом о войне и предложил перейти к обсуждению других вопросов «более практического характера».

Кн. Львов имел за собой долгую карьеру крупного земского деятеля и завоевал общее уважение не только среди либералов, но и в демократических кругах своей работой по распространению образования среди масс крестьянства и по поднятию культурного уровня народа вообще. В этой области он показал себя организатором крупного масштаба, и этот престиж вознес его на пост главы первого революционного правительства. Но в области политики он чувствовал себя не на своем месте, — отсюда та уклончивость его поведения, к которой он прибегал во всех мало-мальски затруднительных случаях, и которая давала его противникам основание говорить о «византизме» его характера. Я имел возможность наблюдать его достаточно близко в течение первых месяцев революции, и впечатление, которое он на меня производил, ни в какой мере не подтверждало этого мнения. Его уклончивые манеры объяснялись не «дипломатничанием», а обыкновенной нерешительностью. Старинного дворянского рода, либеральный интеллигент, человек мягкого характера с

определенными демократическими настроениями, он оказался в самом центре революционных событий, питая явное отталкивание от политики, и всякий раз, когда он оказывался перед острыми конфликтами, он инстинктивно пытался уйти от них и укрыться в область «практической культурной работы».

В данном случае его попытка отделаться от вопроса, который стоял в центре внимания всей страны, так мало соответствовала положению, что его никто не поддержал.

Начался живой обмен мнениями. Мы старались объяснить правительству нашу позицию. Мы стремились не к полемике, — мы хотели только убеждать, и даже наш «крайний левый» Суханов, то ли потому, что он считал себя связанным решением Исполнительного Комитета, то ли потому, что сам увлекся характером обсуждения, не вносил диссонанса в общий тон наших выступлений.

«Мы не скроем от вас, — говорили мы, — что у нас есть свои мотивы социалистического порядка чтобы возражать против старой программы целей войны. Но обращаясь к вам, мы имеем в виду не эти социалистические принципы. Учтите, в каком положении находится страна. Вы можете быть несогласны с нашими общими взглядами на войну и не разделять наших надежд на успех мирной кампании. Но вы не можете не видеть, как сильна жажда мира в массах, которые объединились вокруг Совета. Разве можно в существующих условиях не считаться с этими настроениями? Как организовать оборону страны без морального контакта с массами и не проявляя желания итти навстречу их стремлениям? Не вы ли сами постоянно обращаете наше внимание на исчезновение старых скреп в армии и придаете решающее значение моральному влиянию Совета в вопросе сохранения фронта? Мы так же остро, как и вы, чувствуем необходимость укрепления нашего фронта. От этого зависит судьба страны и революции. Но у нас есть только одно верное средство оказать воздействие на массы, чтобы мобилизовать их на защиту страны, это — апеллировать к чувствам, которые нас с ними объединяют. Мы должны внушить этим массам уверенность, что новых жертв от них требуют действительно во имя спасения страны, во имя идеала мира и демократии, который их воодушевляет. Чтобы наши усилия в этом направлении не столкнулись с вашими, чтобы не был разрушен общенациональный единый фронт, столь необходимый

стране в этот критический момент, необходимо решительно отречься от старой программы, которая исключает возможность борьбы в пользу демократического мира, от программы, которая сделалась синонимом войны без конца и которая так непопулярна в рядах демократии».

Таковы были тон и содержание нашей аргументации.

В обсуждении приняли участие все члены правительства, — кроме Керенского, тогда министра юстиции, которого явно стесняла двойственность его положения социалиста, который вступил в правительство в индивидуальном порядке: входя одновременно и в Совет, и во Временное Правительство, он не хотел при столь серьезном расхождении между этими главными органами революции отмежеваться от одного или другого из них.

Из всех министров наибольшее стремление к сближению с нами выказали Некрасов и Терещенко, — и эти их усилия явно встречали сочувствие большинства их коллег.

Некрасов, в прошлом профессор, а затем приобретший большую популярность в качестве депутата Государственной Думы, принадлежал к левому крылу кадетской партии, и он не постеснялся выступить в печати против заявлений Милюкова публично, как и Керенский, осудив их. Высокого роста, крепко сложенный, с умным и энергичным лицом, он производил впечатление человека «американской складки», — практика, мало интересующегося вопросами идеологического порядка. К поставленной нами проблеме он подошел с ее практической стороны, сразу же поняв, что правительство может, не теряя своего национального характера, вступить на указываемый нами путь и тем обеспечить себе поддержку Совета. С удовлетворением отметив определенность нашей позиции в вопросе об обороне страны, Некрасов заявил, что, по его мнению это и есть то основное, что делает возможным соглашение, и настаивал на том, что правительство должно серьезно обсудить наше предложение и выработать приемлемую для нас декларацию.

Его горячо поддержал Терещенко, который, «чтобы быть откровенным с представителями Совета», заявил, что он не разделяет наших надежд на международное движение в пользу демократического мира, но, признавая, что советская демократия представляет собой большую силу, выражал готовность пойти ей навстречу во имя объединения страны.

В речах Некрасова и Терещенко имелись явные заострения по адресу Милюкова, но оба они протестовали скорее

против формы заявлений последнего, чем против того, что составляло их сущность — и та осторожность, которую они оба проявляли, избегая высказываться по существу вопроса и ограничиваясь только подчеркиванием необходимости «считаться с настроениями революционной демократии», показывала ту силу, которую идеи Милюкова имели даже над его противниками в рядах буржуазии.

Мы с особым интересом ждали ответа Милюкова. Он не замедлил вскоре выступить, — и хотя речь его была примирительной по тону и умеренной по форме, он тем не менее решительно высказался против нашего предложения. Обосновывая тезис о невозможности для правительства отказаться от старых целей войны, он ни словом не обмолвился ни об «исторических задачах России», ни о значении, которое он придавал вопросу о проливах. Свою аргументацию он основывал исключительно на настоятельной необходимости для новой России сохранить доверие ее союзников. Он подчеркнул, что германская пропаганда пользуется мирной кампанией Совета, чтобы приписать революционной России намерение заключить сепаратный мир. Декларация, издания которой мы требуем от правительства, — говорил он, — может быть истолкована союзниками, как начало сепаратной акции, подготовляющей разрыв с ними. Он, Милюков, в своем качестве министра иностранных дел, не может взять на себя ответственность за подобный акт.

Речь Милюкова была направлена не только против нас, но и против его коллег по кабинету, которые высказались за возможность соглашения с Советом, — и потому она вызвала живые реплики со стороны Терещенко, Некрасова и обер-прокурора Синода В. Львова, который до революции принадлежал к умеренной фракции буржуазии, но под влиянием событий превратился в сторонника самого тесного сотрудничества с революционной демократией. Все трое заявили, что они не разделяют непримиримой позиции Милюкова, — но их реплики еще явственнее показывали, как трудно давалась мысль о реальном изменении иностранной политики даже тем из представителей буржуазии, которые особенно стремились к сговору с революционной демократией. Взглядам Милюкова они противопоставляли лишь одну мысль о необходимости соглашения с нами, — но никто из них не решался при этом сказать, как далеко они намерены идти по этому пути. Все они ограничивались лишь повторением

заявлений, что правительство должно обсудить этот вопрос и обдумать формулу соглашения.

Речь Милюкова дала и нам повод еще определеннее уточнить нашу точку зрения. Мы подчеркнули, что и мы считаемся с международным положением России и потому весьма далеки от желания требовать от правительства шагов, способных привести к разрыву с союзниками. И в общих чертах мы изложили план борьбы за мир, как мы его мыслим: Россия, после заявления о своем отказе от завоевательных планов, тем самым, естественно получит основание просить союзников о пересмотре общей программы действий. Мы не рассчитываем убедить союзные правительства в правильности нашей точки зрения, но мы рассчитываем повлиять на общественное мнение союзных стран, с таким вниманием прислушивающееся к голосу русской революции, — открыв кампанию в пользу общедемократического мира. Официальным кругам союзных стран будет трудно оспаривать наше право обращаться к международному общественному мнению, поскольку они сами поощряют прямой контакт Совета с делегациями братских нам партий их собственных стран, думая тем самым повлиять на общественное мнение России. Что же касается до заявления Милюкова, будто Россия рискует разрывом с союзниками, если она откажется от своих завоевательных планов, то на этот довод Скобелев ответил репликой, которая вызвала у всех улыбки и на короткий момент разрядила напряженную атмосферу наших переговоров:

«Не вы ли сами, — сказал он, обращаясь к Милюкову, — по возвращении вашем из заграничной поездки, рассказывали нам о тех невероятных трудностях, которые вам, представителям общественного мнения России, пришлось преодолеть, чтобы заставить Англию признать притязания России на Константинополь. Но именно потому, что вы тогда так отчетливо дали нам понять, каких усилий вам стоило убедить Англию принять вашу точку зрения, — именно поэтому нам трудно допустить, что она теперь почувствует себя задетой, если Россия откажется от проливов».

Другим пунктом, на который напирал Милюков, был вопрос о настроениях, царящих в демократиях воюющих стран, — настроениях, которые, по его словам, должны привести к провалу предпринятой Советом кампании в пользу всеобщего мира. Чтобы доказать свою правоту в этом вопросе, Милюков начал анализировать линию поведения европейских социалистических партий, которые отказались принять нашу

точку зрения на войну. Особенно подробно он остановился на политике германской социал-демократии, которую он объявил глухой ко всем призывам к миру.

Мы ответили Милюкову, что не хотели бы втягиваться в спор с членами правительства по вопросу о политике европейских социалистов и не собираемся убеждать их в правильности тех соображений, которые позволяют нам надеяться на поворот в общественном мнении воюющих стран в пользу мира. — «Но допустим, — говорили мы, — что наши усилия повлиять на общественное мнение этих стран окажутся тщетными. Даже в этом случае принятие нашей программы будет иметь огромное положительное значение для революционной России: она положит конец внутренним трениям в нашей стране по вопросу о войне и заставит демократию сомкнуть свои ряды для достижения той единственной бесспорной цели, каковой является оборона страны. И эти усилия увенчаются тем большим успехом, чем яснее массы будут видеть, что политика правительства ведется в соответствии с их стремлениями».

Именно эта сторона нашей аргументации произвела впечатление на членов правительства, — даже на тех из них, которые принадлежали к его правому крылу. Шингарев, один из самых видных министров-кадетов, заявил:

«Если бы оказалось правильным, что в результате принятия правительством вашей программы Совет сможет пробудить энтузиазм в войсках в пользу защиты страны, я поддержал бы ваше предложение. Но можете ли вы это гарантировать?»

Тот же вопрос ставил нам военный министр Гучков, глава партии октябристов, т. е. наиболее консервативной фракции крупной буржуазии, присоединившейся к революции.

Мы им отвечали, что, конечно, никто не может заранее давать гарантии в успешности намечаемой политики, но что, зная настроения огромного большинства революционной демократии, мы можем вполне определенно поручиться, что Совет и его организации в стране и на фронте приложат все усилия к тому, чтобы укрепить фронт революционной России, ведущей борьбу за свое существование и за достижение общего демократического мира.

Этот ответ не вполне удовлетворил министров, но большинство из них даже их правое крыло, за исключением Милюкова, явно стали колебаться. Шингарев впоследствии не раз ссылался на этот разговор, признавая, что наша вера

передалась и ему и что именно поэтому он, в конце концов, согласился пойти нам на уступки.

Мы расстались с членами правительства, унося двойственное впечатление: нам было, с одной стороны, ясно, что идеология империалистической политики владеет умами всех представителей буржуазии, но в то же время у нас сложилось убеждение, что большинство членов правительства отдает себе отчет в необходимости считаться со стремлениями революционной демократии и понимает властную необходимость поддерживать единый фронт с нею.

Было решено, что правительство обсудит наше предложение и выработает свой ответ на него.

3. Заявление Временного Правительства о целях войны

26 марта председатель Временного Правительства князь Львов пригласил нас в Мариинский дворец для ознакомления с правительственной декларацией о целях войны.

На это заседание были приглашены также и члены Комитета Государственной Думы, — как в виду важности вопроса, так, вероятно, и с намерением напомнить нам, что свои полномочия правительство получило не только от Совета, но и от Комитета Думы.

По открытии заседания кн. Львов сообщил нам, что правительство, обсудив наше предложение, согласилось определить свою линию по внешней политике в духе принципов, провозглашенных революцией. Затем он огласил проект «Заявления Временного Правительства о войне», намеченного к опубликованию в виде обращения — «К гражданам», — в котором правительство, призывая народ напрячь все силы для обороны страны, давало такую формулировку целей войны:

«Предоставляя воле народа в тесном единении с союзниками окончательно разрешить все вопросы, связанные с мировой войной и ее окончанием, Временное Правительство считает своим правом и долгом ныне же заявить, что цель свободной России — не господство над другими народами, не отнятие у них национального достояния, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов. Русский народ не добивается усиления внешней мощи своей за счет других народов, как не ставит своей целью ничьего порабощения и унижения».

По своему тону, как и по своему общему содержанию, этот документ, казалось, шел навстречу стремлениям революционной демократии. Но в нем имелись неопределенные вы-

ражения, явно предназначенные для того, чтобы уклониться от ясного ответа по главному вопросу наших расхождений с Милюковым. Таковым было выражение «национальное достояние», которое совершенно явно было выбрано для того, чтобы оставить открытым вопрос о Константинополе и о славянских провинциях Австрии, которые националистическая печать требовала для России, ссылаясь именно на то, что эти территории не являются «национальным достоянием» Турции и Австрии.

Мы указали на этот недостаток точности, по самому главному пункту.

«Мы просили, — говорили мы, — чтобы правительство выступило с декларацией, которая устанавливала бы, что Россия отказывается от всяких притязаний на чужие территории. Вы же выработали документ, который, по своей общей фразеологии, правда, приспособлен к революционной психологии, но который, в результате отсутствия точности, оставляет широкое поле для всевозможных толкований, — включая и такие, которые позволят усмотреть в нем сохранение старой империалистской программы».

Мы поэтому предложили внести в текст декларации поправку, которая устраняла бы всякую двусмысленность в таких вопросах, как Константинополь и другие территории, на которые претендовала старая империалистская программа. А именно мы предложили ввести в текст документа фразу, гласящую, что Россия отказывается «от насильственного захвата чужих территорий». Только с этой поправкой, — говорили мы, — декларация получит значение документа, радикально меняющего политику России, и сможет стать легальной основой для предложения союзникам пересмотреть общие цели войны стран Согласия.

Милюков, который на этом заседании хотел показать себя более миролюбивым, взял слово для ответа прежде всего по этому последнему пункту, т. е. относительно возможности предложить союзникам пересмотреть договоры. Он выразил готовность официально обратиться к союзникам с этим предложением. Но он хотел сохранить за собой, как за министром иностранных дел, право выбрать момент, подходящий для такого выступления.

Мы, со своей стороны, не настаивали на немедленном обращении к союзникам, так как и сами считали полезным, чтобы новая программа внешней политики была сначала опубликована в форме декларации, которая обращалась бы к

народу. Мы знали, что такая программа будет с энтузиазмом встречена общественным мнением большинства страны, и это лишь лучше подготовит почву для переговоров с союзниками, — переговоров, в трудности которых мы прекрасно отдавали себе отчет.

Главным для нас в данный момент было внесение в декларацию поправки об отказе от территориальных приобретений, — и именно на этом пункте мы сосредоточили наши усилия. Но Милюков категорически отказался принять эту нашу поправку, и все члены правительства защищали первоначальный текст «Заявления». Было ясно, что прочитанный нам текст был выработан по соглашению с Милюковым теми министрами, которые высказывались за сговор с Советом, и что этот текст являлся максимумом уступок, которые они смогли получить от Милюкова.

Некрасов и Терещенко выражали свое удивление, что нас не удовлетворяют общие формулировки проекта декларации.

«Примите во внимание обстоятельства, при которых выработан этот документ, — говорил Некрасов. — С этой декларацией правительство выступает по инициативе и по настоянию делегации Совета. Это с очевидностью демонстрирует перед всеми намерение правительства удовлетворить желание революционной демократии. Именно так я сам понимал этот документ, когда голосовал за него. Вы тоже можете с чистой совестью именно в этом смысле толковать «Заявление» перед массами, — и это даст возможность вам, как и нам, продолжать политику единения, необходимость которого признается нами всеми».

Милюков не протестовал против этого предложения Некрасова, но он поспешил заявить, что, если мы его примем, то и он также, со своей стороны, сохраняет за собой право толковать декларацию в своем смысле.

Нельзя было с большей разительностью показать полное непонимание наших настроений, чем это сделал своим предложением Некрасов, который несомненно искренно желал достигнуть соглашения с нами. Мы в самых решительных выражениях ответили ему, что целью наших переговоров с правительством ни в коем случае не являются поиски подобия компромисса, который давал бы нам предлог в нашем смысле истолковывать политику правительства. Мы подчеркнули, что Исполнительный Комитет выступает в качестве выразителя самых глубоких стремлений революционной демократии, когда ставит перед правительством вопрос о реальном изме-

нении общего направления внешней политики. Поэтому поправка, которую мы вносим, является для нас *conditio sine qua non*. Мы заявили, что без этой поправки проект декларации теряет в наших глазах всякую ценность и что, если она будет опубликована в этой редакции, Совет сочтет себя вынужденным признать декларацию неудовлетворительной и объявить о непримиримости взглядов Временного Правительства и Совета по вопросу о целях войны.

Наша твердая позиция произвела видимое впечатление на членов правительства. Один только Милюков продолжал держать себя, как человек, всецело захваченный мыслью о сохранении во что бы то ни стало за Россией возможности территориальных приращений. Все остальные были склонны признать, что в том положении, в котором находится Россия, мысли об аннексиях должны отступить перед основной задачей объединения всех сил новой России для защиты страны. Именно в этом смысле высказался, в числе других, и военный министр Гучков, считавшийся, наряду с Милюковым, одним из главных столпов империалистской политики.

Но мысль о законности старых целей войны продолжала так сильно владеть умами представителей буржуазии, что нам приходилось преодолевать огромные трудности, чтобы получить уступки в этой области, хотя отказ от старой политики явно диктовался и общей обстановкой, и национальными интересами страны.

Наши дискуссии затянулись до двух часов утра. Мы знали, что, если правительство не пойдет на реальные уступки в области внешней политики, то кампания Совета в пользу всеобщего демократического мира примет характер борьбы против Временного Правительства, — борьбы, которая, наверное, приведет к его падению. А так как в правительстве были представлены все фракции буржуазии, которые примкнули к революции, то образование нового правительства, способного оберечь страну от сильных внутренних конфликтов, окажется связанным с огромными трудностями.

О степени напряженности, которая создалась в ходе этих переговоров, лучше всего можно судить по следующему эпизоду, печальное воспоминание о котором навсегда останется в моей памяти. Около полуночи Чхеидзе был вызван к телефону: его жена сообщила ему, что их единственный сын тяжело ранен выстрелом из ружья, которым он играл с товарищами. Когда Чхеидзе после этого разговора вернулся на заседание, он еле держался на ногах. Передавая мне по-

лученное известие, он высказал уверенность, что его сына уже нет в живых. Но ему и в голову не пришло покинуть заседание, на котором решался столь жизненный для революции вопрос. Он оставался до конца переговоров, — и только после их закрытия, в два часа ночи, я проводил его домой, где он нашел бездыханный труп сына.

Мы расстались с членами правительства, не придя ни к какому соглашению.

На другой день мы сделали доклад Исполнительному Комитету о результатах наших переговоров. Доклад вызвал глубокое волнение. Все понимали, что в этом вопросе мы не можем уступить правительству и — что конфликт становится неизбежным.

Без дебатов и единогласно Исполнительный Комитет постановил считать правительственную декларацию неудовлетворительной. Но едва мы приступили к обсуждению вопроса, что же делать дальше, как кн. Львов сообщил по телефону, что Временное Правительство пересмотрело вопрос и приняло нашу поправку. Вскоре затем нам принесли документ, в котором после слов «цель свободной России — не господство над другими народами, не отнятие у них национального достояния» стояло, вписанное красным карандашом: «ни насильственный захват чужих территорий».

На следующий день «Заявление Временного Правительства о войне» было опубликовано и вызвало широкий отклик в стране. Это была первая декларация, сделанная одной из воюющих великих держав, с заявлением о своем отказе от захватных притязаний, формулированных ею в ходе войны. Нужно вспомнить, какими твердыми и незыблемыми, несмотря на переменчивость положения на фронтах, были империалистические формулы воюющих стран, чтобы отдать себе отчет в впечатлении, которое произвел в стране этот крутой поворот во взглядах буржуазии, до этого времени столь непримиримой и фанатичной в своих империалистических стремлениях.

Исполнительный Комитет постановил приветствовать декларацию, как показатель вступления правительства на путь, намеченный демократией, рассматривая ее, как первый этап на этом пути. Вся социалистическая печать, без различия оттенков, — органы меньшевиков, интернационалистов, социалистов-революционеров, точно так же, как и органы центрального Совета и провинциальных советов оценили этот документ в том же смысле, как победу демократии. Бесчис-

ленные собрания по всей стране приветствовали это заявление правительства, как переход к демократической внешней политике. И не одни только социалистические собрания высказывались в этом духе: так, например, общее собрание союза офицеров-республиканцев высказало свое удовлетворение тем, что «сделан первый шаг к отказу от завоевательных задач, поставленных старым режимом».

Что же касается до большевиков, то их растерянность была так велика, что «Правда» была единственной в России газетой, которая в день опубликования «Заявления» правительства вышла без каких-либо к нему комментариев. И только на следующий день «Правда» возобновила свою обычную кампанию, высказывая сомнения в искренности намерений правительства отказаться от старой политики и выполнять принятые обязательства. «Как могло случиться, — спрашивала «Правда», — что еще накануне заявивший себя открытым империалистом, требовавший Константинополь и проливов и т. д., Милюков подписал заявление?»

Милюков действительно не замедлил оправдать, в отношении себя, эти предсказания большевиков, сделав, спустя несколько недель, попытку взять обратно уступку, которую у него вырвали силой, — попытку, которая привела к его отставке. Тем более интересно посмотреть, как он позднее, в качестве историка, объяснял мотивы, заставившие его подписать «Заявление» от 27 марта.

В своей «Истории второй русской революции», рассказывая о наших переговорах 26 марта по вопросу о декларации, Милюков цитирует основной параграф этого документа о целях войны, но при этом приводит не первоначальный текст его, вокруг которого шли споры, а тот окончательный текст, который включал нашу поправку и был принят правительством на следующий день, — и к этому последнему тексту он относит все наши возражения, которые мы делали против первоначального текста, раскритикованного нами за недостаток точности и ясности. Эта подстановка текста позволяет Милюкову утверждать, что мы сами признали, во время переговоров о декларации, что окончательный текст не содержит никаких реальных уступок.

«Тогда, — продолжает Милюков, — Некрасов указал им (представителям Совета), что для них же выгоднее истолковать уклончивые выражения акта в своем смысле, как уступку правительства, и на этом основании поддержать «Заявление». Эта тактика и была принята социалистической печатью. П. Н. Милюков заранее вы-

говорил себе право, в случае, если заключенный компромисс будет толковаться односторонне, толковать его в своем смысле и раскрывать неопределенные выражения в направлении прежней своей политики, согласной с политикой союзников и с национальными интересами России». (т. I, 1921 г., стр. 86-87).

Так передает Милюков историю наших переговоров, обходя молчанием основной пункт — борьбу вокруг поправки о территориальных захватах, — борьбу, исход которой, на самом деле, определил подлинный смысл декларации.

Когда Милюков-историк, движимый настроениями былой страстной борьбы, подобным образом описывает события, он только применяет те же самые приемы, к которым прибегал Милюков — политический деятель. Этот последний, изо всех сил сопротивляясь каждой уступке, которую правительство делало Совету, объявляя их опасными для самого существования государства, не раз бывал, однако, вынужден отступать перед решением большинства своих коллег, настроенных более примирительно. Но он всегда старался взять реванш, поднимая бунты против ранее принятых обязательств и post factum объявляя, что сделанные уступки не имеют никакого реального значения, — уступки, против которых он в свое время так упорно боролся именно потому, что придавал им слишком большое значение.

Позднее, когда антагонизм между буржуазией и Советом обострился, непримиримая политика Милюкова нашла значительную поддержку в буржуазных кругах. Но в период, который я теперь описываю, он был изолирован, и буржуазная печать в своей большей части приветствовала состоявшееся соглашение и толковала его как решение правительства отказаться от старой завоевательной программы. Эта точка зрения отражала настроения огромной части буржуазии, почувствовавшей облегчение при виде установившегося согласия между Советом и правительством по этому основному вопросу. Характерно, что «Русская Воля», весьма распространенный тогда орган крупной буржуазии, писала о «Заявлении» 27 марта в восторженных тонах, видя в нем залог «союза Совета с Временным Правительством в реальном творчестве, творчестве новых путей истории». И даже «Речь», официальный орган партии, возглавляемой Милюковым, сочла себя обязанной, несмотря на все оговорки, признать, что «воззвание кладет рубеж между старой и новой внешней политикой» и что «оно не может не отразиться и вовне».

И. Г. Церетели.

ДВА ЮБИЛЕЯ

Текущий 1962-й год можно считать вдвойне юбилейным в русской истории. На этот год падает 1100-летие русского государства, — как его основанье рассказано в начальной летописи и в общем принято в русскую традицию. И кроме того на него падает 150-летие Отечественной Войны 1812 г., которая ознаменовалась одним из славнейших подвигов русской нации: вторгшиеся на ее территорию полчища противника, которые вначале почти втрое превосходили русские силы, были уничтожены, а остатки их бежали.

Первый из этих юбилеев, как ныне твердо установлено, датирован неточно. Наша начальная летопись, которая, вообще говоря, принадлежит к числу наиболее точных источников знанья о тех временах, запоздала со своим счетом на 6 лет, что устанавливается сравненьем с другими источниками, византийскими, западными и арабскими. К тому же, события, отнесенные к 862 г. сами по себе не вполне оправдывают применение к ним термина «начало русской государственности». Призванье варягов, через несколько лет после их изгнанья, отнюдь не кажется мне столь невероятным, как это иногда утверждают. Можно предположить, что в Новгороде боролись две партии, одна проваряжская, а другая стоявшая против них. Сначала победила было вторая, с хорошо известными результатами. Тогда вступил в силу закон «круговращенья элит» (термин Парето), который долгое время господствовал в политической жизни Англии, где в течение двух с лишним столетий к власти поочередно приходили либералы и консерваторы. Так и в Новгороде: проваряжская партия победила и призвала к власти иноплеменников, которые были далеко не неизвестной величиной: они не только правили было Новгородом, но заселяли южный берег Ладожского озера, часть побережья Ильменя, значительную часть бассейна верхней Волги, а также жили по Сев. Донцу и Дону. В настоящее время довольно точно установлена и личность Рюрика.

Некоторые русские ультра-националисты, которых немало в эмиграции, вопят о легковерии русских ученых по отношению к германским источникам, говорят даже о клевете на русский народ. Напомню, что случаями основания государств с участием иноземцев полна всемирная история. Приведу один пример: в 1066 г. норманы (т. е. те же варяги), поселенные французским королем в той части французской земли, которая и до сих пор слывет под именем «Нормандия», с помощью авантюристов, созванных со всех концов земли, завоевали Англию и создали английское государство; и не только государство, но и язык, в котором сочетаются тевтонские (англо-саксонские) корни, которые до того времени господствовали в Англии, с латинскими корнями, которые тогда господствовали во Франции — за два столетия подлинные норманы были совершенно покорены французской культурой. Но англичане нисколько не стыдятся такого прошлого. А у нас русских еще меньше оснований стыдиться норманского участия в создании русского государства, так как на русской культуре, на языке, участие варягов в основании государства почти не отразилось.

Но в действительности в 856 г. (862 по летописи) русского государства еще не образовалось; возникло лишь прочное новгородское княжество. Напомню, что государственность на русской земле установилась на много столетий раньше. Но эти, кстати сказать, эфемерные государственности были иноплеменными и на дальнейший ход русской истории почти не повлияли. Подлинным началом русского государства было завоеванье Олегом Киева с переносом туда столицы. По летописи, это произошло в 879 г., на самом же деле на три или четыре года раньше. Киевское государство впервые объединило все 12 восточно-славянских племен, о которых упоминает летопись. Это не было ни великорусским, ни украинским, ни белорусским государством, а государством древне-русского народа, еще не разделившегося на эти ветви. На первых порах власть киевского центра не вполне устранила старинные княжества, возникшие было в отдельных племенах. Понадобилось еще 100 лет и несколько войн, чтобы киевская власть стала подлинно «всероссийской».

Таким образом, нельзя точно установить даты, когда было основано русское государство. А затем возникла «удельная система», при которой Россия была опять разбита на части, в известной мере подчиненные киевскому, теперь уже великокняжескому престолу. Можно однако утверждать, что приблизительно за триста лет, когда центральная власть пре-

бывала в Киеве, восточно-славянские племена, перечисленные в летописи, культурно слились воедино. Это культурное объединенье произошло тем легче, что Киев был в тесном общении с Византией, тогдашним центром европейской культуры; тем самым русская культура обособилась от западных «латинских» культур, для которых центром понемногу стал Рим. Хотя в истории не следует оперировать догадками по формуле — что было бы, если бы — можно думать, что если центром русской культуры стал бы Новгород или какой-либо крупный город в средней части «великого пути из варяг в греки», то русская культура могла бы развиться в какую-то ветвь тевтонской культуры, ибо там варяги могли сыграть более значительную роль, нежели в Киеве.

Итак, русская государственность действительно возникла за последнюю четверть IX века. Мы лишены возможности более точной датировки времени рождения своей государственности, чем располагают немцы и французы; для них 843 г., когда состоялся верденский договор, окончательно разделил империю Карла Великого, с сохранением между ними нежизнеспособной Лотарингии, из-за которой впоследствии велось столько войн. Но так как в русскую культуру крепко вросла дата «862», то вероятно и в будущем она удержится.

Когда вспоминают даты рожденья или смерти крупной исторической личности, то редко удовлетворяются установлением времени и места рожденья или смерти, а обыкновенно приводят и другие данные. Так же следует поступить и нам. Мы не можем не задаться вопросом — что именно сделала эта государственность?

В этом отношении литература дореволюционного времени конечно сделала крупные вклады в историографию; стоит только назвать Карамзина, Сергея Соловьева и Ключевского, и вспомнить, что они, в особенности последний, создали вокруг себя целые плеяды учеников, подражателей и продолжателей. Но еще больше писателей перевели вопрос в плоскость политики. Одно крыло составили славянофилы, которые склонны были превозносить русскую историю и признавать за ней какое-то мистическое значенье для всего человечества. Отголоски таких настроений чувствуются даже в высказываньях некоторых высокообразованных лиц; да простит мне Н. И. Ульянов, который выступил с блестящей речью 13-го мая с. г., посвященной обсуждаемому юбилею, — с некоторыми его сужденьями я никак согласиться не могу, напр. с его утверждением, что самодержавие никогда не

действовало против народных интересов. Историческая необходимость самодержавия вполне очевидна — через полосу самодержавия прошли и Германия, и Франция, и даже Англия. Но нельзя же отрицать, что Людовик XIV бессмысленно расточил силы французской нации в ненужных войнах своего 72-летнего царствования. В нашей русской истории император Петр III по чисто эмоциональным причинам примирился с королем Фридрихом II прусским, когда тот был почти окончательно разбит, что привело бы к крушенью Пруссии, будущего оплота того милитаризма, который вызвал обе мировые войны. Необходимость «спуска на тормозах» была ощущаема еще императором Александром II, который и провел бы его, если бы не одна из самых страшных трагедий русской истории, убийство Царя-Освободителя революционерами, что привело к внутреннему застою на 25 лет, как раз тех лет, которые были отмерены исторической судьбой для перехода России мирным эволюционным путем на более высокую ступень развития. Нельзя также согласиться с сужденьями Н. И. Ульянова о том, что Россия с древних времен привыкла к дружественному сосуществованию русских и иноплеменников, или с его отрицаньем того факта, что после петровской реформы русская православная церковь попала в зависимость от государства; тот, кто знает, что делалось во времена Победоносцева и опять под самый конец последнего царствования, когда первоиерархом русской церкви стал Питирим, недостойный ставленник Распутина, со мною согласится...

На другом фланге стояли не «западники», а «хулители» России, бывшие на крайней левой, к которым однако нередко присоединялись и многие лица умеренных воззрений. Многие из них, попав в эмиграцию, поняли, как жестоко они ошибались. Русские суды оказались на деле выше французских или немецких. В русских судах судебные коллегии были действительно нейтральными третьими между обвинителем и обвиняемым, тогда как во Франции председатель суда подвергает обвиняемого допросу, при том почти всегда в помощь прокурору. Наша каторга оказалась менее жестокой, чем французская ссылка в Гвиану. А главное, в сравненьях с Западом обыкновенно отсутствовало «историческое измеренье». Наш капитализм, бывший еще в ранней стадии развития сравнительно с «после-марксистской стадией развития» (выраженье харвардского проф. Улана), тем не менее, уже воспринял тогда такие институты, как фабричная инспекция, запрет детского и ночного женского труда, а под конец и при-

нудительное страхованье от болезней и инвалидности, причиненной несчастными случаями.

Между группами хвалителей во что бы то ни стало и хулителями была группа, которую можно было бы назвать «умеренными западниками»; они признавали, что Россия во многих отношеньях отстала от Запада, и настаивали на постепенных социальных реформах, но отнюдь не на социальной революции, равно как на переходе к более высоким политическим формам, чем установленные Основными Законами 1906 г. Но, главное, на чем они настаивали, это на широком развитии народного образованья на всех ступенях, необходимость чего еще раз подтвердил опыт «новейших демократий», ибо народное образование является условием восприятия сущности демократии, а не просто какой-то шелухи, покрытой демократическими терминами.

Идя назад от современности к более ранним векам, мы можем установить, что русская государственность за 1100 лет своего существованья многократно воспринимала отдельные элементы будущей демократии, но по стечению обстоятельств не смогла превратить их в твердые и связанные между собою институты. Добрая воля была проявлена многими русскими монархами, даже Иваном Грозным в первую, светлую полосу его царствования; но методы далеко не всегда были удачны. А когда решительные меры были приняты в эпоху Великих Реформ, то принципиальные хулители не только не поняли их значенья (хотя Герцен и написал тогда свою знаменитую статью «Ты победил, Галилеянин»), но усердно принялись за травлю тех, кто ясно понимал необходимость решительных перемен в строе России, к тому времени явно обветшавшем. Но судьба была неблагоприятна России: 1-го марта 1881 г. Освободитель пал жертвой крайних революционеров, как раз в тот день, когда он собирался издать указ о созыве постоянного представительства земств в государственном центре. Вообще говоря, действия огульных хулителей русского прошлого и настоящего сильно способствовали тому, что самодержавие задержалось в России после того, как остальные государства Европы перешли к иным режимам.

Как и в других странах, опыт России показал, что формула, приравнивающая самодержавие к максимальной военной мощи, когда-то правильная, при изменившихся условиях оказывалась ошибочной. Это проявилось во Франции при Людовиках XIV и XV, в Англии при Георге III (американская война), в Германии при Вильгельме II и Хитлере. В России, Александр I чуть было не погубил армию, оставаясь с двором

при ней. И в последующие царствования много ошибок в выборе командного состава было сделано в связи с тем, что этот выбор был в руках одного лица, которое могло быть настроено в самом благожелательном духе, но конечно часто оказывалось под влиянием придворного персонала, преследовавшего чисто эгоистические цели, или же судившего о многих вопросах, имея лишь смутное понятие о них.

А объективно над Россией продолжал висеть напор врагов. Долго это был напор с Востока, но за последние столетия преимущественно с Запада. Это подводит нас ко второму юбилею, живущему в русских сердцах. Это — 150-летие Отечественной войны, значенье которой ныне затемнено в известной мере Второй Отечественной войной, т. е. победами над полчищами Хитлера. Велик подвиг России в войну 1939-45; но он не должен затмевать ореол славы, озарившей русские знамена в 1812 г. Не будем останавливаться на вопросе — кто в ней виноват, Наполеон или Александр. Во Франции школьникам еще недавно преподавали, что в 1812 году Александр «обманул» Наполеона и вынудил его вторгнуться в Россию, тогда как русские историки доказывают, что Наполеон злостно нарушил условия Тильзитского мира. Отметим лучше, что руководство русскими силами стояло на большой высоте; не только Кутузов, но и его предшественник Барклай-де-Толли избрали план, предуказанный русской историей еще с мифических скифских времен — затянуть врага вглубь страны и там, собравшись с силами, одолеть противника по возможности без больших сражений, но при всесторонней поддержке народа; как известно, Наполеон надеялся на крестьянские восстанья, которые подкопались бы под русскую мощь. Но их не было.

Напомню о том, что войну 1812 г. завершили войны 1813 и 1814 г.г. На русских верхах того времени было два мненья; одно — изгнав вторженца из своих пределов, Россия могла успокоиться; другое — продолжать борьбу до полного обессиленья противника. Первое мнение было более популярно, т. к. сулило немедленный мир. Император Александр I принял однако второе, и правильно поступил: французская военная машина была настолько сильна, что, несколько оправившись, Наполеон мог бы вторично двинуть ее против России. Такими частичными атаками полны были кампании 1813 и 1814 г.г. После взятия Парижа 18-го марта 1814 г. вопрос был окончательно решен.

По окончании этих войн, чуть было не началась братоубийственная война одной части коалиции 1813-14 г.г. против

другой. Это удалось предотвратить. На венском конгрессе Александр I предложил европейским монархам заключить Священный Союз против войны. Это было первой в европейской истории попыткой организовать мир, т. е. разрешить проблему, легшую в основу Лиги Наций, а потом ООН. Эта первая попытка была неудачна, потому что никакой постоянной организации создано не было — присоединившиеся к Священному Союзу монархи вместе со своими министрами съезжались здесь и там, по мере надобности. Но не слишком удачными оказались и только что упомянутые организации нашего времени. Проблема вечного мира много труднее, нежели первоначально представлялось. Но в те времена вину в неудаче никак нельзя было возложить на Россию, правительство которой было вполне удовлетворено приобретениями, сделанными с 1809 г. Это были Финляндия, Бессарабия, Царство Польское. Это последнее приобретенье оказалось роковой ошибкой. По нынешним понятиям, России совсем не следовало в какой-либо форме приобретать чисто польские земли. Нужно однако помнить, что принцип национальности, как одно из важнейших оснований при распределении территорий между государствами, тогда был только в зародыше и считался революционным, тогда как венский конгресс был под господством принципа «легитимности», который однако не мешал перетасовке земель и народов по формуле — дать каждому государству приблизительно столько же земли и народа, сколько у него было до революции; только Россия, за которой никто не отрицал первенствующей роли в сокрушении врага, получила право увеличить свои владенья. К тому же в те времена, в сущности, никто не знал, из кого (этнически) состоит населенье той или иной провинции и ее подразделений.

Не будем гадать о том, что принесут России грядущие годы. Но примем, как доказанную истину, что в прошлом российского государства, за 1100 лет его существованья, были и великие успехи, и тяжкие пораженья, что многое, как и другим нациям, было навязано России внешней обстановкой и минувшими судьбами, что периоды быстрого прогресса чередовались с длительными периодами застоя. Мы тогда почувствуем, что у нас нет оснований ни для того, чтобы превозносить Россию за всё, что было, ни тем паче утверждать, будто в России всё и всегда было хуже, чем где-либо.

Н. С. Тимашев

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯСЯ ЕВРОПА

ОБЩИЙ РЫНОК

Из двух мировых войн континентальная Зап. Европа вышла разоренной, с угасшей верой в возможность возрождения. Особенно пострадала Германия, главная виновница войны, оказавшаяся разделенной на западную и подсоветскую. Захват восточной Европы коммунизмом и висящая над западом угроза дальнейшей агрессии усилившегося СССР дополняли безвыходность западно-европейского тупика.

Но не успела война окончиться, как в обнищавшей Зап. Европе стали пробиваться ростки возрождающейся новой жизни. Это стало и продолжает быть возможным, благодаря охране ее военной мощью США. Помощь тех же США дала начальный толчок ее экономическому возрождению. Уже в июле 1944г. в Бреттон-Вудс (США) состоялась валютно-финансовая конференция 44 наций, создавшая под покровительством еще только намечавшейся ООН Международный валютный фонд для краткосрочной помощи по выравниванию платежного баланса и Международный банк восстановления и развития для выдачи долгосрочных ссуд. США, Великобритания и другие страны финансировали их в меру своей возможности.[1] В конце 1958 г. сумма первых ссуд равнялась 3,2 мрд. дол., а вторых — 3,6 мрд. д. Кроме того уже в 1946 г. США дали Великобритании ссуду в 4,4 мрд. д. на льготных условиях.

Параллельно предпринимались шаги по восстановлению еще до войны нарушенной торговли. Для этого пытались создать «Международную организацию торговли», но выработанный в Гаване проект ее не был ратифицирован и вместо нее родилось в 1947 г. в Женеве менее связывающее «Генеральное соглашение о тарифах и торговле». Оно охватило 38 государств, и дополнительно еще 7, с 2/3 мировой торговли и имело в виду понижение тарифов и других торговых ограничений, равно как подтвердило клаузулу о наибольшем благоприятствовании.

На это же время приходится заключение в 1948 г. подготовленного еще во время войны беженскими правитель-

ствами в Лондоне, первого экономического объединения, охватившего Бельгию, Нидерланды и Люксембург (Бенилюкс). Оно лишь присоединило Нидерланды к существовавшему с 1921 г. союзу Бельгии и Люксембурга. Бенилюкс явился таможенным союзом со свободной торговлей внутри и внешним общим тарифом. Одновременно шло заключение широких международных соглашений о торговле отдельными продуктами (напр., в 1949 г. о пшенице и др.).

Но в это время произошло другое, важное для дальнейшей судьбы зап.-европ. государств, событие. 5 июля 1947 г. тогдашний государственный секретарь США ген. Маршалл в адресе, прочитанном в Харвардском университете, обещал помощь США разоренным европейским государствам и предложил им выработать план этой помощи. В ответ в Париже 16 государств (кроме приглашенных, но занявших резко отрицательную позицию СССР и коммунистических стран, вскоре организовавших в противовес Коминформ) образовали комитет для выработки «Европейской восстановительной программы», получившей название «Плана Маршалла». Комитет работал в согласии с учрежденной в США «Администрацией экономической кооперации», вскоре замененной другими органами по заведыванию оказываемой помощью. Помощь США началась уже в конце 1947 г. (Франции, Италии и Австрии), а 3 апреля 1948 г. президент Труман подписал закон об оказании помощи пострадавшим государствам, по которому потекли в Европу те миллиарды, которые помогли ей стать на ноги.[2] План Маршалла вместе с тем содействовал объединению Зап. Европы в виде созданной в связи с ним 18 апреля 1948 г. «Организации европейской экономической кооперации» (ОЕЭК). В нее вошли 16 государств. Зап. Германия сначала была представлена оккупационными властями и включена была в 1955 г. Испания в 1959 г. Организация эта имеет периодически собирающийся Совет и постоянный Исполнительный комитет в Париже, принимающий решения единогласно, иначе они не обязательны для несогласных с ними государств. Первоначальной задачей этой организации было планирование и распределение помощи по плану Маршалла, по истечении же срока этого плана она осталась для снижения таможенных барьеров и восстановления хозяйства ее членов. Ею же в 1950 г. был создан «Европейский платежный союз», финансированный США и служивший расчетной палатой для ее членов. После перехода большинства государств к свободно обратимым валютам он был заменен «Европей-

ским валютным соглашением». Благодаря американской помощи и деятельности ОЕЭК, страны, входящие в эту организацию, уже к 1950 г. и еще более к 1953 г., т. е. еще до возникновения позднейших сообществ, по величине национального продукта и потребления на душу обогнали свой довоенный уровень 1938 года. Наравне с ОЕЭК по Брюссельскому договору 5 мая 1949 г. был создан из тех же государств «Совет Европы», включивший Германию в 1951 г. и Австрию в 1956 г. Его задачей было — содействовать единству Европы путем «обсуждения вопросов общего значения и согласования действий в экономической, социальной, правовой и административной областях». Но его органы — Общее собрание и Комитет министров — имеют лишь совещательный характер, никакой передачи части суверенитета этим органам не было. Для военной же обороны Европы свободные страны континентальной Европы, Великобритания и США заключили 4 апреля 1949 г. «Северо-атлантический пакт» (НАТО), в котором первоначально участвовали 12 государств, с 1952 г. также Греция и Турция, а с 1955 г. и Зап. Германия.

Всё это подготовляло крутой поворот в истории Зап. Европы, начавшийся с 1950 г. Утихает вековая вражда между Францией и Германией. Проявляется сознание, что отдельные зап.-европейские государства слишком малы и слабы. Новейший прогресс техники открывает почти неограниченные возможности, но ни одно отдельное зап.-европейское государство не может использовать его в должной мере. В мире идут жестокие состязания, требующие от состязающихся высокого динамизма и быстрого роста. Но опять-таки отдельные малые государства не в состоянии развить этот динамизм и добиться такого роста. Из этого был сделан естественный вывод о необходимости объединения зап.-европейских государств, и прежде всего Франции и Германии, в более крупное экономическое сообщество. Так в 1950 г. возник план французского м-ра иностр. дел Роберта Шумана объединить французскую каменно-угольную и металлургическую промышленность с аналогичными отраслями Германии и других зап.-европейских стран: знаменитый «план Шумана». Объединение производства таких основных продуктов, как уголь и сталь, было тем более необходимо, что оно было разделено границами, и объединение его было тем легче, что всё оно было сконцентрировано на небольшом пространстве. 18 апреля 1951 г. шесть стран — Франция, Германия, Италия и три страны Бенилюкса — заключили на 50 лет вступивший в

силу 25 июля 1952 г. договор о «Европейском сообществе угля и стали» (ЕСУС). Великобритания отказалась войти, но заинтересованная в вопросах угля и стали заключила с ЕСУС 21 декабря 1954 г. соглашение о союзничестве. Основатели ЕСУС считали, что объединение запасов основных хозяйственных элементов, подчинение контроля над производством и распределением этих важных продуктов единой наднациональной власти и создание для этого хозяйственного сектора общего свободного рынка не только оживит эту промышленность, но вместе с тем явится первым этапом в экономическом и политическом объединении Европы.

Согласно принципу разделения властей, ЕСУС имеет 4 органа, образующих для своего сектора своеобразную федеративную систему. Органы эти:

1) Высший орган — административный орган из 7 членов, избираемых Советом министров и представляющих интересы сообщества, как целого. Задачи Высшего органа: проведение в действие договора 1952 г., установление для данного хозяйственного сектора общего рынка, свободного от дискриминаций, и охрана свободной конкуренции от монопольных поползновений групп и картелей. Вопреки советским утверждениям, что ЕСУС представляет собой объединение монополистов, строгость предписаний договора 1952 г., грозящих монополиям штрафами до 10% годового оборота и продажей имущества, полученного в результате монополии, не имеет прецедентов в Европе. Высший орган также определяет производство, цены, экспорт и импорт, программы модернизации предприятий, облегчает переход рабочих к новым условиям и помогает безработным. Для покрытия расходов он может взимать до 1% ценности продукции предприятий. При нем состоит Консультативный комитет из 51 члена, назначаемых Советом министров в равном числе от предприятий, рабочих и потребителей.

2) Совет министров, в который входит по одному представителю от правительства каждого государства. Он согласует политику сообщества с политикой отдельных государств, является в общем консультативным органом, но в ряде случаев его согласие на меры, предпринимаемые Высшим органом, обязательно и не редки случаи расхождения между ним и Высшим органом.[3] Решения Совет министров выносит простым большинством, но в исключительных случаях требуется единогласие.

3) Общее собрание, первоначально состоявшее из 78 членов, избираемых парламентами стран-участниц. Оно рассматривает отчет, ежегодно представляемый Высшим органом, и может сместить этот орган, вотировав ему недоверие двумя третями голосов.

4) Суд из 7 членов.

США поддержали сообщество ссудой в 100 мил. д. на 25 лет, что помогло ему восстановить и модернизировать предприятия. Это дало быстрый рост производства стали с 48,0 мил. т. в 1954 г. до 72,8 мил. т. в 1960 г., т. е. увеличило его за 6 лет на 52%.[4]

Другой организацией, расширившей экономическое сообщество и общий рынок на все хозяйственные секторы, явилось «Европейское экономическое сообщество» (ЕЭС), иначе называемое «Общим рынком». Оно объединяет те же шесть государств, что и ЕСУС. Это до сих пор наиболее полное экономическое объединение Европы, имеющее тенденцию перерасти в политическую интеграцию ее. После Германского таможенного союза 1834 г. и объединения Германии и Италии в 19 столетии это самое значительное свободное объединение европейских государств. Оно больше Бенилюкса по объему и выше по степени объединения. Оно меньше ОЕЭК по объему, но выше его по степени объединения, так как устанавливает не только свободный внутренний рынок, но и общий внешний тариф и управляется наднациональными федеративными органами. Наконец, в отличие от ЕСУС оно обнимает все секторы народного хозяйства. Но оно воспользовалось примером и опытом ЕСУС. Договор о создании ЕЭС был выработан под руководством бельгийского министра иностранных дел П. Спаака на конференциях в Мессине в 1955 г. и в Венеции в 1956 г. Заключен он был в Риме 25 марта 1957 г. и вступил в действие с 1 января 1958 г. По этому договору государства-члены обязуются:[5] 1) в течение разделенного на 3 стадии периода в 12-15 лет, в мае 1960 г. значительно сокращенного, отменить тарифы и квоты в торговле между членами, 2) постепенно ввести общий тариф для не-членов, 3) отменить ограничения для передвижения внутри сообщества труда, капитала и предпринимательства,[6] 4) допустить к общему рынку колонии и территории, связанные с членами сообщества, 5) запретить частные картели кроме случаев, когда они содействуют техническому и экономическому прогрессу, 6) координировать валютную и фискальную политику, платежные балансы, занятость труда и стабилизацию цен, 7) установить общую сель-

скохозяйственную политику, 8) учредить Инвестиционный банк для Европы и аналогичный фонд для развития союзных внеевропейских стран, 9) согласовать социальную политику, равно как жизненные и рабочие условия внутри сообщества, 10) учредить Социальный фонд для помощи лицам, пострадавшим от свободы торговли внутри сообщества. Это много больше, чем таможенный союз, но еще не законченный экономический союз, так как нет общей валюты и остается много различий в разных областях политики отдельных стран. Но с другой стороны, есть тенденция перешагнуть пределы чисто экономического союза.

Органы ЕЭС аналогичны органам ЕСУС, а именно:

1) «Комиссия», как высший административный орган. Она состоит из 9 членов, назначаемых на 4 года правительствами государств-членов, имеет ряд «директоров» и громадный штат из 1800 чел. Вообще объединяющаяся Европа уже развила крайне многочисленную бюрократию от низших до самых высоких рангов. Решения в Комиссии выносятся простым большинством, но Совет министров имеет право вето. Находится она в Брюсселе, но возникает вопрос о создании «федерального дистрикта» вроде «Вашингтона, Д. С.».

2) Совет министров из 6 членов. Его главной задачей является согласование политики стран-членов, а из текущей работы рассмотрение решений Комиссии и одобрение бюджета сообщества. В первой стадии для более важных вопросов и для применения вето требуется единогласие, в остальных случаях большинство голосов.

3) Общее собрание (ассамблея или «европейский парламент») из 142 членов, избираемых на 2 года пропорционально населению парламентами отдельных стран. Функции и даже члены те же, что и у Общего собрания ЕСУС. Собирается в Страсбурге, первым председателем был Р. Шуман.

4) Суд из 7 судей также общий с ЕСУС.

Эти органы дополняются рядом Консультативных комитетов (валютным, статистико-конъюнктурным, экономико-социальным из представителей от разных хозяйственных и социальных групп и др.).

Одновременно с договором о ЕЭС теми же государствами был заключен договор о «Европейском сообществе для совместного использования атомной энергии» (Евратом). Намечается слияние органов всех трех сообществ. Центральное место среди них, конечно, занимает ЕЭС и как общий рынок,

и как первый этап в реализации многих воодушевляющей идеи политической интеграции Европы.[7]

Но далеко не все трудности преодолены этим центральным сообществом.

Затруднения причиняют попытки сохранить или создать монопольные соглашения. Но в борьбе с ними много помогает содружеству Политический комитет, возглавляемый одним из инициаторов ЕЭС, Ж. Моннэ. Крайне трудной оказалась также выработка общей сельскохозяйственной политики. Стремление ЕЭС понизить в интересах потребителей цены сельскохозяйственных продуктов наталкивается на противоположный интерес многочисленного в Европе класса мелких сельских хозяев крестьянского типа. Это сообщает вопросу политический характер. Так, напр., германский министр сельского хозяйства Вернер Шварц настаивал в июле 1960 г. на отсрочке понижения тарифов на ввоз сельских продуктов в Германию, так как оно повредит его партии на выборах в сентябре 1961 г. Наконец, большие трудности возникают со странами, не вошедшими в ЕЭС, из-за невыгодных для них ставок внешнего тарифа ЕЭС. Английское предложение распространить преимущества Общего рынка на все страны ОЕЭК не было принято ЕЭС. С другой стороны, Великобритания также не шла на уступки. В свое время Черчиль был за Соед. Штаты Европы, за них высказался в мае 1948 г. и конгресс в Гааге, почетным председателем которого был Черчиль. Но пришедшая к власти рабочая партия отнеслась к этому очень холодно, и сам Черчиль, ставши в 1951 г. вновь премьером, больше не поднимал этого вопроса, явившегося как раз одной из причин нежелания Великобритании войти в ЕЭС.

Между тем в начале 1959 г. прошла первая серия понижений тарифов внутри ЕЭС. Ожидались следующие снижения, но всё это не распространялось на не-членов. Лишь некоторые внешние тарифы были понижены. В результате английские товары вытеснялись с европейского рынка товарами стран ЕЭС и американские фирмы вместо Великобритании стали помещать капиталы в ЕЭС. Это побудило Великобританию и ряд стран, не пожелавших войти в ЕЭС, в свою очередь объединиться. Так, после переговоров было 20 ноября 1959 г. заключено Стокгольмское соглашение о европейской «Ассоциации свободной торговли» (АСТ). В нее вошли: Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Австрия и позже Португалия. Новая ассоциация получила на-

звание «внешних семи» или «семерки» в отличие от «шестерки» ЕЭС. Как видим, это частью страны, связанные с Великобританией и ее стерлинговым блоком, частью же традиционно или вынужденно, как Австрия, нейтральные и потому не желающие связывать себя политическими целями ЕЭС. Для Великобритании же с ее Британским содружеством был кроме того особенно неприемлем общий внешний тариф ЕЭС. Конкурирующая организация семи создала свой общий рынок и уже в 1960 г. понизила внутри него тарифы на 20%. Но она сохранила различие внешних тарифов. Кроме того она не ставит политических целей и имеет лишь Совет, представляющий вошедшие в нее государства без того, чтобы они передали ему какую-либо часть своего суверенитета. Совет со своим секретариатом находится в Женеве. Образование АСТ до известной степени углубило разделение Европы и отдалило создание всеевропейского общего рынка. Но при некотором соревновании друг с другом и АСТ и ЕЭС проявили одинаковую тенденцию понизить свои внешние тарифы.

Сравнительная величина и экономическое значение ЕЭС, АСТ и США по данным за 1959 г. видны из следующих чисел:[8]

	ЕЭС	АСТ	Вместе	США
Территория (тыс. кв. миль)	457,7	493,1	950,8	3615,2
Население (мил. чел.)	167,5	89,0	256,5	179,2
Валовой национальный продукт (мрд. д.)	164,7	101,9	266,6	479,5
То же на душу населения (дол.)	995	1144	1046	2707
Частное потребление (мрд. д.)	98,9	64,8	163,7	299,3
То же на душу нас. (дол.)	591	728	683	1670
Капиталовложения в % нац. прод. (1953-59)	19,5	16,8	18,3	16,6
Пассаж. автомобилей на 1000 жит. (1957)	68	100	80	390
Торговля между странами сообщ-ва (мрд. д.)	8,2	3,0	11,2	—
Вывоз (внешний) (мрд. д.)	17,0	13,6	30,6	17,4[9]
Ввоз (внешний) (мрд. д.)	16,0	17,0	33,0	15,0
Запас золота и твердых валют (мрд. д.)	12,3	7,3	19,5	19,5[10]

Рост торговли обоих сообществ с США выражается в следующих суммах (мрд. д.):[11]

	1950	1957	1960
ЕЭС: ввоз из США . . .	1,6	3,2	3,4
вывоз в США . .	0,6	1,5	2,3
АСТ: ввоз из США . . .	1,0	1,9	2,3
вывоз в США . . .	0,6	1,3	1,6

В 1960 г. в два сообщества, взятые вместе, шло 33% всего вывоза США и ввоз из этих сообществ составлял 26% всего ввоза США. Значительно было участие этих объединений и во всей мировой торговле. При этом АСТ по абсолютным показателям слабее ЕЭС и Великобритания занимает в ней доминирующее положение, производя 2/3 общего национального продукта этого объединения. В ЕЭС также существует преобладание Франции и Германии, всё же национальный продукт распределен в нем более равномерно: в 1956 г. на Францию приходилось 37% общего нац. продукта, на Германию — 33%, на Италию — 17% и на Бенилюкс — 13%. Вместе с тем у стран ЕЭС были до объединения более высокие и неодинаковые ввозные тарифы: самые высокие у Италии и Франции (25 и 24% по ценности товаров), затем у Германии (до 1952 г. доходившие до 34%, но в этом году пониженные до 10%) и самые низкие у Бенилюкса (9%). У стран АСТ тарифы были равномернее и ниже: от 9 до 12%.[12] Поэтому создание общего свободного рынка имело для стран ЕЭС большее значение, чем для стран АСТ. Хозяйство ЕЭС обнаружило за 1953-59 гг. также более быстрый рост, чем хозяйство в это время еще не объединенных стран АСТ. Вот ряд чисел-показателей для ЕЭС, АСТ и США (1953 г. = 100):[13]

	ЕЭС	АСТ	США
Население	105	103	111
Валовой национальный продукт	135	120	116
Промышленное производство	157	125	112
Частное потребление . .	129	120	122
То же на душу населения	123	117	110
Капиталовложения . . .	155	134	117

В США выше рост населения и отчасти потребления, по росту же производства и капиталовложениям их обгоняет Ев-

ропа и особенно содружество общего рынка. В 1951-60 гг. годовой прирост валового нац. продукта был: в ЕЭС — 5,3% (в Германии — 7,2%, Италии — 5,8%, Франции — 4,2%) и в АСТ — 3,2% (в Великобритании всего 2,7%, но в Швейцарии — 5,0% и Австрии — 6,0%), а в США лишь 2,6%.[14] Такой быстрый рост хозяйства стран ЕЭС и особенно Германии, конечно, объясняется не одним общим рынком, хотя его влияние несомненно. Но на росте сказалось влияние восстановления, разрушенной войною, высокой доходности новых предприятий и их современного оборудования. Недаром говорят, что старая английская промышленность покоится на паре и хлопке, а новая германская на электричестве и химии. Помогает также склонность населения к бережливости и вкладыванию сбережений в дело. В Германии не последнюю роль сыграло хирургическое отсечение военной инфляции денежной реформой 1948 г., а также, вне сомнения, приток беженцев из Вост. Германии, давший (до сооружения берлинской стены) ок. 12 мил. главным образом квалифицированных работников. Приведенные причины, однако, уже теперь заставляют задумываться о том, насколько длительна вызванная ими нынешняя исключительная быстрота роста. Пока, однако, этот бурный рост соблазняет Америку увеличивать свои вложения в Европе. Вот рост вложений США с 1953 г. по 1959 г. (в мрд. дол. и в %):[15]

	1953	1959	Рост в %
в ЕЭС	0,9	2,2	41,6%
в АСТ	1,3	2,9	19,1%
Всего в Европе	2,4	5,3	23,7%

Из стран ЕЭС больше всего вкладывается в Германии (в 1959 г. —0,8 мрд. дол.) и затем во Франции (0,6 мрд. д.), а из стран АСТ почти исключительно в Великобритании (2,5 мрд. д.). Вложения стимулируются их высокой доходностью. В 1958-59 гг. капитал, вложенный в промышленные предприятия, давал в самих США 9,5%, в Латинской Америке всего 8,1% и Канаде — 8,9%, а в Европе — 13,9%. Самыми доходными были вложения в Германии (20,1%) и Швейцарии (17,1%).[16] Но эти вложения ухудшают платежный баланс США и уменьшают вложения в самих США, а в последнее время даже вызывают в Европе жалобы на конкуренцию иностранного капитала.

С возникновением Бенилюкса, а затем других европейских сообществ, в том числе соперничающих между собою,

выросла обширная литература, теоретически выясняющая выгоды таможенного союза и общего рынка для его членов, равно как возможный ущерб, наносимый ими другим странам. Недостаток места, однако, не позволяет нам подробно остановиться на разборе этой литературы.[17]

Главное возражение, выдвигаемое против Общего рынка и в литературе и в жизни, сводится к тому, что при установлении свободы торговли внутри этого рынка сохраняется протекционизм по отношению к остальным государствам. Имеется два пути для устранения этого возражения: или включить сторонние страны в общий рынок, или при помощи взаимных уступок понизить внешние таможенные преграды. Движение идет по обоим путям.

Римский договор открывает вход в ЕЭС в качестве его члена каждой некоммунистической европейской стране и в качестве «союзника» каждой некоммунистической сторонней стране, согласной выполнять предписания договора. Но, с одной стороны, ЕЭС боится слишком поспешно расширять свой общий рынок, а с другой стороны, для ряда стран требования Римского договора трудно выполнимы. Поэтому тянутся длительные переговоры.

Труднее всего выполнить условия Римского договора Великобритании, с трудом допускающей, чтобы вопросы ее таможенных тарифов мог решать кто-либо кроме ее парламента, при ее психологии Британской Империи, связанной со странами ее Содружества взаимными льготами, но и взаимными обязательствами, при ее «островном» противопоставлении себя «континенту», хотя ее от него отделяет всего 27 миль пролива, при специальных интересах ее фермеров, наконец, при ее связях со странами «семерки». Однако, именно опасения, что эти страны по-одиночке сами войдут в ЕЭС и она окажется изолированной, побудили Великобританию начать переговоры о принятии ее в Общий рынок. Об этом говорят свидания Мэкмиллэна, де Голля и Аденауэра, посылаются специальные люди в страны Содружества, чтобы убедить их в выгодах вступления в ЕЭС и не считать себя по этому поводу «ягненком, приносимым в жертву на новых алтарях», как заявила Новая Зеландия. В Париже и Брюсселе английская делегация, возглавляемая лордом Э. Хитом, ведет подготовительную дипломатическую подготовку.[18] Комитет Ж. Моннэ убеждает Великобританию согласиться на условия ЕЭС. В самой Великобритании настроение, как консервативной, так и рабочей партии, кроме крайних левых, начинает склоняться

в пользу присоединения к континентальному Общему рынку.[19] Наконец, 31 июля 1961 г. Мэкмиллэн внес в Палату Общин формальное предложение о начале переговоров с ЕЭС. Однако, переговоры всё еще тянутся во время написания нашей статьи.[20]

Тем временем ряд других государств выразил желание войти в ЕЭС. Уже в марте 1961 г. «шестерка» превратилась в «семерку», а «семерка» в «восьмерку», потому что в АСТ была введена Финляндия, а в ЕЭС Греция, обе «союзницами». Для Финляндии были сделаны некоторые изъятия в виду ее договора с СССР от 4 апреля 1961 г. Греции были удлинены сроки и дана ссуда в 125 мил. дол. Из стран АСТ выразили желание войти в ЕЭС Дания и Норвегия членами, для чего последняя даже изменила свою конституцию, Швейцария же, Швеция и Австрия лишь союзницами. Наконец, из стран, не входящих и в АСТ, пожелали вступить в ЕЭС еще Ирландия членом и союзницами Турция, Португалия, а в последнее время Испания. Руководители ЕЭС уже смущены таким числом желающих войти в их общий рынок, и ставят ряд дополнительных условий: сочувствия политическим целям сообщества, участия в НАТО и правового строя с парламентом, который мог бы выбирать представителей государства в Общее собрание ЕЭС. Раздаются кроме того голоса: «или пусть входят членами или их совсем не надо».[21]

Вместе с тем обнаружилось стремление создать наряду с ЕЭС более широкое Атлантическое объединение. Растущий Общий рынок, особенно при возможном вступлении в него Великобритании и других государств, побуждает США к более интенсивной торговле с Европой. Кроме того, когда у европейских стран вместо нехватки появилось изобилие, а у США всё еще не ликвидирован дефицит платежного баланса[22] и с востока нажимает политическая и экономическая конкуренция СССР, Америка нуждается в Европе, как Европа нуждается в Америке. Правда, в США растут и голоса протекционистов и даже изоляционистов. Но сильное противоположное течение, представленное нынешней администрацией, стоит за решительное понижение таможенных преград в торговле с Европой.[23] К этому склоняются и европейские объединения. В феврале 1961 г. страны ГСТТ приняли план постепенного понижения тарифов. 1 октября того же года европейская ОЕЭК, куда, как часть, входит и ЕЭС, перешагнула через океан и превратилась в атлантическую «Организацию экономической кооперации и развития», в которую входят

США и Канада. А 17 января 1962 г. уже заключено между США, Общим рынком и Великобританией соглашение о взаимном понижении тарифов на 20%. Но это не всё. 30 июня 1962 г. истекает срок много раз продолженному закону 1934 г., которым Конгресс США предоставил президенту полномочия на заключение торговых соглашений с понижением тарифов. Поэтому президент Кеннеди внес в Конгресс законопроект, по которому президент получил бы на 5 лет полномочия, шире когда-либо дававшихся в истории США, а именно: взаимно совсем отменить тарифы на продукты, 80% мирового экспорта которых приходится на США и расширенное ЕЭС (т. е. включая Великобританию и другие страны, пожелавшие вступить в ЕЭС),[24] и понизить до 50% тарифы для других товаров. Предусматривается также помощь предприятиям и рабочим, которые пострадали бы от понижения тарифов. Интерес США к оживлению торговли с объединенной Европой усилен также вопросом о хозяйственном росте, обостренным ростом тяжелой и военной промышленности СССР и завидным ростом хозяйства стран общего европейского рынка.[25] Последний несколько замедлился в 1961 г. и такое же замедление ожидается в 1962 г.[26] Но пока это не колеблет значения Общего рынка для хозяйственного роста его сочленов.

Во всяком случае рост БЭС рассеял мысль о безнадежном «закате Запада», пробудил в Европе энергию, надежду на будущее и уверенность, что, несмотря на зловещую международную обстановку, выработанный европейской историей тип свободного общества выживет. Всё изложенное нами вместе с тем показывает, что начавшийся в Зап. Европе после последней войны процесс интеграции идет: 1) в сторону расширения — от Бенилюкса к «шестерке» и далее к Атлантическому сообществу, и 2) в сторону углубления. Он углубляется в экономическом отношении — от таможенного союза к почти полному объединению всей хозяйственной жизни. Не надо, однако, при этом думать, что либерализация торговли и международных отношений есть возврат к laissez-faire старого экономического либерализма, так как в важнейших сторонах хозяйственной и социальной жизни Общий рынок скорее усиливает государственный интервенционизм. Углубление процесса интеграции идет также в структуре ее органов — от интернациональных органов ряда государств к наднациональным органам, которым члены сообщества добровольно передают часть своих суверенных прав. Но опять-

таки это не создает усиления централизации, так как углубляющаяся интеграция совмещается с сохранением самой широкой децеитрализации.

Экономическое объединение Европы было сразу задумано, как подготовка к ее политическому объединению. Это еще одна черта этого движения: от строго ограниченных экоиомических целей к Соед. Штатам Европы, как конечной цели. Но конкретизация политической стороны движения оказалось много труднее, чем улаживание экономических разногласий.

Ход политических переговоров затрагивает прочность и развитие экономического сообщества. Но наша статья разрослась и мы опускаем изложение этой темы. Оставляем без рассмотрения и особую позицию, занятую де Голлем с его девизом «Europe des patries» и желанием подчинить этому девизу нынешние органы Общего рынка, и политическую сторону позиции Великобритании с ее содружеством, и группировку зап.-европейских государств по их отношению к переговорам свободного мира с СССР. Оставляем без рассмотрения и тенденцию создания «третьей силы», которая, однако, вряд ли могла бы без США противостоять поглощению ее вооруженным коммунизмом.

Политические разногласия могут ослабить и даже разложить экономическое сообщество, и, наоборот, преодоление этих разногласий может необычайно усилить это сообщество. Ценно, однако, что объединение Европы происходит не только не эмоционально, но даже при некоторой борьбе с националистическими эмоциями. Это не так часто бывало в истории.

Нынешняя интеграция Европы, начатая с экономического объединения, выростает из холодного расчета, говорящего о невозможности уцелеть и развиваться в состоянии разъединенности. Может быть, в этом лежит залог прочности европейского объединения и его способности выдержать испытания, которые, вероятно, еще готовит ему будущее.

Александр Билимович

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Prof. C. W. Guillebaud (Cambridge). Das Abkommen von Bretton-Woods und seine internationale Bedeutung. Hamburg 1947, Prof. Lorie Tarshis. Introduction to International Trade and Finance. New York 1955, pp. 507-515, Statistical Abstract of the United States: 1961, Washington 1961, p. 944.

[2] К 1950 г. по плану Маршалла было выплачено ок. 10 мрд. д., всего же на военную и иную помощь различным государствам с июля 1945 г. по март 1958 г. была истрачена США колоссальная сумма в 52 мрд. д.

Raymond T. Bull and William W. Hewett. Applied Economics. 5th ed. New York 1960, p. 479.

[3] См. рец. Фреда Сандерсона на книгу

William Diebold Jr. The Schuman Plan—a Study in Economic Cooperation 1950-1959, New York 1959 (The American Economic Review, June 1960, pp. 494-496).

[4] Economic Survey of Europe 1960, U.N.-Geneva 1961, I, pp. 12-13.

Это почти такой же рост, как при всем напряжении и гонке тяжелой промышленности получен по советским данным в СССР: 41,4 мил. т. в 1954 г. и 65,3 мил. т. в 1960 г., т. е. увеличение на 57%. См. Народное хозяйство СССР в 1956 г., стр. 68 и тоже в 1960 г., стр. 285.

[5] The European Economic Community and the United States by Robert R. Bowie and Theodor Geiger, Subcommittee on Foreign Economic Policy of the Joint Economic Committee. Washington 1961, p. 15; Emile Benoit. Europe at Sixes and Sevens. Columbia University Press. New York 1961, chapters I-II.

Там же схема трех стадий и ускорения, принятого в 1960 г. (стр. 265-271).

[6] Намечается даже выработка особого «европейского» торгового и гражданского права; напр., создание

"Une société du type européen" (Benoit, ibid., p. 37, note 1).

[7] Об этом, напр., говорит в 1959 г. юрисконсульт Общего рынка Дж. Болл: «Люди, взявшие на себя ответственность за Римский договор, были в первую очередь воодушевлены желанием движения к политической интеграции... без этой политической цели шесть

наций не пошли бы на такое революционное согласование их торговой политики».

(Mordechai E. Kreinen. "The Outer Seven and European Integration", The American Economic Review, June 1960, p. 371).

[8] Benoit, ibid. pp. 7,130. Economic Survey of Europe 1960, p. 33.

[9] Исключая военную помощь.

[10] Только золото.

[11] Europe Today. A Report of the EEC. The First National City Bank, New York, p. 34; Foreign Economic Policy. Hearings before the Subcommittee on Foreign Economic Policy of the Joint Economic Committee. Washington 1962, p. 469.

[12] M. Kreinen, ibid. p. 375.

[13] Benoit, ibid. p. 189.

[14] Foreign Economic Policy, p. 457.

[15] Benoit, ibid. p. 194.

[16] ibid. pp. 195 и 238.

[17] Кратко укажем лишь, что первым, поднявшим этот вопрос, является проф. Принстонского ун-та

Jacob Viner (The Customs Union Issue. Carnegie Endowment for International Peace. London 1950.

Он отмечает благоприятное и неблагоприятное влияние таможенного союза. Последнее может иметь место уже внутри союза, особенно же легко оно может сказаться на не-членах. При этом он излагает критерии благоприятности влияния союза. Против многих его положений выступил проф. Лондонской экономич. школы

James E. Meade (The Theory of International Economic Policy, Vol. II. Trade and Welfare. Oxford University Press. London 1955; The Theory of Customs Unions. Amsterdam 1955).

Он за свободу торговли, но считает, что установление ее возможно лишь путем международных соглашений целого ряда государств и требует не одних отрицательных мер (отмены тарифов и квот), но и многих положительных экономических, социальных, финансовых и др. мероприятий. Во второй работе, представляющей ряд его лекций, прочитанных по приглашению Нидерландской экономич. школы в Роттердаме, он защищает таможенный союз от теоретической критики его проф. Вайнером. Интересен его анализ первичных, вторичных и третичных влияний союза. Недостатком

этой работы является менее полный анализ как раз наиболее спорного влияния союза на страны, не вошедшие в него. Задачу он упрощает, высказываясь за «всеобъемлющее соглашение, покрывающее все страны и все товары, снижающее все пошлины без всякой дискриминации» (стр. 114), хотя и понимает, как трудно такое соглашение. Суровым критиком таможенного союза является проф. Стэнфордского ун-та

Tibor Scitovsky (Economic Theory and Western European Integration. London 1958).

Он признает выигрыши, получаемые от союза его членами, но считает их не такими большими, как обычно думают. Кроме того, это не чистые выигрыши, так как союз может уменьшать торговлю с внешним миром. Внешний же мир может иметь от союза чистый проигрыш. «Союз, говорит проф. Ситовский, может выиграть когда мир как целое потеряет» (стр. 60). Интересна другая работа:

Rolf Sannwald und Jacques Stohler. Wirtschaftliche Integration. Theoretische Voraussetzungen und Folgen eines europäischen Zusammenschlusses (Kyklos-Verlag, Basel. Tübingen 1958).

Это одна из публикаций Общества основателя Германского таможенного союза Фридриха Листа. Книга вышла и в англ. переводе (Принстон, 1959). Авторы поклонники плана Шумана и ЕЭС. Но они скептически относятся не только к осуществимости мирового свободного рынка, который между прочим, защищают проф. В. Рёпке и проф. Г. Хаберлер, но даже к Атлантическому союзу, идею которого выдвигают проф. Дж. Мид и проф. Л. Робинс. Авторы стоят за более узкий европейский союз. Затронута ими и имеющая практическое значение контроверза по вопросу о том, может ли одна свобода передвижения товаров уравнивать международную расценку факторов (труда и капитала) без свободного передвижения этих факторов. Реакция советских авторов на экономическое объединение Зап. Европы резко отрицательна и, судя по статьям Евгения Варги, Р. Молчанова, В. Княжинского и др., всё движение рассматривается ими, как заговор американских капиталистов, имеющий целью подчинить Европу их империалистическим интересам. Литература свободного мира также мало останавливается на соотношениях между европейскими сообществами и СССР. Этого вопроса касается

Alexander Gershenkron (Russia and the International Trade Organization. The American Economic Review, 37, 1947, Supplement).

[18] «Экономист», 4 марта 1961 г. Вообще лондонский «Экономист» дает полную хронику хода переговоров Великобритании с ЕЭС.

[19] «Экономист» от 3 июня 1961 г.

[20] 3 марта 1962 г. «Экономист» писал, что «крупная схватка ЕЭС с Брнтанией должна произойтн в ближайшие 2 нли 3 месяца, если она вообще произойдет», так как у ЕЭС является подозрение, что Великобритания ведет «притворные сражения в Брюсселе в надежде, что Атлантическое соглашение сделает для нее ненужным вступление в шестерку» (стр. 786).

[21] «Экономист» от 16 декабря 1961 г.

[22] Он составлял 3,9 мрд. д. в 1960 г. и не менее 1,5 мрд. д в 1961 г.

Economic Report of the President and the Annual Report of the Council of Economic Advisers. Washington 1962, p. 149.

[23] United States Commercial Policy. A Program for the 1960's (by Peter B. Kenen). Subcomm. on Foreign Econ. Policy, Washington 1961; Foreign Economic Policy. Hearings before the Subcommittee on Foreign Econ. Policy, Dec. 4-14, 1961, Washington, 1962.

Двупартийный доклад по этому поводу бывшего госуд. секретаря при Айзенхауэре Христиана Хертера и одного из составителей плана Маршалла, демократа Вильяма Клейтона, настаивающий на «гигантском шаге» к более интенсивной торговле США с Европой, некоторые сравнивают по его значению с докладом ген. Маршалла в 1947 г. в Харвардском университете.

[24] По подсчетам администрации из всего ввоза США из расширенного ЕЭС, равного 3,5 мрд. д., отмена тарифов затронула бы ввоз на 1,2 мрд. д., и из всего вывоза США в расширенное ЕЭС, составляющего 5,1 мрд. д., ликвидация тарифов затронула бы вывоз на 2,1 мрд. дол.

[25] По словам Э. Бенуа (указ. соч., стр. 245-6) «нормы промышленного роста ЕЭС не многим уступают нормам, провозглашенным Сов. Союзом; небольшое различие оказалось бы еще меньшим, если бы было учтено советское пренебрежение к области жилищ, транспорта и ряда услуг».

[26] «Экономист» от 6 янв. и 3 февр. 1962 г.

РОССИЯ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ

На рубеже двух столетий Россию, как отмечает Вячеслав Иванов, охватила страшная тревога. Владимир Соловьев остро ее почувствовал:

«Всюду невнятица
Сон уж не тот.
Что-то готовится,
Кто-то идет».

Под идущим Соловьев, как он писал Величко, понимал самого Антихриста. Почувствовав наступающую опасность Соловьев бросил недоконченными философские статьи и заговорил юродствуя во Христе (В. Иванов). За несколько лет до русско-японской войны он не только предсказал ее начало, но и ее прискорбный конец:

«О Русь! Забудь былую славу
Орел двуглавый поражен
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен».

Думая над угрожающей России желтой опасностью, Соловьев вопрошал Россию на чьей же она будет стороне:

«Какой же хочешь быть Россией,
Россией Ксеркса иль Христа?».

Уже постановка этого вопроса указывает на то, что он боялся как бы Россия не оказалась на стороне желтых.

Та же тема волновала и Вячеслава Иванова. В своей «Русской идее» он писал: «Желтая Азия подвиглась исполнить уготованную ей задачу, — задачу испытать дух Европы: жив ли и действен ли в ней Христос».

«Русь! На тебя дух мести вечной
Восстал и первенцев сразил;

И скорой казнею конечной
Тебе, дрожащей, угрозил:
За то, что ты стоишь, немея
У перепутного креста,
Ни зверя скиптр нести не смея,
Ни иго легкое Христа».

Азия вошла и в поэзию Блока, правда, не как боязнь грядущей опасности, но как воспоминание о прошедшей. Но глубокая память всегда таит в себе и нечто пророческое.

«За́ море Черное, за́ море Белое
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое
Очи татарские мечут огни».

Та же тревога мучит и Андрея Белого. Ему всюду грезятся монголы. Облеухов в «Петербурге» — «татарского происхождения». У профессора Летаева «профиль скифский». У «Московского чудака» «табачного цвета раскосые глаза». От всей этой азиатчины Белому становится и жутко и страшно. Все стихи «Пепла» полны стона и плача о России.

«Мать Россия! Тебе мои песни,
О, немая суровая мать.
Здесь и глуше мне дай и безвестней
Непутевую жизнь отрыдать».

В том же тоне кончается и стихотворение «Родина»:

«Роковая страна ледяная,
Проклята́я железной судьбой —
Мать Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?»

Все эти тревоги, внезапно зазвучавшие в русской поэзии и литературе оказались отнюдь не беспредметны. После второй мировой войны Азия, не без помощи России, властно вторгнулась в Европу и тем самым вызвала в Европе подозрение, что Россия и в самом деле сблизившись с Китаем восстанет на европейский мир. Тенденция определения России не как восточной Европы, а как Азии родилась в 80-десятых годах во Франции. Первым идеологом, считавшим, что русский

народ, а потому и вся русская культура не имеют ничего общего с Европой и что место России в Азии был известный французский историк-либерал и сенатор Анри Мартэн (1810-1885), выпустивший в 1865 году, то есть сейчас же после освобождения крестьян и накануне дальнейших либеральных реформ императора, свою книгу «Россия и Европа». В этом труде французский ученый утверждал, что русские не славяне, не индогерманцы, а туранцы, принадлежащие к тюрко-алтайскому племени, что они лишь внешне похожи на европейцев, но не имеют с ними ничего общего. По своему духовному строю они суеверны, непроницаемы для просвещения, раболепны. Христианством они только внешне помазаны, но не исполнены. Единственное, к чему они способны — это к быстрому размножению, но нравственного роста от них ожидать нельзя. Дальнейшее пребывание этих азиатов представляет собою для Европы большую опасность, избавление от которой возможно только путем изгнания этих вторженцев за Урал. Инициативу осуществления этого плана Мартэн предлагает взять на себя полякам, как подлинным славянам-индогерманцам.

Ту же точку зрения на Россию, как на страну, чуждую по своему духовно-культурному облику Западу, защищает, опуская этническую аргументацию с чисто религиозной точки зрения, католический писатель Анри Масси, горячий вероисповеднический шовинист в стиле Шарля Мораса и политический националист, по духу близкий Муссолини. В своей книге «Защита Запада», вышедшей вскоре после первой мировой войны, Масси утверждает, что русские потому не подлинные европейцы, что они не являются духовными наследниками Римского христианства: «Им не хватает латинского чувства формы, ощущения дисциплинирующей власти разума, красоты римского ordo, понимания строго иерархического построения церкви и государства. Их христианство догматически аморфно, богословски не продумано, на восточный лад мистично, туманно и социально не заинтересовано. Все это сближает православие с индуизмом и отдаляет от Запада. Признаки азиатской духонастроенности встречаются также и в народной вере москвитян. В глазах многих русских крестьян церковный обряд представляется как бы магическим колдовством, а молитва — заклинанием. Россия с одинаковым чувством относится как к святым, так и к демонам. Антихрист постоянно маячит в их запуганной содрогающейся фантазии. Все это сближает по мнению ученого-католика русское православие с персидскою ве-

рою, с культом Зароастра, в котором Ариман (бог Зла) почитается, в равной степени, как Ормузд (Бог Добра).

Эти богословские размышления Масси завершаются совсем уже нелепыми историософскими построениями, исходящими очевидно из убеждения Освальда Шпенглера, что созданная Петром Великим империя представляет собою лишь некую «псевдоморфозу» национального русского бытия, с неизбежным распадом которой Россия быстро вернется к исконным основам своей азиатской сути. Началом такого возврата и представляется Масси большевистская революция, жертвою которой пал не Николай II, а Петр I. Парадоксальнее всего в рассуждениях Масси то, что эту теорию он считает не своим истолкованием развернувшихся в России событий, а главною мыслью самого Владимира Ленина, которому «прежде всего хотелось вернуть Россию к ее азиатским московским истокам». Народ, по мнению Масси «понял намерения своего вождя и признал в нем последователя и законного наследника тех московских царей, что сознательно держали Россию повернутой лицом к Азии».

В качестве защитника своей концепции Масси призывает, как то обыкновенно делается иностранцами, пишущими о России, Достоевского, в частности страницы уже вышедшего после его смерти «Дневника писателя», где он пишет: «Для России было бы хорошо, если бы она на некоторое время повернулась бы лицом к Азии». Высказывая это пожелание, Достоевский высказывает и надежду, что такой поворот вызовет подъем национального чувства во всей России. Всё это так, но что это имеет общего с замыслом Ленина и Зиновьева: разгромить при помощи восьмисот миллионов азиатов европейский капитализм и завладеть Азией для насаждения в ней европейского коммунизма?

Несмотря на явную несостоятельность историософских и богословских построений этих французских мыслителей, их главный тезис — Россия по своему духовно-культурному облику должна быть отнесена не к Европе, а к Азии — был в двадцатых годах, в смягченном виде, повторен группой эмигрантских ученых, назвавших себя евразийцами.

Евразийская группа давно распалась. Распад этот объясняется не только внешними обстоятельствами: смертью князя Трубецкого и Карсавина, возвратом Святополк-Мирского в советскую Россию, где он вероятно, и погиб, увозом Савицкого в Россию, из которой он, однако, вернулся, но и более внутренними признаками: — особенностями евразийского миросо-

зерцания и организации евразийского движения. Если бы этих внутренних причин не было, то какие-нибудь дети продолжали бы дело отцов, но у евразийцев таких детей не оказалось. Они быстро перевелись. Из числа так называемых новых эмигрантов, многие по началу примкнули было к солидаристам, но потом и отошли, а вот в евразийцы никто не записался. И это тем более странно, что группа создателей и вождей евразийства состояла из весьма талантливых людей, равных которым среди главарей других политических организаций найти не легко. Чтобы убедиться в этом достаточно просмотреть номера «Евразийского временника» и «Верст» и ближе познакомиться с работами Трубецкого, Карсавина и Савицкого. лишне вспомнить и то, что такой крупный ученый, как Георгий Флоровский тоже вышел из

Причин, объясняющих почему евразийство, как культурно-политическое движение, преждевременно замолкло и несколько бесславно сошло со сцены, конечно, много, но главная заключается, как мне кажется, в том, что евразийское культурно-политическое миросозерцание было взращено ненавистью к тем силам, что привели Россию на край гибели и к тем другим, что цинично надеялись нажиться на ее несчастье, т. е. к порожденной Петром Великим западнической интеллигенции, и к принявшимся расхищать ее западным странам. Под влиянием этого озлобления против внутреннего и внешнего Запада в евразийцах выросло правильное ощущение, что и советская Россия — Россия, которое впоследствии, в эпоху издания «Евразийской Искры» и карсавинских парижских лекциях, превратилось в неправильную тенденцию примирения и с большевистской властью; произошло это вероятно, потому, что соблазн клюевской строки: «есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах» был с самого начала близок евразийской душе. Из этих сложных переживаний и выросла где-то на перекрестке сниженного «до бытового исповедничества» славянофильского православия и националистической теории «культурных типов» Данилевского антиевропейская идеология евразийцев.

Центральным идеологическим жестом, которым глава евразийства, преждевременно умерший талантливейший ученый князь Николай Трубецкой в своей известной статье «О туранском элементе в русской культуре» («Евразийский временник», книга 4, стр. 351, Берлин, 1925 г.) попытался повернуть Россию лицом к Азии, надо считать его интересный анализ духовного облика туранских народов, которые по его мнению

сыграли решающую роль в создании России. «Самое объединение, — пишет он, — почти всей территории современной России под властью одного государства было впервые осуществлено не русскими царями, а туранскими монголами».

На основании тщательного филологического и фонологического изучения тюрко-монгольских и манчжурских языков, как и всей литературы этих народов Трубецкой пришел к выводу «что в духовном творчестве тюрков в качестве основной черты всюду господствует некая «схематизация сравнительно небольшого рудиментарного материала. Типичный тюрк не может вдаваться в тонкости и запутанные детали». Он думает широко охватывающими жизнь первозданными представлениями. Характерно для тюркского мышления и практическая жилка. Поставленные перед проблемой, для разрешения которой у него нет готовой собственной схемы, тюрк не задумавшись возьмет чужую. Разница между своим и чужим для тюрка всегда менее важна, чем разница между целесообразным и бесцельным. «Тюрки всегда охотно брали готовые чужие схемы, принимали и иноземные верования».

Все эти основные черты туранского духа евразийцы находят и в допетровской, то есть подлинно русской культуре. «Пусть самое православие было воспринято русскими не от туранцев, а от Византии, само отношение русского человека к православной вере и та роль, которую эта вера играла в русской жизни были в определенной части основаны на туранской психологии. К этим туранским чертам русского православия, которые Трубецкой правда лишь мимоходом называет «туранским христианством», относится весьма слабый интерес к богословским сложностям. «Московская Русь, несмотря на всю силу и напряженность своего религиозного горения... не дала ни одного православного богослова, совершенно так же как турки не дали ни одного сколько-нибудь выдающегося мусульманского богослова, хотя всегда были много набожнее арабов». Вместо сознательно продуманной богословской системы московская Русь духовно питалась «словами невыразимой подсознательной философской системой, нашедшей свое выражение не в богословских трактатах, а во всем житейском культурном укладе», покоющемся на излюбленном евразийцами бытовом исповедничестве.

Общими туранцам и русским особенностям Трубецкой объясняет не только стиль русского православия, но и многое другое. Так, например, отрицательное отношение России к рационалистической метафизике немецкого идеализма и оттал-

кивание от абстрактного парламентаризма, одним словом от всего механического строя Западной Европы, начало которому в России положил Петр Великий. Заменив патриарха правительствующим Синодом, он всенародно унизил церковь, своим издевательством над русской верой и русским бытом, и одновременным созданием проевропейской атеистической революционной интеллигенции, воспитанной чужеродными иностранцами, он головою выдал Россию разлагающейся Европе. Военная служба и крепостное право были,—заканчивает Трубецкой свои размышления, — и в допетровской России, но милитаристической и крепостнической страной Россия стала только в эпоху европеизации. Считая русскую революцию порождением романо-германского ига, Трубецкой приходит к заключению «что татарское иго было вовсе не так уж плохо».

Сравнивая взгляды враждебных России французских ученых со взглядами русских патриотов-евразийцев нельзя не удивляться их близости. Как Мартэн, так и Трубецкой держатся того мнения, что духовный образ России является в значительной степени определенным еще живым в нем туранским наследством. Злая по тону характеристика православия, католического шовиниста А. Масси, во многом совпадает с пониманием православия у Трубецкого. И Масси и Трубецкой считают характерным для православия отрицательное отношение к рационалистическому богословствованию и преобладание в нем подсознательной философской системы. Разница между французами и евразийцами заключается таким образом как будто бы не столько в разном понимании России, сколько в разной оценке ее образа. Рисуя Россию как члена азиатского культурного типа, французы стремились к ее унижению. Евразийцы же, связывая Россию с Азией, руководились противоположным желанием ее возвеличения над разлагающейся Европой.

Не видеть того, что в евразийской характеристике русской духовности и русской культуры не мало верного трудно. Но нельзя не видеть и того, что верно прежде всего то, что было уже раньше высказано, прежде всего Владимиром Соловьевым и Достоевским. Тому, что русскому православию чуждо рационалистическое богословствование учил еще Хомяков, для которого христианство было не столько учением, сколько даруемым церковью опытом нерасторжимого единства истины, свободы и любви. Верно и то, что для русской духовности характерно начало целостности, то «положительное», то есть религиозно укорененное «всеединство», на котором

построено все учение Соловьева и его критика господствующих на Западе «отвлеченных начал». Верно, наконец, отмечено Трубецким нежелание русско-туранского духа отделять «свою веру от своего быта», что в терминологии позитивиста Михайловского значит отделять правду истину от правды справедливости. Весьма сомнительной представляется в идеологии евразийцев лишь тенденция туранизации России и уже явно неверным понимание петровской эпохи, породившей изумительный расцвет русской культуры: от Ломоносова и Пушкина до Толстого и Достоевского, как «горького» романо-германского ига.

Опровергать этнографические и идеологические теории евразийцев я не считаю необходимым не только потому, что не верю в решающее влияние племенного начала на национальную культуру народа, но и потому, что противные евразийцам взгляды были уже многократно высказаны, как русскими, так и иностранными историками России. Потому укажу лишь мимоходом на работы известного знатока России, многолетнего председателя Восточно-европейского общества профессора Отто Гётч, который в своей «Истории России» утверждает, что «по своим корням и по своему изначальному развитию Россия, сумевшая преодолеть и ассимилировать разные племена представляет собою младшую сестру индогерманской семьи европейских народов».

История России очень сложна. Ее отношение к Европе в разные эпохи ее развития было весьма разное. Большинство западно-европейских историков, стремившихся отодвинуть ее подальше на Восток, исходили не из соображений близких Мартэну и Трубецкому, а из веры в решающее влияние татарского ига на Россию как в этническом, так и в духовно-культурном отношении. Оспаривать европейский характер Киевской Руси действительно трудно, Московской уже легче. Этнически Киевская Русь была определенно славянской страной, в правящем слое которой было немало северно-германских элементов, за что говорит и легенда о призвании варягов. Их влиянию Киевская Русь была очевидно обязана и живой торговлей со Скандинавскими странами. На острове Готландия в городе Визбе у нее была своя торговая контора.

Духовно Россия жила христианством, воспринятым у Византии. Восточное христианство, то есть православие, многим

отличалось от западного, но все же не в такой степени, чтобы этой разницей объяснять отрыв России от Западной Европы. В своей книге «Задача России» В. Вейдле указывает на большую зависимость древнеславянского языка от греческого и не только в формальном отношении, т. е. в смысле особенностей синтаксических структур и стилистических оборотов, но и глубже: — в смысле словесных закреплений многих религиозно-этических понятий.

Внутренняя устремленность Киевской Руси на Запад доказывают, по мнению Ключевского, и многие источники XI и XII веков. Они выясняют, что русские князья нередко владели иностранными языками, что они собирали библиотеки, основывали школы, в которых — правда лишь по желанию — можно было изучать греческий и латинский языки и что приезжавших из Византии ученых Киев встречал с особым почетом.

Если ко всему сказанному прибавить еще то, что удельные князья не гнушались обращаться за разрешением своих споров к западным правителям и даже к самому Папе, и что Новгород уже в XI веке представлял собою весьма своеобразную демократию, в которой избранное народом вече, заключая договор с князем, запрещало ему жить в самом городе, дабы не получалось никаких столкновений между военною и гражданскою властью, то будет, думается, ясно, что искать Азии в Киевской Руси нельзя.

С такой характеристикой Киевской Руси многие защитники азиатского характера России, вероятно, согласились бы, так как они исходили в своих утверждениях не из туранских теорий Трубецкого и французов, а из положения, что 250-тилетнее деспотическое царствование инокровного, чуждого христианству монгольского народа, не могло не переродить как физической сущности, так и духовного облика православного славянского народа. Не случайно же говорят: «поскребите русского и вы получите татарина». Этот на первый взгляд как будто бы убедительный аргумент, при ближайшем рассмотрении оказывается, однако, несостоятельным. Если бы вся воинствующая татарщина была разлита по всей стране, если бы чужеземные полчища были расположены по всем городам и весям России, то было бы необходимо предположить, что в славянскую кровь влилось много монгольской. Но ведь известно, что татары управляли страной как бы издали. Золотая Орда, ее

главный штаб, военные силы и административные центры стояли на волжском низовье в Царицыне, то есть в большевистском Сталинграде (Волгограде). Заинтересованы татары были только материальными благами: деньгами и пастбищами. В личную жизнь покоренного народа почти что не вмешивались, перевоспитанием русских не занимались. Существует легенда будто бы католическое духовенство обратилось к хану Монгу с предложением заинтересоваться христианством, на что тот ответил, что по его мнению это не нужно. В Бога татары верят, в Нем живут, Им умирают; сердце их всегда открыто Ему, но у Бога много пальцев на руке и многие дороги ведут народы к Нему. Этой либеральной точкой зрения объясняется и то, что Орда весьма хорошо относилась к Церкви, которая была освобождена от податей, правда и она оказывала некоторые услуги властям придержащим.

Важнее вопроса об этнографическом изменении русского народа и порче русского характера под влиянием татарской жестокости, вопрос о происхождении Московского государства, характер которого иной раз опять-таки объясняют татарским влиянием. Нет слов, Иван Грозный творил невероятные преступления, особенно в Новгороде, который ему хотелось стереть с лица земли. Задуманные в бешенстве казни осуществлялись с непостижимою жестокостью, причем он сам с садистическим волнением присутствовал при приведении их в исполнение. Царствование Грозного принадлежит, конечно, к самым страшным страницам истории. Вопрос только в том надо ли жестокость Грозного рассматривать, как порождение татарщины. Г. П. Федотов не без основания указывает на то, что в то же время, в которое Грозный изничтожал «республику Святой Софии», как он называл Новгород, герцог Альба не менее кроваво расправлялся со своими врагами в Голландии, а в Париже пылала «кровавая свадьба» Варфоломеевской ночи. Грозного можно, во всяком случае скорее оправдать чем герцога и воевавших друг с другом христиан. Человек, который приказывает изрубить слона, за то, что тот не встал перед ним на колени и как азиат и как европеец — существо явно невменяемое. Но дело опять-таки не столько в психологии Грозного, сколько в структуре того государственного строя, который он практиковал как царь и защищал, как богослов. Этот государственный строй был, как известно, создан не в ханской ставке, а в Волоколамском монастыре, его настоятелем Иосифом Волоцким, образ которого резко двоится в русском научном сознании.

Наиболее отрицательный портрет этого волевого человека нарисован Федотовым в его «Новом граде». Основным грехом Иосифа Федотов считает его кровавую вражду не только к мистическому, но просто даже и к духовному началу в христианстве. Для него «обряд выше догмата и политическая власть Церкви важнее христианского исповедничества». Побежденных им на Соборе в 1530 году волжских старцев он сжег, а Ивана Грозного поучает: «Жаловать есьмы своих холопов вольны, а и казнить вольны же».

Этот односторонний образ Волоцкого, явно подсказанный Федотову отвратительным для него двуединством Победоносцева и Ленина, не разделяется ни Карташевым ни Флоровским. Они видят Иосифа в гораздо более положительном свете. Флоровский так решительно подчеркивает убеждения Иосифа, что «несправедливый и строптивый царь не Божий слуга, а мучитель», что сближает идеологов Московской теократии со средневековыми монархомахами.

Для интересующей нас проблемы, принадлежит ли Россия к европейскому или азиатскому типу, вопрос о характере Иосифа Волоцкого большого значения, впрочем, не имеет. Для нас важны только истоки его учения о будущем Русском государстве. Искать эти истоки в татарском царстве, очевидно, не приходится, потому что не возможно сомнение, что свое видение Московского царства было Волоцкому подсказано, с одной стороны, посланием инока Филофея Великому князю, в котором утверждалось, что отныне Москва — Третий Рим, после которого четвертого уже никогда не будет. А с другой стороны той особенностью Византийской Церкви, которую Соловьев называл цезарепапизмом, а Карташев, считая такое название протестантским оскорблением, — симфонией.

В литературе уже не раз указывалось на то, что формула Филофея не имела ничего общего с националистическим посягательством на завладение миром; связанное с ожиданием конца света, она была внушена иноку заботою о духовном состоянии России и носила определенно эсхатологический характер. Но в том-то и дело, что в душе и сознании Волоцкого эта формула переродилась, приняв явно конфессионалистически-шовинистический и национально-агрессивный характер. Проповеди насильнического подавления чужих верований у Филофея нет, а Волоцкий это подавление защищает.

Для Иосифа неоспоримо, что православный царь получает свою власть непосредственно от Бога, что он только по своей природе человекоподобен, а по своему призванию и духовному

бытию богоподобен. Главною задачею православного царя, по мнению Иосифа, является защита чистоты учения и подавление ересей. При чем допускаются даже инквизиционные приемы. Обыкновенных забот о хозяйственно-жизненном устроении своих подданных для православного царя мало. Необходимы еще духовные наставления для спасения их душ. Для достижения этой высокой цели царю вверяется полная власть над жизнью и смертью своих подданных. Этою властью Грозный пользовался с полной уверенностью в своей правоте и не без богословской изощренности защищал свое право в переписке с беглым князем Курбским.

Всего сказанного о характере монгольской оккупации и о возникновении образа Московского царства в православном монастыре, думается, довольно, чтобы не сомневаться в том, что и Московская Русь, как и Киевская представляет собою не Азию и даже не Евразию, а своеобразную Восточную Европу.

ИМПЕРИЯ

Европейский характер основанной Петром Империи доказывается в первую очередь не влиянием Европы на Россию (европейское влияние на негров не превращает их в европейцев), а тем живым общением между Западом и Россией, которое началось сразу же после раскрытия Петром окна в закрытый до тех пор заморский мир. Значение и все это общение сказывается уже в том, что национальное самоопределение России началось с выяснения ее отношения к Западу. В процессе этого самоопределения образовались, как всем давно известно, две партии: славянофилы и западники. Что западники были европейцами доказывать не приходится, но не всеми еще освоено то, что в сущности и славянофилы были ими: не случайно же их журнал назывался не «Москвитянином», а «Европейцем». Отличались славянофилы от западников не отрицанием Европы как таковой, а лишь враждой к той просвещенской рационально-позитивистической Европе, что родившись в 17 веке в Англии и Франции привела последнюю к революции. Симпатии славянофилов, как и симпатии немецких романтиков и французских традиционалистов были на стороне побежденной христианской Европы. В глубине славянофильского сознания жила даже мечта, что православная Россия быть-может со временем поможет средневековому Западу в его борьбе против атеистического гуманизма. Родившаяся в сла-

вянофильскнх кругах религиозная тема об отношении России к Западу красною не обрывающеюся нитью проходит через всю русскую историософию как 19, так и 20 века. Углубленная в конце столетия работами Владимира Соловьева о кризисе западной философии, связанном с господствующими в ней отвлеченными началами, эта тема перешла в творчество Бердяева, Франка, Карсавина и ряда других мыслителей. Вспыхнула она с новою силою в начале 20 века, когда в Россию вернулся ряд молодых философов, выучеников немецких университетов. В издательстве «Мусагет» — органе московских символистов, эти философы начали издавать новый философский журнал «Логос». Против этого журнала — оскорбленные тем, что священное для православного и греческого сознания слово «Логос» было узурпировано безбожными кантианцами-рационалистами — сразу же ополчились мыслители славянофильского крена, у которых был свой философский орган «Путь». Самый воинственный сотрудник «Пути» Владимир Эрн, автор ставшей впоследствии весьма известной книги «От Канта к Круну» писал о нас логосовцах: «Чтобы попасть в Афины необходимо перелететь... на крыльях лебединых двойную грань пространства и веков. Это далекое и трудное путешествие некоторым философам показалось, очевидно, несвоевременным. Крыльям они предпочли билет второго класса, двойной грани — русско-немецкую границу, а античным Афинам — университетские города несвященной германской империи. Запасшись там философскими товарами самой последней выделки они приехали в Россию и тут, окруженные варварством, почувствовали себя носителями высшей культуры». Эта публицистически резвая тирада была лишена всякого основания, на что указывает хотя бы то, что эпиграфом к редакционной статье послужила цитата из Соловьева. Я привел гневную цитату лишь затем, чтобы указать на то, что в русской философии от войны 1812 года до войны 1914 не прекращалась полемическая тяжба о духовном образе России и его отношении к западной Европе. Полемика между славянофилами-путейцами и западниками-логосовцами была поновому освещена, на что указывает Зандер в своей еще не опубликованной статье о работе Флоровского «Пути русского богословия». Он пишет: «Психология философов становилась все более религиозной и даже русское неокантианство имело тогда своеобразный смысл. Гносеологическая критика оказывалась как бы методом духовной жизни, — и именно методом жизни, а не только мысли. И такие книги,

как «Предмет знания» Г. Риккерта или «Логика» Г. Когена не читались ли тогда именно в качестве практического руководства для личных упражнений, точно эстетические трактаты».

Эту широкую раму было бы интересно дополнить более детальным анализом разнохарактерных связей между русской и западно-европейской философией и тем показать, что было близко России и что ее отталкивало; но это увело бы нас слишком далеко от нашей темы. Вкратце все же не лишне сказать, что русская философия органически не воспринимала математически-рационалистического декартизма и кантовской гносеологии, закрывавших человеческому уму интуитивный доступ в высшие трансцендентные миры. Сильнее всего она влеклась к Лейбницу, Гегелю, Шеллингу и христианским мистикам — Экхарту и Якову Бёме.

Такой же, если не еще больший интерес к Европе, проявляли и русские западнические течения, в которых сильнее бился пульс общественно-политической мысли. Зародившись под влиянием французской революции это течение поначалу питалось англо-французским просвещенством, но потом подпав под власть религиозных идей Фейербаха, предвосхитившего в известном смысле ницшеанскую концепцию сверхчеловека, перекинулось к Марксу, который и расколол русскую интеллигенцию на крестьянско-народнический и западническо-пролетарский лагерь.

Включением крестьянства в пролетариат Ленин расширил марксистскую базу и кроме того придал марксовой идеологии исповеднический характер. Этим он явно **руссифицировал западнический коммунистический социализм,** чем и объясняется, что немецкий социал-демократ Каутский объявил большевизм «азиатским социализмом». Ничего азиатского в ленинизме увидеть, конечно, нельзя. Но своей переработкою западнического марксизма он явно приблизил большевистскую идеократию к теократии Ивана Грозного. Конечно, это приближение только структурное, но никак не существенное.

В литературе диалог между Западом и Россией протекал еще сложнее. Останавливаться на общеизвестных влияниях европейской литературы на русскую и обратно — русской на европейскую не стоит: это можно прочесть в любой популярной истории русской литературы. Интереснее всех всегда проблематических влияний та оживленная дискуссия, которая непрерывно велась в России по поводу отдельных иностранных писателей. Очень показателен, например, горячий

спор, что долго велся между людьми правого крена и общественниками-интеллигентами о Гёте. Этот спор носил не чисто литературный характер: он был многосмысленно осложнен деятельностью русского правительства, пытавшегося не без успеха превратить Гёте, человека по существу консервативного, в представителя русской монархии при дворе европейской культуры. Возможность такого использования была дана тем, что друг Гёте — сын Великого герцога Карла-Августа был женат на родной сестре Николая I, Марии Павловне. Благодаря своему близкому знакомству с Марией Павловной и с православным священником в Веймаре Гёте очень интересовался Россией, в частности русской иконой, о которой он даже писал министру народного просвещения графу Уварову, ставя ему целый ряд существенных вопросов. В переписке поэта встречается даже запись, что православное богослужение, с которым он познакомился в Риме, произвело на него гораздо большее впечатление, чем католическое; поразило своей красотой и своей духовной свободой.

Царское правительство оказывало Гёте постоянное внимание. У него запрашивали кому из немецких ученых предложить кафедру в только что основанном Харьковском университете, с ним советовались по вопросу о создании Азиатской академии, в которой Гёте был и со своей стороны заинтересован. Все это, конечно, весьма не нравилось русской свободолюбивой интеллигенции. В особенности же ее возмущало то, что Гёте не присоединил своего голоса к протесту многих выдающихся немецких и французских писателей против «жестокой» расправы Николая I с восставшей Польшей. Не присоединил его, к слову сказать, также и Пушкин. Он даже защищал Николая.

Как русский двор относился к Гёте и в какой степени он видел в нем своего защитника от растлевающего влияния французской революции, очень ярко вскрывает книжечка князя Мещерского, французского журналиста, родившегося и выросшего в Веймаре. Читая ее трудно не ощутить ее явно официозный характер. Очевидно она была написана по желанию графа Уварова: «В то время, как на левом берегу Рейна всё нивелировали, равняли, на правом — всё возвышали. Что бы там ни говорили, просвещение — естественный враг равенства: оно всегда восходит, а не спускается — это — пирамида, которая, как бы ни была она широка, в основании суживается и кончается одной точкой. И что бы еще ни говорили, двор — уже по одному тому,

что он соединяет общественные верхи, — есть тот фокус, который притягивает к себе всё самое подлинное и чистое, что есть на высотах ума».

После этого прославления консервативно-монархического начала следует прославление великого Гёте, весьма напоминающее характеристику Пушкина, данную Достоевским в его известной речи. «Лучи Востока душистым ветерком принесли ему (Гёте) «Диван индусов»; полуденные лучи создали «Римские элегии». Лучи Запада оживили в нем высокие создания французской сцены и, наконец, — светило Севера, — он вобрал в себя всю германскую: — ее поэзию, все ее прошлое, все настоящее». — «Новое солнце — он имел только спутников; могучий из могущественных он был провозглашен королем, литературная республика в Германии превращается в абсолютную монархию».

За всеми этими восхвалениями как в стиле, так и в отдельных оборотах слышатся приказы графа Уварова. Все сводится к основной мысли: и такой человек стоит в борьбе между революционным пафосом французской революции и возвышенным правопорядком Всероссийского государства на стороне последнего.

Эта роль Гёте при царском дворе, да и вообще весь его духовный уклад, предельно волновал и даже возмущал левую интеллигенцию. Среди суждений о Гёте какою-то особою тупостью отличается мнение Варфоломея Зайцева: «Каким жалким филистром является великий Гёте, видевший во французской революции не более как повод написать либретто для оперетки. Мировой гений — он требовал усиления цензуры. Стóит заглянуть в его сочинения особенно в стихи, и станет ясно как день, что всем им не доставало следующего общего эпиграфа, взятого из его же дневника: — 'Присутствие в Карлсбаде Ее Величества императрицы австрийской вызвало несколько приятных обязанностей и несколько мелких стихотворений'. Таков этот филистр — поставщик комедий и стихов».

Важнее этих политически-безответственных суждений расхождение в оценке Гёте таких высококультурных и тонких русских людей, как, с одной стороны, декабристы, а с другой — «любомудры». Любимым певцом декабристов был, конечно, пламенный по чувству политически-активный Байрон, но любомудры его не любили и не любили как раз за его эмоциональную оппозиционность. Любомудры, как и князь Мещерский, чрезвычайно ценили «олимпийство» Гёте, понимая под ним его эстетический консерватизм. По мнению

любомудров «Байрон весь в заботах дня и в борении чувств, весь в живой и преходящей текучести, Гёте же наджизненен, наддневен и весь в непоколебимой объективности Бытия, ненуждающегося ни в каких переменах и бурях. Гёте космичен. Он почти то же, что природа. Байрон же — психологичен, он почти то же, что случайность мятежа человеческих чувств и действий, а значит и случайностей революции». Этой прекрасной формулировке нельзя отказать в верности.

Иначе относится к Гёте И. С. Тургенев. Как великого художника Тургенев Гёте любил и понимал. Особенно он ценил Вертера, Фауста и поэзию. В «Дворянском гнезде» русский романист создал трогательный образ немецкого музыканта Лема. Написал он и изумительный рассказ «Фауст». Тем не менее мы находим у него упрек Гёте в его эстетической замкнутости. «Гёте, — пишет он, — по преимуществу поэт, и больше ничего. В этом состоит всё его величие, но и вся его слабость. Последним словом всего земного для Гёте, так же как и для Канта и Фихте, было человеческое «я». Для Фауста не существует общества, не существует человеческий род. Он весь погружен в себя, он от себя ждет спасения. Поэтому Гёте, который гордился тем, что все великие перевороты, которые совершались вокруг него, ни на мгновение не возмутили его душевной тишины и остался позади своего века». В том, что Фауст навсегда останется величайшим произведением искусства, Тургенев не сомневался, но все же он думал, что «новые люди пойдут за другими менее талантливыми, но более сильными по характеру вождями и пойдут к новой цели».

В той же незаинтересованности в общественно-политической действительности т. е. в философски-художественном эгоцентризме упрекал Гёте в гораздо более резкой форме Александр Герцен. В своем рассказе «Встреча» он изображает Гёте в комической роли придворного поэта и ученого, напыщенно и по диллетантски рассуждающего в лагере для интервентов во время французской кампании о тех грандиозных событиях, которые развертываются перед его глазами и бравирующего тем, что в походе он занимался теорией цветов.

Оба противоречивых взгляда на Гёте столкнулись в жизни Кюхельбекера. Из всех своих сверстников Кюхельбекер горячее всех поклонялся немецкому поэту. Можно сказать, он боготворил его. «Гёте полубог, Прометей, среди всех других певцов, и ему усвояются все черты божества: у него — «вечно цветущая душа», он обладает всеведением — ему

ведомы «все струны сердца», он может поведать вселенную». Таково исходное отношение Кюхельбекера к Гёте, но после декабрьского восстания «царствование» Гёте над Кюхельбекером стало быстро ослабевать. В этом он сам признается в дневнике от 1840-го года: «Когда раз разочаруешься в ком бы то ни было, трудно быть даже справедливым к этому лицу. Царствование Гёте кончилось над моею душой... Мне невозможно опять пасть ниц перед своим бывшим идеалом, как я падал в 1824-м году и как заставлял пасть всю Россию. Я дал им золотого тельца и они по сю пору поклоняются ему и поют ему гимны, из которых один глупее другого, только уж я в тельце не вижу бога».

Это отрицательное отношение к Гёте, если не считать отдельных знатоков и почитателей, знавших Фауста наизусть, длилось до революции 1905-го года.

Совершенно иначе протекал диалог между Россией и Шиллером весьма основательно изученный и изложенный у Петерсона — выходца из России — в его немецкой работе «Шиллер в России».

Слава Гёте никогда не имела широкой общественной базы. Его ценили всегда только сравнительно узкие круги высококультурных русских людей, мыслителей и поэтов. Отношение к Шиллеру имело совсем другой характер. Его знала и даже любила почти вся читающая Россия. Сближение Шиллера с Россией началось со школьной скамьи. В известной военной академии в замке Солитриде, близ Штутгарта Шиллер познакомился, а затем и близко сошелся с учившимся там же графом Шереметьевым, сыном знаменитого барина-театрала, владевшим известным подмосковным имением Останкино. Из начального знакомства выросла крепкая дружба, о чем между прочим свидетельствует неоконченный роман Шиллера «Der Geisterseher», в котором выводится молодой человек своими свойствами и особенностями, как устанавливает Петерсон, очень напоминающий графа Шереметьева. О связи героя Шиллера с его русским другом свидетельствует и то, что они оба путешествуют под псевдонимом графа О, что явно означает Останкино.

Гораздо важнее этой близости между героем Шиллера и графом Шереметьевым, убедительно показанная Петерсоном, связь между «Разбойниками» Шиллера и русской народной драмой 16-го века. Тематическое и фабульное сходство так велико, что получается впечатление, будто бы Шиллер писал своих «Разбойников» при участии Шереметь-

ева. Как в русской драме, так и в «Разбойниках» действуют семь молодцов. Среди них по одному чужаку. В русской драме чужак — литовец, у Шиллера — богемец. В русской драме действует священник, у Шиллера пастор Мозер. Действие русской драмы происходит в глухих муромских лесах, немецкой — в богемских. Русские разбойники поют под гусли песню, которая и по сюжету и по метрическому строю очень близка немецкой.

Этим внутренним сродством разбойничьей жизни и разбойничьей песни объясняется очевидно то, что драма Шиллера не без влияния Шереметьева вошла в репертуар крепостного театра. Была этому впрочем и другая весьма особенная причина, указывающая на своеобразный либерализм крепостного режима. Петерсон во всяком случае сообщает, что крепостным актерам разрешалось раз в год перед Рождеством ставить пьесу по собственному выбору. Естественно, что крепостные актеры выбирали пьесы не без желания пожаловаться помещикам на свою судьбу, сказать: и мы, мол, хотим свободы. В качестве такой тираноборческой пьесы и стали выбираться «Разбойники». Из крепостных театров эти пьесы перешли, опять таки вероятно не без участия Шереметьева, в государственный театр. Известно, что московский Малый театр, в котором еще играли получившие волю крепостные назывался вторым московским университетом. Кафедру в этом университете по вопросам социальной этики и занял Шиллер.

О глубокой любви России к Шиллеру свидетельствует больше всего восхваление немецкого поэта Достоевским, человеком и художником, казалось бы, совершенно другого склада. Еще юношей, будучи в военном училище, Федор Михайлович писал брату: «Я вызубрил Шиллера наизусть, я говорю им, брежу им... Имя Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний». Под внушением этой влюбленности Достоевский написал бесследно пропавшую драму «Мария Стюарт». Временами это отношение к Шиллеру стихает, но все же оно проходит через всю жизнь Достоевского. Устойчивость его доказывается между прочим мало кем замеченным фактом: В «Братьях Карамазовых» имя Пушкина встречается шесть раз, имя Шекспира пять, а Шиллера целых тридцать. В тех же «Карамазовых» старик Карамазов представляет своих детей духовному лицу, как Франца и Карла, а себя как владетельного графа Мор. Дмитрий Карамазов охваченный «космическим восторгом» после свидания с Грушенькой декламирует

«Гимн радости» Шиллера, прокурор в своей обвинительной речи против Дмитрия тоже цитирует Шиллера.

Недавно Д. И. Чижевский, в статье о Шиллере в России, указал на то, что слова Ивана Карамазова в разговоре с Алешей: «Слишком дорого оценили гармонию и не по карману нашему столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно», являются перефразой шиллеровской строчки. В «Resignation» поэт говорит о том, что гармония мира неосуществима почему разочарованный человек и возвращает — не Богу, но чтимой им духовной матери, вечности нераспечатанным свою доверенность на вход в царство счастья.

Da steh ich schon auf deiner Schauerbrüke,
Ehrwürdige Geistermutter — Ewigkeit.
Empfange meinen Vollmachtbrief zum Glücke,
Ich bring ihn unerbrochen dir zurücke,
Mein Lauf ist aus. Ich weiss von keiner Seligkeit

Быть может важнее этих литературных непосредственных объяснений в любви Шиллеру высказывания русских писателей о значении для них Шиллера. Декабрист Тургенев называет Шиллера «моим поэтом», Достоевский «нашим поэтом», Белинский «нашим национальным поэтом».

И это не только случайно брошенные слова. Это, как у Белинского, так и у Достоевского, живые чувства и обоснованные мнения. «Благодаря переводам Жуковского, — пишет Белинский, — Шиллер стал ближе России, чем многие русские авторы. Читая Шиллера на русском языке, мы ощущаем его своим национальным поэтом». Так же думает и Достоевский. По его мнению Шиллер был предназначен стать «не только большим немецким поэтом, но одним из величайших русских. Он вошел в плоть и в кровь нашего общества, он нас воспитал и оказал на нас большое влияние».

Такое увлечение Шиллером было бы трудно объяснимо, если бы оно относилось к популярному в Германии патетическому поэту-идеалисту. Но в том то и дело, что между популярным в Германии поэтом и русским Шиллером — большая разница. Своего Шиллера Россия, конечно, не просто выдумала. Она лишь раскрыла и подчеркнула в нем черты, незамеченные Германией, и отодвинула на второй план того Шиллера, которого Ницше обругал «моралистическим трубачем». Как это ни странно, но полюбившийся России Шиллер, Шиллер-христианин был впервые вскрыт Гёте. В разговорах

с Эккерманом встречается весьма неожиданное понимание Шиллера как «святоподобного человека, устремленного ко Христу».

Для того, чтобы увидеть этого религиозно-устремленного Шиллера России надо было совлечь с него его рационалистическое кантианство и его враждебность к евангельскому откровению. Глубокой полемики против немецкого Шиллера в русской литературе нет. Обрусение поэта произошло как-то само собой: простым перенесением ударения на незамеченные в Германии стороны и подчеркиванием других сторон. Мне самому русский Шиллер приоткрылся неожиданно, когда занимаясь связью славянофильства с немецкой романтикой я установил, что мнение Киреевского будто бы — «восточные мыслители стремясь к истине заботились прежде всего о правильном состоянии мыслящего духа, западные же — о внешней связи понятий» — представляет собою почти дословный перевод шиллеровского признания, что для него в процессе мышления важны «не внешние согласования понятий, а внутренне правильное состояние мыслящего духа».

Отличие обеих формул только в том, что гносеологическая разница между правильным и неправильным познанием не переносится Шиллером в историософскую сферу, а потому и не совпадает с разнохарактерностью восточного и западного мышления.

Таким — по нынешней терминологии экзистенциалистическим определением истины — Шиллер явно уходит от гносеологического рационализма Канта. В моралистме же Канта Шиллер никогда не был повинен; против «категорического императива» он всегда выдвигал идею «прекрасной души», как основы эстетического воспитания человека. Нельзя не видеть, что это учение Шиллера соприкасается с верою Достоевского, что «красота спасет мир».

Третьим моментом сближения Шиллера с Россией надо считать его отношение к преступнику, в котором совершенно отсутствует звук черствой педагогической назидательности. «Ведь в тот час, в который он, — читаем мы у Шиллера, — совершал преступление, как и в те часы, в которых он несет кару и испытывает раскаяние, он мало чем отличается от каждого из нас». Эти слова очень близки убеждению Достоевского, что каждый за все и за всех виноват. Несчастненьким Шиллер преступника в своей статье «Преступление из-за потерянной чести», правда, не называет, но «заблудшим» все же именует.

В заключение моих беглых, но симптоматически, быть может все же показательных размышлений о русско-европейских отношениях в 19-ом веке надо еще упомянуть Гоголя. Европа только еще начинает его изучать и осваивать. Европейцем она его не чувствует. Скорее наоборот: он кажется ей чем-то экзотически-чужеродным. Даже в немецком энциклопедическом словаре, несмотря на немецкую любовь всюду выдвигать влияние Германии на другие культуры, нет ничего указывающего на зависимость художественного творчества Гоголя от немецкой романтики, которое было (как неоспоримо установлено наукой) весьма значительно. Интересно, что уже 18-летний Гоголь написал небольшую поэму, представляющую собою очевидное подражание Фоссовой «Луизе», исполненную почти непонятной любовью к Германии:

Веду с невольным умиленьем
Я песню тихую свою
И с неразгаданным волненьем
Свою Германию пою.

Тебя обняв, как некий гений,
Великий Гетё бережет.
И чудным строем песнопений
Свивает облака забот.

Эта юношеская любовь к Германии большого значения для характеристики гоголевского отношения к ней, конечно, не имеет. Гораздо важнее отношение Гоголя к Тику и Э. Т. А. Гофману. Стендер Петерсен датский автор, известный историк русской литературы, напечатал две небольшие специальные работы о зависимости Гоголя от этих двух романтиков, в которых ему удалось неопровержимо доказать, что Гоголь не только как поэт вдохновлялся произведениями Тика и Гофмана, но, что он часто заимствовал у них как фабулы, так и образы своих повестей.

Нельзя отрицать и явного влияния протестантизма на религиозные взгляды Гоголя. Хотя он сам в своей статье о литературе, как и в своей книге «Места из переписки с друзьями», чувствовал себя твердо православным, в его проповеди все же слышатся ноты Юнг-Штиллинга и Эккардсгаузена, т. е. того пиэтизма, который благодаря балтийской баронессе Крюденер играл не малую роль при дворе Александра I-го. Профессор Флоровский считает, что религиозность Гоголя

была много ближе пиэтической мистике, чем православной церкви. И действительно уж очень не по церковному звучат слова Гоголя: «Властью высшего облечено отныне мое слово — и горе кому бы то ни было, не слушающему мое слово».

К концу 19-го века духовно-культурная связь России с Западом явно ослабевает. Литература все определеннее и одностороннее отдает свои силы подготовке революции. Центром литературного творчества становится организованное Горьким издательство «Знание», распространяющее свои книги ради уничтожения добавочной стоимости, помимо книжных магазинов. Подобный «черной молнии» буревестник носится над всеми произведениями знаниевцев. В «Поединке» Куприн описывает смертоносную тоску захолустной гарнизонной жизни. В «Молохе» защищает стачку, в «Гамбринусе» превозносит революцию, в «Яме» рисует безнравственную буржуазную жизнь. В том же духе пишет и Шмелев своего «Человека из ресторана», Андреев в «Василии Фивейском» гневно засучивает рукава против Господа Бога.

Эту сосредоточенность на своих собственных и прежде всего общественно-политических вопросах, связанную с упадком интереса к вечным проблемам метафизического и историософского порядка нельзя однако считать прекращением диалога с западной Европой, нельзя потому, что идейное оскудение предреволюционного художественного творчества было явным результатом усиления западных, и прежде всего марксистских, идей в кругу писателей-знаньевцев.

Новый прибой русского творчества к западно-европейским берегам зашумел лишь после революции 1904-5-го года в связи с глубоким разочарованием, которое она вызвала в наиболее тонких людях левого крыла. Ярким показателем этого разочарования можно считать известный сборник «Вехи», в котором участвовали близкие марксизму и социал-демократической партии ученые: Булгаков, Бердяев, Франк, Струве и др. После революции, пройдя через критическую философию немецкого идеализма, эти ученые и общественники приблизились к церкви и оказались носителями того религиозного движения, что получило весьма неудачное название «неоправославие».

Такой же, но более широкий в своем разливе переворот произошел и в сфере искусства, в литературе, живописи и театре. Идеологически назойливый и натуралистически приземистый стиль знаньевцев и передвижников внезапно почувствовался чем-то провинциальным. В широких кругах интел-

лигенции внезапно родилась потребность шире распахнуть прорубленное Петром в Европу окно. На это пробуждение России щедро отозвался меценатский капитал. Появился ряд новых издательств и журналов; «Весы», находившиеся под определенным влиянием французских символистов, «Мусагет» связавший свое творчество с германской традицией; наряду с изданиями «Мусагета» в витринах книжных магазинов загорелись желтые тетради «Софии», великорусского органа одержимого любовью к киевской Руси, сохранившей по мнению редакторов еще живую связь с античной и христианской культурой. Появились и более популярные журналы, сыгравшие большую роль в духовной жизни России: — «Аполлон», «Золотое руно», «На перевале» и т. д.

За несколько предвоенных лет были переведены и выпущены писания мистиков Якова Бёме, Экхарта, Рейсбрука, Сведенборга, Плотина, фрагменты Гераклита, драмы Эсхила и Софокла, провансальская лирика 13-го столетия. В связи с символической лирикой появился большой интерес к французским символистам и немецким романтикам.

Параллельно с этой первой темой развивалась и другая: поэтами и учеными серебряного века было много сделано по углублению понимания старых русских писателей и поэтов. Баратынский, Гоголь, Тютчев и другие предстали в новом свете.

Такою же интенсивностью отличается и пореволюционное общение между Россией и Западом, как в области живописи, так и театра. Русская живопись долго отставшая от западно-европейской внезапно выдвинулась на первый план. В начале 20-го века она заняла первое место среди авангардистов. Основавший в 1911-м году школу абсолютного «беспредметного искусства» Василий Кандинский получает в 1925-м году профессуру в Веймаре и становится душою «Синего всадника», в котором рядом с ним работает и несколько других русских художников. В эти же годы расцветает русский балет Дягилева, декорации для которого создают русские художники-импрессионисты. В Литературно-художественном клубе в Москве, и в «Свободной эстетике» выступают с докладами Верхарн и Маринетти. В Историческом музее — философы Коген и Зомбарт. О крупных актерах, певцах, пианистах говорить не приходится. В годы предшествовавшие войне не было ни одного кажется известного артиста, который не побывал бы в Москве. Знаменитый Артур Никиш, как мне передавал его сын, считал, что более внимательной

и понимающей публики, как в Москве, он нигде не встречал. Всё это доказывает, что Достоевский был прав, говоря, что у русского человека два отечества — Россия и Европа и что всякий образованный русский думает прежде всего о Европе. В эти же годы Европа заинтересовалась Достоевским, Толстым, Мусоргским.

Хотя я мог иллюстрировать культурное общение России с Западом всего лишь несколькими примерами, я все же льщу себя надеждой, что и этих примеров достаточно для опровержения, как руссофобского («французы») так и руссофильского («евразийцы») утверждения, что Россия, как культурный мир, должна быть отнесена не к Европе, а к Азии.

Вопрос о том, чем Россия, как восточная Европа, отличается от западной — очень сложен. Его анализу я надеюсь посвятить следующую статью. Лишь в качестве предварительного намека хочу указать на то, что в симптоматической русской философии всегда отстаивалось начало «целостного сознания», по терминологии Соловьева «положительного всеединства» и что в ней одновременно упрекался Запад в утрате духовной целостности в жизни и в распаде культурного творчества на отдельные в самих себе укорененные т. е. автономные сферы. Наиболее резко эту мысль впервые сформулировал в своей известной статье «Просвещение Европы» Иван Киреевский. «Западный человек, — пишет он, — не понимает той совокупности высших умственных сил, где ни одна не движется без сочувствия других. Эта же мысль лежит и в основе соловьевской критики отвлеченных начал, господствующих в западно-европейском творчестве. И то, что эта критика, разделяемая многими русскими философами, не простая выдумка, а действительно лежащая в основе русского творчества и связанная с русским духом, культурная особенность доказывается хотя бы тем, что Россия почти не знала искусства ради искусства. Русское искусство неопределимо в своих лучших достижениях кантовской формулой «целесообразности без цели». Целью русского искусства всегда было усовершенствование жизни. Одни писатели, к которым принадлежит Гоголь, Толстой и Достоевский, надеялись усовершенствовать ее христианским преображением. Другие, от Радищева до Горького, думали, что ее можно усовершенствовать только на началах разума и революционного социализма. Как в России не было искусства ради искусства, так в ней не было и «беспредпосылочной» философии. Вся значительная и самостоятельная русская филосо-

фия была связана с религиозным началом, чем и объясняется, что в ней господствовали религиозная философия, философия истории и социально-этические вопросы. Вопросы же гносеологии, методологии и даже эстетики оставались в тени.

С этой структурой русской духовности связано и явное недоверие к рационалистическому началу, как началу расчленения духовной целостности. Это недоверие особенно остро и парадоксально было сформулировано опять-таки Киреевским. Он пишет: «Пока мысль ясна, она еще не созрела».

Федор Степун

ЛОГИКА СМЫСЛА И ЛОГИКА ИСТИНЫ

Так как у большинства представителей рода человеческого значение применяемых ими обычных слов и даже научных терминов в достаточной степени неясно, сбивчиво и субъективно, — то невольно возникает проблема об объективном и общеобязательном значении терминов, т. е. *о содержании* научных понятий. Поэтому я и задал себе вопрос: в чем состоит *дедукция* понятий, т. е. каким образом можно доказать всеобщую необходимость связывать с тем или другим понятием то или другое точно определенное содержание? Стараясь осветить эту проблему, я, по ходу моих размышлений, принужден был наметить элементы совершенно новой дисциплины — Логики Смысла — которая, как пробный камень для познания, предшествует, мне кажется, даже классической Логике Истины.

Приписывая столь исключительное по важности значение вопросу о содержании понятий, я поступаю в полном согласии с многими философами. Недаром ведь Сократ считал, что вся философия сводится лишь к «дедукции», или, как он говорил, epagogé понятий. Этим же объясняется и та ценность, которую он придавал деятельности Продика Кеосского, знаменитого своей способностью разбираться в самых тонких оттенках синонимов. И действительно, ведь в первичных образованиях языка уже кроется глубокая мудрость, что ясно сознавал и Стюарт Милль, говоря, что философы лишь незначительно могут менять первоначальное значение слов («Система логики», стр. 135). Что же касается важности, которую придавал лорд Бекон точному выяснению содержания понятий, то это ясно видно из его слов: «Если сами понятия, составляющие как бы фундамент здания, смутны и извлечены из предметов случайно, то все, что будет выстроено на этом фундаменте, непрочно» («Новый органон», кн. 1, аф. 9).

После этих замечаний, перехожу к нашей ближайшей теме, а именно: какой смысл нужно вкладывать в выражение — «доказать содержание данного понятия»?

Дело в том, что, по существу и согласно с правилами школьной логики, быть истинным (или ложным), а следовательно и требовать доказательства, могут *только суждения,* а не понятия. Еще Аристотель в своих «*Категориях*» выражается следующим образом: «В самом деле, всякое утверждение и всякое отрицание должно быть истинным или ложным. Слова же, в противоположность этому, которые не соединены с другими словами, не выражают ни истины, ни заблуждения; так, напр.: человек, белизна, короткий, триумф». («Категории», отд. II, гл. IV, § 3). То же мы находим и в «Логике» проф. Введенского (гл. I, §6) и у проф. Лиара, тоже в его «Логике» (кн. I, гл. V). Из знаменитых философов, державшихся того же мнения на этот предмет, можно указать еще на Декарта («Мафиз. разм.», Разм. III) и на Локка («Опыт о челов. разуме», кн. III, гл. VII). Далее: сами по себе понятия не представляют знания и логики постоянно указывают на то, что даже понятие, напр., луны, не есть истина, пока не утверждается, что она существует. В этом смысле, как мы видели, высказывается уже Аристотель во вышеприведенном тексте, Локк в своем «Опыте» (кн. II, гл. XXXII) и Лейбниц («Нов. опыт», кн. II, XXXII, § 1). Но ведь, с другой стороны, понятия все-таки, входя в состав суждения, в котором воплощается познание, тоже имеют отношение к знанию, являясь как-бы его «химическими элементами». Это выражение я употребляю в том смысле, что, подобно тому, как вода обладает новыми *физическими* свойствами относительно входящих в ее состав кислорода и водорода, — подобно этому и суждение, состоя из понятий, может обладать новым свойством — истинностью, — которого нет в понятиях. Это отсутствие истинности в понятиях, поскольку на мыслится только в суждениях, по-моему, совершенно очевидно. Однако, несмотря на это, следует обратить внимание на одно чрезвычайно важное обстоятельство: не все понятия, с точки зрения познания, имеют одинаковую *ценность*. Есть понятия, которые мы, даже после поверхностного рассмотрения, отбрасываем, за их негодностью. Таким образом, в понятиях есть тоже момент, аналогичный моменту истинности в суждениях. В чем же заключается это свойство? При его определении нужно обратить внимание на следующее: суждение заключает в себе синтез представлений в форме двух понятий. Этот синтез может быть случайным, субъективным — и тогда это суждение ложно; или же он может быть необходимым и объективным — тогда суждение истинно. Эта необхо-

димость объективного синтеза должна содержаться даже в единичных суждениях, как совершенно справедливо указывает Зигварт в своей «Логике» (т. I, ч. I, отд. VI. § 3). Истинностью, значит, является объективность синтеза. Переходя теперь к понятиям, мы прежде всего должны обратить внимание на то, что они *тоже заключают в себе синтез представлений.* В этом отношении они вполне напоминают суждения, так что многие их даже не различают. В древности, как известно, напр., Сократ и Платон полагали, что знание состоит из понятий. В новое время тоже не все авторы различают понятия и суждения. Так Генрих Риккерт в своих «Границах естественно-научного образования понятий» описывает науку, как деятельность не создания суждений, а создания понятий, хотя у него нет места смешению, — а просто, с его точки зрения, между понятиями и суждениями нет принципиальной разницы.

Итак, повторяем, понятия тоже состоят из синтеза представлений. В чем же может заключаться *совершенство* этого синтеза, делающее понятия годными быть элементами системы познания? *Очевидно, не в том, чтобы этот синтез был объективным,* т. к. в противном случае понятия обладали бы *истинностью,* на что они не могут претендовать, т. к. истинность предполагает суждение, а это последнее — уже готовые и *совершенные* понятия. Значит, это совершенство понятия должно быть *одним из возможных определений субъективного синтеза представлений.* По внешней форме положение это чрезвычайно *парадоксально:* понятия, заключая в себе *субъективный* синтез представлений и будучи синтезированы между собой, в конечном итоге могут создать *объективный* синтез представлений в форме совершенного, т. е. истинного суждения!

Несмотря на эту парадоксальность, дело мне представляется обстоящим именно так. Перед нами неисчерпаемое многообразие чувственного мира. Восприятие превращает его в отдельные предметы, которые затем объединяются нами в группы. Эти группы создают объем понятий и как бы барьеры (circumscriptiones) в пределах многообразия мира, а абстракция извлекает из данного ограниченного многообразия содержание понятий. Логический процесс проведения этих барьеров в многообразии, в известном смысле, всегда носит характер некоторой субъективности к произвольности и может быть заменен другим. На это очень часто указывают в той форме,

что говорят, будто научные понятия условны и иногда заменяются другими.

То, на основании чего происходит объединение представлений в понятия, *есть сходство и различие этих представлений между собой.* На этой способности различения и усмотрения сходства покоится вся деятельность человеческого рассудка и без нее не может быть ни истины, ни познания. Заметим, что эта функция заключается *в непосредственном* улавливании сходства и различия, т. к. для того, чтобы искать *дальнейшего* сходства в предметах, объединенных в группу, нужно уже предварительно их объединить. При помощи возрастающей или убывающей степени сходства и различия предметы оказываются объединенными в группы — в форме подчиненных друг другу и соподчиненных понятий. Надо обратить внимание на то, что эту систему понятий, которая в общих чертах согласуется у всех людей, можно было бы создать совсем иначе и объединить многообразие в другие группы, в пределах которых тоже наблюдалось бы *сходство представлений.* По этому поводу Риккерт совершенно справедливо замечает: «Всякая единичная форма обладает неисчерпаемым, стало быть, бесконечным многообразием. В таком случае, если мы приступим к делу без предположений, должно оставаться произвольным, что такое мы выхватим из этого многообразия, для того, чтобы найти принцип сравнения вещей друг с другом». («Границы», гл. I, § 3). Это все совершенно верно и систем понятий с этой точки зрения может быть много; но эти системы могут быть *неравноценны в другом отношении.*

Возьмем следующий пример. У нас имеются два человека, А и В, и два восковых портретных манекена этих людей, A^1 и B^1. Создавая понятия мы могли бы с первого взгляда, на основании поверхностного сходства, создать две группы: AA^1 и BB^1. Такие группы действительно иногда и создаются, даже для научных (вернее, практически-научных) целей, и называются искусственной классификацией. Недостатком этого синтеза представлений будет то, что если рассудок, подчиняясь своему естественному и роковому стремлению к усмотрению сходства, т. е. общего, постарается углубить свое обобщение — он скоро должен будет или остановиться в своем движении, или же перегруппировать предметы многообразия, соединив представления в группы: АВ и A^1B^1, т. е. «люди» и «статуи» (манекены). Предыдущее образование понятий оказалось нецелесообразным в смысле искания *дальнейшего сходства,* т. е. други-

ми словами, понятия, напр., А A^1 и А B^1 обнаружили не *одинаковое совершенство.*

Приведу другой пример, который может показать, на основании всего сказанного, как *объективный* синтез в суждениях может оказаться осуществленным на основе субъективного синтеза в понятиях. Беру тот же грубый пример. Перед нами многообразие, состоящее из людей: А, В, С..., их портретных мраморных статуй: A^1, B^1, C^1... и необработанных кусков мрамора: а, в, с... Теперь соединим, на основании внешнего сходства, две группы: А. В. С... и A^1, B^1, C^1.. в одну и создадим понятие Х; объединим также многообразие: а, в, с... в понятие У. Хотя оба синтеза *были субъективны,* совершенно произвольны и даже бессмысленны — суждение, что Х не есть У окажется правильным и будет заключать в себе *объективный момент.* Но это и все: дальше с этими понятиями делать нечего и в созданном суждении будет первое и, пожалуй, последнее их применение. Если рассматривать создание области, намеченной понятием, как *указание рассудку того направления, в котором он должен искать общего,* — от можно сказать, что формирование понятий может быть рассматриваемо с точки зрения *целесообразности:* область (circumscriptio) намечается произвольно, но одна область может оказаться плодородной и с богатейшими россыпями, сокрытыми в ее недрах, а другая — пустырем, годным только для детских игр! Об этой целесообразности в образовании понятий говорится и в «Логике» Зигварта (I т., стр. 280); что же касается Риккерта, то он выражается по этому поводу следующим образом: «У нас не только должно быть некоторое основание для того, чтобы из возможных, благодаря естественному значению слов, классификаций отдать предпочтение какой-нибудь одной, но и для того, что мы вообще выбираем одну из этих классификаций, а не из необозримого множества тех, которые помимо них были бы еще возможны». («Границы», гл. I. § 111). В этой внутренней целесообразности и заключается то *совершенство понятия,* которое мы искали, решив предварительно, что оно (понятие) создается субъективным синтезом. Если пользоваться выражением Канта, то можно сказать, что специфическая сила понятия — в его *регулятивности,* а не в его *конститутивности.* Удачное понятие, т. е. счастливое предварительное обобщение, с которого мы начинаем свои исследования, есть прежде всего *гипотеза,* заключающаяся в том, что если мы пойдем *в этом направлении,* то наше стремление к обоб-

щению найдет себе более плодотворную почву и увенчается бо́льшим успехом, чем ежели мы пойдем в другом. Я брал специально весьма грубые примеры, т. к. моей целью было *не решить* этот глубокий вопрос о гносеологической сущности понятий, а только его затронуть по поводу «доказательности» понятий вообще.

Заметим дальше, что в своем рассуждении я все время молчаливо предполагал соблюдение известных *предварительных* условий при образовании понятий, которые играют не менее (если не более) важную роль при их формировании. Если рассматриваемый мною принцип целесообразности можно было назвать *регулятивным,* то принципы, о которых я сейчас хочу сказать несколько слов, со всей справедливостью нужно определить как *конститутивные.* Если несоблюдение принципа целесообразности создает только ненужность понятия, то нарушение принципов конститутивных делает его прямо *бессмысленным.* Объясняется это тем, что конститутивные принципы, как мы сейчас увидим, касаются именно *логической* структуры понятия, тогда как регулятивные — только его *плодотворности.* Другими словами, конститутивные принципы являются conditiones sine quibus non и первым пробным камнем при определении *совершенства* понятия. В чем же они заключаются? Прежде всего, в том основном требовании, на котором особенно настаивает критическая философия, а именно:

1) *Понятия не должны быть пустыми словами,* а должны всегда содержать под собой многообразие и иметь возможность быть размененными на *созерцания* — вот первый конститутивный принцип. Это ведь и является, в конце концов, основной мыслью «Критики чистого разума» Канта. Будучи синтезом, понятие должно ведь прежде всего иметь материал, из которого оно создается, играющий ту же роль, как кирпич при постройке дома. Шопенгауэр даже посвятил прекрасную главу (VII) II тома своего «Мира как воля и представление» специальному и подробному объяснению этого принципа, который он совершенно ясно выставляет еще в своей диссертации «О четверояком корне закона достаточного основания». Свойство это может быть названо *реальностью понятия* или *материальным* принципом в образовании понятий.

2) Второй конститутивный принцип легко формулировать, исходя из следующих размышлений. Всякое понятие должно не только объединять многообразие, исходя из принципа сход-

ства представлений, но и *различать объединенное многообразие* от всего того, что *могло бы быть объединено.* Таким образом, в самой конструкции понятий заключается уже мысль об известной коррелативности. *Если понятие имеет смысл, то всегда должно быть и нечто, что не подходит под данное понятие,* при чем это «нечто» тоже должно иметь известную реальность. При этом следует однако заметить, что эту *реальность* не нужно смешивать с *существованием,* т. к., во-первых, само понятие существования должно иметь свою реальность, а, во-вторых, под реальностью мыслится вообще нечто более общее нежели существование.

Итак, понятие, которое охватывало бы все многообразие и ни от чего не отличалось бы, было бы бессмыслицей. При критике философских систем этот принцип применяется очень часто — и уже, напр., Якоби («О трансцендентальном идеализме») заметил его нарушение у Канта в вопросе о вещах в себе. Действительно, если многообразие может быть только чувственным, то понятие вещи в себе не имеет никакой реальности (нарушение первого конститутивного принципа). Если же понятие вещи в себе бессмыслица, то бессмыслицей является и коррелативное ему понятие явления. В самом деле, явление, в котором ничего не является, или явление, расширенное до границ мира и которое ни от чего не отличается — вряд ли можно примирить с устройством нашего рассудка. Это — типичное нарушение второго конститутивного принципа. Той же самой потребностью человеческого духа в коррелативности объясняется и упорное существование и возрождение под разными новыми названиями *атомизма,* кладущего в основу делимого неделимое и в основу сложного — простое.

Упомянутый второй конститутивный принцип образования понятий отчетливо сознавали многие философы, и только основной порок, какая-то основная антиномичность нашего разума мешала и, повидимому, будет мешать его последовательному проведению. Осмелюсь даже высказать предположение, что всю историю философии можно было бы объяснить, как стремление людей провести этот принцип в законченной форме.

Я сказал, что принцип этот сознавали почти все философы, но выражали они его, конечно, различно. Так Спенсер, напр., в «Основных началах» говорит, что в каждом определении есть мысль о том, что не подходит под это определение (стр. 77), а Лосский в «Обосновании интуитивизма» указывает на то, что «различение» — основа всякого познания (гл.

III, § 1). Что же касается проф. Лиара, напр., то он выражается следующим образом: «Другая существенная особенность любого понятия, остававшаяся долго незамеченной логиками, заключается в том, чтобы разделять всю совокупность реальных и возможных вещей на две группы: тех, которые обладают признаками, заключенными в данном понятии, и тех, которые ими не обладают — так же, как окружность делит все пространство на две части: одну — внутреннюю, а другую — внешнюю по отношению к ней» («Логика», кн. I, гл. VI).

После всего изложенного, я думаю, что этот второй конститутивный принцип образования понятий достаточно ясен. Он может теперь, в отличие от первого принципа, быть названным *формальным,* хотя они оба в то же время являются формальными по отношению к регулятивному принципу целесообразности понятия. Высказав все вышеприведенное, льщу теперь себя надеждой, что мы достаточно выяснили, в чем, в конечном итоге, заключается то общее *совершенство* понятия, о котором мы говорили в начале этого этюда. Это свойство *понятия,* которое логически соответствует истинности *суждения,* заключается, на основании вышесказанного, в удовлетворении *трем* основным принципам образования понятий вообще, а именно:

1) Конститутивным принципам:

а) *реальности* и б) *коррелативности.*

2) Регулятивному принципу *целесообразности.*

Понятие, удовлетворяющее этим принципам, может быть определено, сообразно обычному словоупотреблению, как обладающее *значимостью.* Итак, значит, научно-совершенное *суждение* достигает объективности тем, что оно *истинно,* а входящие в его состав *понятия — значимы.*

Для пояснения прибавлю еще следующее. Несоблюдение первого формального (конститутивного) принципа реальности делает понятия *пустыми и чисто-вербальными.* Примеры: прямое направление в пространстве в формуле инерции — в классической физике и понятие энергии, поскольку она не разменивается на движении, т. е. перемещение (действительное или возможное) — в физике современной. Несоблюдение второго формального (конститутивного) принципа коррелативности делает понятия *бессмысленными.* Примеры: относительное время у Эйнштейна, если не отдавать себе отчета в присутствии в его системе времени абсолютного, тщательно спря-

танного (закамуфлированного) за завесой слов в формуле скорости света; и еще: понятие Я в системе солипсизма. Что же касается несоблюдения материального (регулятивного) принципа целесообразности — то оно делает понятия *бесплодными*. Пример: общее понятие «человека, родившегося, скажем, 11 февраля 1942 г.».

Все, что я говорил о понятиях, в противоположность обычной Логике Истины, может быть названо Логикой Смысла.

Разъяснив все это в общих чертах, перейду теперь к *более подробному* рассмотрению регулятивного принципа целесообразности, т. к. именно он отвечает на мой основной вопрос — в какой мере понятия вообще могут быть «доказаны». Я уже вкратце упомянул, что всякое установление понятия может быть рассматриваемо, в известном смысле, как произвольное, т. к. *вещи по сходству можно объединять в самых различных комбинациях*. Объясняется это тем, что объекты заключают в себе необозримое многообразие свойств. В этом пункте ход моих мыслей об обосновании синтеза в понятиях и суждениях привел меня к тем же проблемам, как и Генриха Риккерта, с которым я во многом согласен, хотя подходил к этим вопросам с другой стороны; поэтому, разъяснив несколько проблему, приведу в заключение целый ряд выписок из его превосходной книги: «Границы естественно-научного образования понятий».

Как мы уже объяснили, совершенное понятие так объединяет действительность, что не только указывает сходство между объектами, но и дает надежду, *что это сходство простирается еще и дальше*. Таким образом, оно как бы окрыляет рассудок и побуждает его к новым исследованиям — искать *дальнейшего* сходства между объектами *в том же направлении*. Действительно, из логики ведь известно, что понятие есть совокупность существенных признаков, причем под последними подразумеваются те признаки, из которых каждый в отдельности необходим, а все вместе достаточны, чтобы отличить данное понятие от других (Введенский, «Логика», гл. III, § 4). Я взял именно это определение, как более дифференцированное, т. к. у других логиков, по-моему, недостаточно отчетливо проведена разница между существенными признаками, как средством различения понятий, и существенными — как общими, постоянными, соответствующими essentia рода. Я имею в виду, напр., «Логику» проф. Лиара — прекрасную книгу, но которая не вполне меня удовлетворила в этом отношении (Лиар, «Логика», кн. I, гл. III).

Определение проф. Введенского, приводимое мною, повидимому, вполне соответствует Кантовскому, т. к. *только при таком понимании существенных признаков возможны общие синтетические суждения.* Действительно, Кант прекрасно отличал общие признаки от существенных, т. к. неоднократно повторял, что тяжесть, напр., хотя и общее свойство тел, но как признак *не мыслится* в понятии тела. Поэтому-то суждение: «Все тела тяжелы» — синтетическое.

Из приведенного определения ясно, что в понятии мыслится только *часть* признаков объектов (именно — существенные), остальные же могут быть обнаружены *лишь при дальнейшем исследовании.* В связи с этим, понятие, обладающее *значимостью,* как бы регулирует и направляет деятельность рассудка, ищущего сходства, и дает руководящую нить к открытию *законов сосуществования свойств.* В силу этого, способность человека к удачному созданию понятий, этих *отправных пунктов научного исследования,* в известном смысле тождественна с научной гениальностью в открытии законов природы. Отсюда ясно также, что, тоже в известном смысле, *значимость понятия может быть вполне обнаружена лишь научной, бэконовской индукцией,* как средством оправдать *догадку* о сосуществовании свойств.

Далее заметим — и на этом особенно настаивает также и Риккерт — каждое подлинное научное понятие бывает не только *эмпирически,* но и *безусловно* всеобщим. А это значит, что оно, хотя и отвлекает общие свойства от *эмпирически ограниченного* круга объектов, но в основе своей содержит мысль, что свойства внутренне связаны так, что выражают какую-то сущность природы, — и что существует еще *неограниченное* количество предметов, которые подойдут под это понятие, несмотря на то, что мы до сих пор не наблюдали их в опыте. В этом смысле, каждое научное понятие, подобно закону природы, выходит за пределы наличной эмпирической действительности. Неопределенность объема понятия — это то же, что и всеобщность закона природы. В этой неопределенности объема научного понятия и заключен момент *гипотетичности,* которая *лишь по мере постоянного подтверждения в опыте может оправдать свое значение.* Очевидно, «доказательность» понятия в конечном итоге индуктивна, а потому не может быть никогда вполне закончена.

Теперь, в завершение, приведу несколько текстов из «Границ» Риккерта — текстов, о которых я говорил выше. Они

вполне совпадают с моей последней мыслью, но своим совершенством и законченностью будут способствовать еще большему выяснению предмета. Вот они:

«Для того, чтобы было возможным преодоление бесконечного обилия явлений, мы должны быть в состоянии образовать понятия, необходимо обнимающие бесконечное количество форм» (гл. I, § 3). — «Бесконечное многообразие действительности преодолимо благодаря общности суждений. Такие безусловно общие суждения, в которых что-либо высказывается о действительности, мы называем законами природы. Теперь мы в праве поэтому сказать также, что мы можем охватить бесконечное обилие единичных форм в бесконечном пространстве и бесконечном времени в понятии лишь при том предположении, что содержание этого понятия состоит из суждений, в которых находит свое выражение закон природы» (гл. I, § 3). — «Ценным членом в ряду усилий, клонящихся к познанию телесного мира, какая-либо наука может быть лишь в том случае, если она имеет в виду конечную цель всего естествознания, уразумение соответствующей законам природы необходимости вещей, уже при первых шагах, ведущих к образованию понятий» (гл. I, § 3).

На этом я и заканчиваю свой этюд, в надежде, что другие философы, находящиеся, в смысле свободного времени, в условиях более благоприятных, разовьют мои наброски Логики Смысла во всех ее корролариях. Я предложил бы им подумать над гносеологическим *примато́м* Логики Смысла в отношении Логики Истины и над теми последствиями, которые отсюда вытекают для создателей философских систем; я пригласил бы их также дать себе отчет в тех разрушительных результатах, которые повлекло бы за собой применение принципов Логики Смысла и к очень многим из современных физических теорий.

Д-р Николай А. Реймерс

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

И. Н. КОВАРСКИЙ

8-го июля с. г. в Нью-Йорке на 82 году жизни скончался член корпорации «Нового Журнала» Илья Николаевич Коварский. Врач по профессии он был всегдашним другом русской литературы и участвовал не в одном литературном начинании за рубежом. В Париже И. Н. был близок к журналам «Современные Записки», «Русские Записки», там же он основал русское издательство «Родник», где, кстати, вышла первая зарубежная книга И. А. Бунина «Солнечный Удар» и «Розы» Г. Иванова. В лице И. Н. наш журнал потерял большого и искреннего друга.

И. Н. родился в 1880 г. в Двинске; окончил гимназию в Нижнем Новгороде; в Дерпте окончил университет по медицинскому факультету. Смолоду И. Н. вступил в партию социалистов-революционеров, в которой играл заметную роль. В 1917 году И. Н. работал в Москве, как врач, при городском самоуправлении. После революции И. Н. был избран гласным Думы и одним из товарищей московского городского головы В. В. Руднева. По списку партии с. р. И. Н. прошел в Учредительное Собрание от могилевского избирательного округа. После разгона У. С. Илья Николаевич одно время был членом редакции ежедневной эсэровской газеты «Возрождение» в Москве. Но вскоре события заставили его, как многих, покинуть родину.

В Париже, в эмиграции, И. Н. сочетал свою медицинскую работу с общественной и литературной. Как мы уже упомянули, он был близок к русскому толстому журналу «Современные Записки», выпускал книги в изд-ве «Родник». В то же время И. Н. был членом, а потом и председателем Мечниковского Медицинского Общества, а также по-окончании в Париже Института Детской Медицины, практиковал как врач. Так прошли годы эмиграции во Франции с 1919 по 1940.

В 1940 г. И. Н. с семьей покинул Францию, переехав в США. И здесь на новой земле, как всю свою жизнь, И. Н. опять-таки сочетал общественную работу с медицинской практикой. Работая, как врач, в американской профсоюзной организации «Юнити Хауз», И. Н. в то же время состоял многолетним председателем Общества Российских Врачей в Нью-Йорке, и был членом ряда общественных организаций. Щепетильно честный, всегда принципиальный, всегда отзывчивый к чужому горю, до конца дней сохранивший в себе облик типичного русского врача-интеллигента, у всех знавших его И. Н. оставит по себе самое теплое и чистое воспоминание. В предсмертном письме, обращенном к своим близким, И. Н. писал: «В своей жизни я ценил в человеке больше всего честность и больше всего ненавижу предательство во всех его видахъ...»

Р. Г.

Н. Е. ЕФРЕМОВ

14-го сентября с. г. скоропостижно скончался постоянный сотрудник нашего журнала профессор Николай Евдокимович Ефремов. Свои статьи он подписывал — Нижальский, Галин, Иренин. Н. Е. скончался 58 лет, в полном расцвете творческих сил, он много работал и ничто, казалось, не предвещало его трагический конец. Тем тяжелее утрата для всех, кто знал этого талантливого ученого, интересного писателя и широкого, с самыми разносторонними интересами, прекрасного человека. Кроме «Нового Журнала» Н. Е. сотрудничал во многих русских и украинских изданиях: в альманахах «Мосты», в газете «Новое Русское Слово», в «Анналах» Украинской Академии Наук, в «Бюллетене» Общества украинских инженеров в Америке и в других. А на радиостанции «Свобода» Н. Е. выступал, как постоянный научный комментатор.

Н. Е. родился на Кубани. Юность свою он провел на Дону, где получил среднее образование. Потом — Н. Е. окончил два высших учебных заведения: Политехнический Институт в Новочеркасске и Горный Институт в Ленинграде, а позднее дважды получил степени доктора в Ростовском и Львовском университетах. Геолог по своей основной специальности Н. Е. участвовал во многих разведочных экспедициях на Кав-

казе, в Казахстане, на Урале, в Сибири. Ему принадлежит описание многих неизвестных минералов. И его именем — «ефремовит» — назван один из открытых им минералов. В Советском Союзе Н. Е. работал в Центральном Геологическом Комитете, был профессором Геологического Института Академии Наук в Москве, занимал научные кафедры в высших учебных заведениях других городов. А после войны, в Германии, в Мюнхене, Н. Е. был профессором в университете, основанном УНРА.

Н. Е. принадлежит до 80 научных работ — книг и статей по геологии, геохимии, минералогии, агрохимии, физике. В США Н. Е. состоял членом Американского Геофизического Союза, Американского Географического Общества, Американского Геологического Общества, Американского Минералогического Общества, Американского Геофизического Союза. Его доклады на съездах этих обществ печатались в «Бюллетенях», выпускаемых этими научными организациями. Кроме того Н. Е. состоял членом Украинской Академии Наук в США и членом Украинского Технического и Сельско-хозяйственного института. В Нью-Йорке с научными докладами Н. Е. выступал в Украинской Академии Наук и в Обществе Русской Культуры.

В Советском Союзе покойный Н. Е. прожил трудную жизнь. Он происходил из богатой казачьей семьи, которая сильно пострадала от большевизма. В его семье были и сосланные и расстрелянные. Из-за своего социального происхождения Н. Е. пришлось положить много труда и энергии, чтобы получить высшее образование. Тем не менее он это одолел. Ученик профессоров Вернадского и Ферсмана Н. Е. пробился к любимой им науке, но и позднее всегда чувствовал себя под ударом, несмотря на занимаемые им ответственные посты и научную работу. В «ежовщину» Н. Е. был арестован, прошел через тюрьмы и был сослан в концлагерь в Арктику, работал на Таймыре, на Печоре. Эти годы репрессий, а потом и страшные годы войны сказались на его от природы крепком здоровье. И кто знает, может быть причиной его скоропостижной преждевременной смерти в какой-то мере была и эта надорванность организма. Все кто знали Н. Е. всегда будут думать об этом человеке с чувством большой дружбы и с чувством большого горя переживут его преждевременную трагическую смерть.

Р. Г.

БИБЛИОГРАФИЯ

JOSEF MACKIEWICZ. *"Der Weg ins Nirgendwo"*. Bergstadtverlag Wilhl. Gottl. Korn, München. 1961 (431 S.).

Эта к сожалению все еще не переведенная на русский язык книга польского автора представляет собою очень своеобразное произведение. Автор называет ее романом, что верно лишь постольку, поскольку трудно найти более подходящее название. Но, если «Дорога в никуда» и роман, то роман и по содержанию и по форме весьма своеобразный и своезаконный. Читая Мацкевича вы все время чувствуете в нем историка, прежде всего историка нашей жуткой «взвихренной» обезумевшей современности, при чем именно историка, а не историософа. Всё, что Мацкевич описывает, он знает точно. Поскольку эти термины применимы к исследованию современности, в его творчестве чувствуется нечто архивно-документальное. Страница 128-я читается как страница серьезного научного исследования. 17-я глава в которой Тадеуш развивает свои взгляды на диалектический материализм производит впечатление краткого этюда по социальной психологии. Почти тоже можно сказать и о 28-й главе. Казалось бы такое включение чужеродных искусству научных элементов в эпическое произведение должно было бы нарушать его структурную целость, но странным образом этого не случается: отчасти быть может потому, что научная документация событий придает им вес исторических реальностей, обязующих читателя взять на себя ответственность за них. Таким образом в творчестве Мацкевича связь художественного начала с научным оборачивается третьим этическим измерением. Перед выдумкой можно закрыть глаза и пройти мимо, а перед страшною действительностью этого сделать нельзя.

Фанатикам чистых форм творчество Мацкевича может, конечно, прийтись не по вкусу. Я же думаю, что Ю. И. Айхенвальд был прав написав в рецензии на одно тоже своезаконное художественное произведение, что там, «где на лицо квалификация вопрос о классификации теряет значение».

Своеобразие Мацкевича как писателя сказывается весьма неожиданно и в том, что он, как автор эпических форм, часто вол-

нует читателя подлинным лиризмом. Вскрыть этот лиризм можно было бы только пространными цитатами, которые были бы непонятны вне раскрытия сюжетной фабулы романа. В краткой рецензии такие цитаты невозможны. Тем не менее мне хотелось бы указать на то, что в романе Мацкевича много мест углубленно говорящих о любви и смерти. Очень хороша сцена, в которой героиня романа Вероника, возвращаясь в деревню, несет в нее свою любовь такою же ни кем не тронутой, какою она несла ее в березовый лесок. «Да, — задумчиво мидитирует Мацкевич — как часто любящее сердце не находит рук, которым можно было бы доверить свою любовь». Мысль, конечно, не новая, кто так ни думал, но под скупым и точным пером Мацкевича она живою скорбью доходит до сердца. Большое впечатление производит описание покинутого крестьянином двора. Вот кто-то подымает растоптанную ложку, которой ел каждый день хозяин и опять становится больно. Описана, конечно, мелочь, случайная деталь, но Мацкевич умеет пользоваться такими мелочами, понимая, а может быть только интуитивно чувствуя, что в искусстве, как и в математике господствует принцип дифференциального исчисления, т. е. принцип бесконечно большого значения бесконечно малых величин. Смерть уже так долго и громко безумствует в нашей жизни, что перекричать ее нельзя, можно только перешептать.

Я уже сказал, что Мацкевич историк, а не историософ. В его описаниях исторических событий нет не только никакой софии, т. е. мудрости, каких бы то ни было замыслов судьбы, в них вообще не вскрывается никакого убежденного смысла. Мацкевичу как будто совершенно чуждо осмысливание тех событий, о которых он повествует. Среди почти всех описываемых им людей нет людей, существование которых было бы в каком бы то ни было смысле существенно. Заостряя эту мысль можно было бы сказать, что люди Мацкевича вообще не существуют как люди. Большинство из них марионетки, которых непрестанно дергает за веревочки скрытая за сумрачной облачностью властная красная рука. Эти марионетки написаны Мацкевичем весьма рельефно, но в них нет ни субстанции ни судьбы. Субстанция заменена в них какими-то густыми туманностями, а судьбоносность растворяется в них в случайность. Со скорбью отмечает читатель, что персонажи Мацкевича бездумно и бесчувственно предают любые идеи а, если нужно, то и близких людей, но эта скорбь не превращается в обвинения. Мацкевич никого не обвиняет, но тут-то и подымается вопрос. Разве людей, которых нельзя ни в чем обвинять, можно считать за людей и разве творимую такими людьми историю можно вообще считать историей. Прямого ответа на этот вопрос у Мацкевича нет, но я склонен ответить

на него, не забывая евангельской заповеди: «Не судите, да не судимы будете» — положительно. Мацкевич не потому не судит своих людей, что он христианин, а потому что он как историк, который рассматривает революцию, как природный процесс. Это превращение истории в природу придает творчеству Мацкевича нечто непреодолимо-тяжелое, но по-своему и своеобразно существенное.

Все действующие в романе люди не являются контрапунктически связанным друг с другом единством, в котором они пребывают до конца повествования. Они скорее производят впечатление беспокойных волн жизненного моря, темная пучина которого то вознесет кого-нибудь вверх вспенившейся волной, то снова погрузит его в свою глубину. Все персонажи в «Дороге в никуда», даже самые главные из них, не субъекты действия, а объекты, которыми кто-то движет. Кто? Ни Бога, ни чорта, как трансцендентных реальностей Мацкевич как-будто бы не знает. В последней глубине его творчества маячит какая-то мистическая анонимность, в чем однако не недостаток романа, а его своеобразие, его особенность, как миросозерцательная, так и формально-архитектурная. Роман Мацкевича сюжетно связан с русской революцией. Сейчас Мацкевич работает над новым романом, который тоже будет вероятно очень интересен нам русским.

Федор Степун

ORTHODOX ENCOUNTER, By N. Zernov, London, 1961

Небольшая книга Н. Зернова, «Встреча с православием», обращена преимущественно к англиканам, т. е. членам государственной церкви Англии, а также их единомышленникам, в частности, к членам «протестантской епископальной церкви» в С. Штатах. Но она представляет интерес и для тех русских, которые хотели бы хоть немного разобраться в вопросах, обсуждаемых т. н. «экуменическим движением», т. е. мировой организацией церквей, стоящих на почве христианства и чувствующих потребность объединения той разрозненной храмины, какой в наши дни оно является. В это движение в декабре минувшего года вошла московская патриархия, а также некоторые церкви на территории стран-сателлитов. В июне с. г. было сообщено, что заявления о желании вступить в движение поступили от грузинской православной церкви, от армяно-грегорианской церкви, от союза баптистов СССР и от лютеранских церквей Эстонии и Латвии.

В книге Н. Зернова, посвятившего свою жизнь делу сближения православия с англиканством, общий интерес представляют две

первые главы, в которых кратко, но ясно обрисовываются расколы, приведшие к раздроблению христианства на множество зачастую враждующих между собою организаций. Особенно подробно автор говорит о расколе между Римом и Константинополем; при этом выясняется, что события 1054 г., к которым этот раскол обычно сводится, были лишь частичным эпизодом. Главную роль сыграли 4-ый крестовый поход (начало XIII века), приведший к завоеванию Константинополя «латинянами», и неудача флорентинской унии (начало XV века), после которой западные и восточные христиане осознали, что они больше не представляют единства.

Центральная часть книги посвящена краткому, но ясному изложению учения и деятельности православия сравнительно с Западом, а последняя — попыткам воссоединения. Не совсем логично она начинается с обозрения современного экуменического (вселенского) движения, за чем следует описание 400-летних попыток сблизить православие с англиканством, при чем С. Америка рассматривается, как «место встречи» разъединенных христиан в обстановке взаимного уважения. В заключение, рассматриваются возможные пути примирения востока и запада. Автор проводит ту мысль, что к настоящему времени окончательно осознана невозможность полного слияния двухсот с лишним ветвей христианства в едином исповедании веры. Поэтому усилия переносятся всё больше и больше с проблемы — в чем состоят разногласия — на те положения, которые принимаются всеми или почти всеми. Как и многие другие авторы, Н. Зернов как будто колеблется между сознанием, что воссоединение в сущности недостижимо, и надеждой на то, что оно всё-таки состоится.

Книгу с интересом прочтут даже лица, которым проблемы религии вообще чужды.

Н. С. Тимашев

АНДРЕЙ СЕДЫХ. «ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ». Изд. «Нового Русского Слова», Нью-Йорк, 1962.

После прочтения этой живо и талантливо написанной книги, кажется, что посетил редкую портретную галлерею. Здесь едва ли не каждый портрет по-своему единственен. Автор как бы застиг врасплох и спас от забвения, сохранив для истории литературы многие факты из жизни и творчества выдающихся деятелей русской культуры, с которыми он встречался.

«Это не биографии и не опыт литературной или какой-либо иной характеристики. Это личные воспоминания, только то, что я видел и слышал», — пишет Андрей Седых в предисловии к книге.

Надо признать, что Андрею Седых посчастливилось видеть и слышать много интересного: А. И. Куприн, Максимилиан Волошин, Осип Мандельштам, М. А. Алданов, К. Д. Бальмонт, А. М. Ремизов, Ф. И. Шаляпин, С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, В. Л. Бурцев. Каждому из этих, по-своему выдающихся людей автор посвящает отдельный очерк. Только два очерка стоят как бы особняком: «О трех юмористах» (Дон Аминадо, Саша Черный, Н. А. Теффи) и «Монпарнасские тени» (Борис Поплавский, Довид Кнут и др.).

Андрей Седых не только хороший наблюдатель: от впечатлений и наблюдений он умеет перейти к верным и ценным обобщениям. Его книга «Далекие, близкие» — это, в сущности, книга о последней горестной фазе творчества некоторых представителей русского дореволюционного искусства. Правда, не все люди, о которых пишет Седых, стали эмигрантами. Волошин и Мандельштам, остались в СССР и там умерли. Но большинство описываемых автором русских выдающихся людей искусства — Бунин, Шаляпин, Рахманинов, Ремизов, Куприн, Глазунов и другие — ушли на Запад, спасая свободу своего творчества от партдиктатуры и антикультуры.

«Есть вещи, которые следует опубликовать, ибо советские литературоведы теперь стараются превратить многих выдающихся русских эмигрантов, упорно не желавших вернуться на родину, в «советских патриотов». Закрывать на эти факты глаза, или продолжать их замалчивать, значит не понять до конца горькую судьбу людей, уже далеких, но еще близких нам», — пишет Андрей Седых.

В самом деле, критика в Советском Союзе теперь умышленно сглаживает, например, «конфликты» между коммунистическим режимом и Буниным, Шаляпиным, Глазуновым, Рахманиновым. А эти «конфликты» были весьма глубоки и заставили этих выдающихся русских людей умереть вне родины. Значение книги «Далекие, близкие» в том, что Андрей Седых, на большом, хорошо документированном материале, показывает, как сильно было это неприятие партийной директивы и антикультуры под знаком серпа и молота. Его не могла одолеть даже естественная тоска по родине.

«И. А. Бунину, — пишет Андрей Седых, — предлагали, в случае возвращения в СССР, богатую, обеспеченную жизнь. Только прочитав письма, в которых он рассказывает о своей «нищей старости», становится понятно, как велик подвиг писателя, обрекшего себя на моральные и физические лишения во имя сохранения лич-

ной свободы». По России сильно тосковал не один Бунин. «Разлуку с родиной Рахманинов переживал очень мучительно, — читаем мы в книге «Далекие, близкие», — когда Рахманинов говорил о России, взгляд его становился пристальным, в нем загорался какой-то огонь, и временами ему трудно было сдержать слезы. Его трижды звали вернуться в Россию. Он трижды отказался».

Свой отрыв от родины, вынужденную разлуку с русской почвой болезненно переживали едва ли не все, о ком так тепло и интересно пишет Андрей Седых. Но вернулись немногие — среди них больной, престарелый, уже переставший писать Куприн. Об этом Седых говорит так:

«Вспоминаю я один разговор в Париже на похоронах писателя-эмигранта. Похороны были бедные, грустные. Пришло особенно мало людей, — и на обратном пути Александр Иванович вдруг взял меня под руку, вид у него был очень несчастный.

— Умирать нужно в России, дома, — сказал он тихо. — Так же, как лесной зверь, который уходит умирать в свою берлогу».

После Октябрьской революции, ставшей катастрофой для русской духовной культуры, образовались два русла, некогда единого русского искусства: в России и в рассеянии. Книга Андрея Седых почти вся — именно о тех, кто ушел в рассеяние. И интересно то, что за последнее время в Советском Союзе происходит признание и, так сказать, «посмертная реабилитация» именно этих, сохранивших свою творческую свободу мастеров русского искусства. Так, вслед за Рахманиновым и Глазуновым, был «прощен» Шаляпин, о мастерстве которого пишутся книги и говорят с благоговением. Признали и оценили и Нобелевского лауреата Ивана Бунина, популярность которого, как классика русской прозы, растет в Советском Союзе из года в год. При этом есть, конечно, сознательное стремление, как бы развенчать эмигрантский период деятельности реабилитированных мастеров. В своей же книге «Далекие, близкие» Андрей Седых, напротив, убедительно показывает, что эмигрантский период творчества многих мастеров русского искусства был периодом их больших художественных достижений.

Жаль, что ценной книге Андрея Седых, в некоторых очерках не хватает объективности. Это относится, например, к очеркам о таких писателях, как Зинаида Гиппиус и Д. Мережковский. И Гиппиус, и Мережковский и были и остаются большими писателями. И те анекдоты о них, которые приводит Андрей Седых звучат ненужно. Вряд ли можно согласиться и с оценкой поэтов Довида Кнута и Бориса Поплавского. Первая, нам кажется преувеличен-

ной, вторая же — умаляющей несомненное дарование Поплавского, который заслуживает и более чуткой и более высокой оценки.

В целом интересная книга «Далекие, близкие» является несомненным вкладом в русскую зарубежную литературу.

Вяч. Завалишин

ГРИГОРИЙ АРОНСОН. *Россия накануне революции.* Нью-Йорк. 1962.

Новая книга Г. Я. Аронсона «Россия накануне революции» — это сборник исторических очерков о больших политических событиях в России последних десяти лет до революции. В книге — семь очерков: «Загадка убийства Столыпина», «Большевистский Азеф, Роман Малиновский — агент Ленина и департамента полиции», «Монархия в годы войны», «Распад старого режима», «Масоны в русской политике», «Русский либерализм и революция» и последний очерк «Социалисты в России и в эмиграции в предреволюционные годы». Автор приводит много фактов, неизвестных широкому читателю.

В очерке «Загадка убийства Столыпина» Аронсон ставит вопрос, кто убил царского премьер-министра: агент департамента полиции или революционер-террорист? Как известно, убийца Столыпина — Дмитрий Богров, бывший анархист, был агентом охранного отделения. На основании ряда документов Аронсон показывает, что к убийству Столыпина, несомненно, было причастно и царское охранное отделение. Этого же мнения придерживается и дочь покойного премьер-министра, М. П. Бок, которая об этом говорит в своих воспоминаниях, опубликованных несколько лет тому назад Чеховским издательством. Попутно, в этом очерке Аронсон убедительно показывает всю неосновательность многих утверждений А. В. Зеньковского в его книге «Правда о Столыпине».

В очерке «Большевистский Азеф» рассказана история Романа Малиновского, бывшего лидера большевистской фракции в четвертой Государственной Думе, возглавлявшего одно время всё большевистское движение в России. В то же время Малиновский, в течение ряда лет, состоял платным агентом департамента полиции. Кандидатура Малиновского в члены Государственной Думы от рабочих Москвы была выдвинута Лениным и поддержана директором департамента полиции Белецким. Раскол социал-демократической фракции Государственной Думы в 1913 г. был произведен Малинов-

ским по инструкции Ленина и... Белецкого. Меньшевики давно подозревали Малиновского в провокации, а после его внезапного ухода из Думы без объяснения причин, меньшевистские лидеры Ю. О. Мартов и Ф. И. Дан, жившие тогда в Петербурге, открыто выступили с этими обвинениями и требовали партийного суда над Малиновским, но Ленин от имени своего ЦК объявил Мартова и Дана «грязными клеветниками», реабилитировал Малиновского и от имени партии было дано ручательство за «политическую честность Малиновского». После того, как Малиновский сложил свои полномочия члена Думы, он, получив шесть тысяч рублей своего годового жалованья от департамента полиции и заграничный паспорт, поехал к Ленину в Галицию. Что произошло тогда между ними неизвестно и вряд ли когда-либо станет известно. Из рассказа Бухарина, опубликованного после смерти Ленина в одном из сборников «О Ленине» (которого Аронсон, повидимому, не читал) видно, что Малиновский тогда рассказал Ленину всю правду о себе и что Ленин, после этого, «всю ночь не спал», расхаживая по комнате и обдумывая, что ему делать? Бухарин тогда ночевал у Ленина в нижней комнате, спальня Ленина была наверху, как раз над комнатой, в которой спал Бухарин. После долгого раздумья, Ленин решил, что Малиновский может ему еще пригодиться и продолжал его защищать (об этом Бухарин умолчал). Малиновский потом уехал в Россию, был мобилизован на войну и скоро попал в плен к немцам. Оттуда, при содействии германских военных властей, он вступил в переписку с Лениным и вел пораженческую большевистскую пропаганду среди русских военно-пленных. Осенью 1918 г. Малиновский вернулся в Россию, и был предан суду Верховного Революционного Трибунала. Ленин присутствовал на суде. Малиновский произнес шестичасовую речь. Он был присужден к расстрелу. Протоколы суда никогда не были опубликованы, как не опубликовано и письмо Малиновского к Ленину, в котором он просил сохранить ему жизнь. В ночь с 5-го на 6-е ноября 1918 г. приговор Верховного Трибунала был приведен в исполнение. Очерк о Малиновском, в котором много места также уделено роли департамента полиции и провокации в истории большевистской партии, как и очерк об убийстве Столыпина, прекрасно документирован и читается с большим интересом.

В очерках «Монархия в годы войны» и «Распад старого режима» автор показывает, как между 1905 годом и войной 1914 года Россия стремительно шла вперед по пути общественного и экономического расцвета и культурного подъема. Революция, пишет Аронсон, вовсе не была неизбежна. Но война 1914 года, «поражения на фронтах, рост безтоварья, спекуляция и дороговизна в ты-

лу, напряженное политическое положение, борьба распутинских правительств с Государственной Думой, скандал с военным министром Сухомлиновым, толки о том, что царь собирается заключить сепаратный мир с Германией и об измене в недрах правительства — всего этого, было достаточно, чтобы создать атмосферу приближающейся катастрофы». Причем на этом фоне выросла и зловещая фигура Распутина. Вопрос об отстранении царя и царицы в общественных кругах возникал не раз в 1916 и в начале 1917 г. Аронсон цитирует мемуары А. И. Гучкова: «Если бы не вспыхнула революция, — пишет Гучков в своих воспоминаниях, — наш план (отстранения царя и царицы) был бы, вероятно, приведен в исполнение. Царский поезд должен был быть захвачен ночью. Царь должен был отречься в пользу наследника. Соответствующие манифесты должны были быть заранее заготовлены. Если бы государь отказался отречься, тогда нас бы, вероятно, арестовали и повесили. Дворцовый переворот был единственным средством спасения России и династии».

К очерку о Малиновском отчасти примыкает и очерк «Социалисты в России и в эмиграции». В нем тоже много рассказано о деятельности Ленина, о том, как в годы после окончательного поражения революции в 1907 г. с Лениным порвали наиболее выдающиеся большевики, известные литераторы и партийные деятели (А. А. Богданов, Луначарский, Базаров, Покровский, Горький, Рожков, Алексинский, Станислав Вольский, Рыков, Красин и др.). В 1911 г. Ленин и его небольшая группа в эмиграции, по словам старых большевиков, «была почти одинока». «Это одиночество, пишет Аронсон, возрастало с каждым днем». Но это не совсем верно. Начиная с 1912 г. и кончая августом 1914 г. большевистское влияние в петербургском и всероссийском рабочем движении *возрастало* с каждым днем. Отход от Ленина и большевиков в России начался опять только во время войны. Но *в эмиграции* Ленин и в годы войны не был так уж изолирован. Помимо своей тесной группы, он имел довольно влиятельных союзников в лице редакторов и сотрудников парижской газеты «Наше слово», так наз. «интернационалистов» (Троцкий, Мартов, Мартынов, Луначарский, Рязанов, М. Павлович, Рафаил Григорьев, Семковский, Мануильский, Лозовский, Коллонтай, Покровский и др). К 1916 г. ежедневная социалистическая русская газета в Америке «Новый Мир» также стала органом «циммервальдистов» — большевиков и меньшевиков-«интернационалистов». С конца 1916 г. и до отъезда их в Россию в конце марта 1917 г. «Новый Мир» редактировали Бухарин и Троцкий. О различных течениях среди русских социалистов в Америке в очерке Аронсона нет ни слова, а между тем, «американ-

цы», т. е. русские сторонники Ленина, Бухарина и Троцкого, вернувшиеся после февральской революции из Америки в Россию, сыграли большую роль в первоначальный период большевистской революции (Чудновский, Володарский, Пионтковский, Мельничанский, С. Зорин, Фишелев, Ник. Янышев, Восков, Минкин и др.). Оборонческому движению *в России* автор уделяет очень мало места, хотя оно было доминирующим среди соц.-демократов и эсеров, живших в России.

В очерке «Русский либерализм и революция» Аронсон интересно, хотя довольно схематически, излагает историю русского либерализма и причины его исторической неудачи. На мой взгляд автор недостаточно оценил громадную роль, сыгранную либералами во всех четырех Государственных Думах и роль либеральной печати в деле политического воспитания народных масс. Русский либерализм вовсе не умер «естественной смертью», как это утверждают большевики и крайне-правые.

Очерк «Масоны в русской революции» наименее документирован. О масонах и их роли в революции в русской печати писали люди или явно враждебные масонству и революции или же журналисты, слышавшие о масонстве с чужих слов. Никто из бывших активных русских масонов до сих пор, к сожалению, не опубликовал свои воспоминания. В очерке Аронсона интересны выдержки из писем Е. Д. Кусковой к Н. В. Вольскому и к Л. О. Дан о масонах. Е. Д. Кускова и ее муж С. Н. Прокопович, как известно, были деятельными масонами. Из этих писем мы узнаем, что русское масонство ничего общего с заграничным масонством не имело. Возникло оно после революции 1905 г. Цель масонства была политическая. Е. Д. Кускова формулирует ее так: «восстановить в этой форме «Союз Освобождения» и работать в подполье на освобождение России. Почему выбрали такую форму? Чтобы захватить высшие и даже придворные круги. На простое название политическое они бы не пошли. Людей высшего общества было *много*. Были и военные высокого ранга... Движение это было огромно. Везде были свои люди». Это письмо Кусковой чрезвычайно интересно.

Говоря в этом очерке о том, что никто в России революцию 1917 г. не ждал и не предвидел, Аронсон пишет: «Накаиуне февраля 1917 года никто не ожидал революции и не верил в ее близость. Сколько бы большевики ни рассказывали о «железных батальонах», которые подготовили революцию, — на деле ни у большевиков, ни у меньшевиков, ни у эсеров не было ни одного сколько-нибудь серьезного подпольного центра, который ориентировался бы на близкую революцию и который мог бы ей в какой-то мере содей-

ствовать. Ни революционных армий, ни вождей, у революции не было».

В этом Аронсон вполне согласен с мнением В. А. Маклакова, который в своей работе о Первой Государственной Думе, пишет: «...не либеральная общественность и не революционные партии вызвали революцию. Ее подготовили непосильная тяжесть войны и ошибки потерявшей голову власти».

Книга Г. Я. Аронсона интересна для широкого круга читателей. Всякий, интересующийся историей русской революции и большевизма, прочтет ее с пользой.

Д. Шуб

АРТУР ДЖ. ГОЛДБЕРГ. АФТ-КПП.: Рабочее единство. Издательство Фредерика Прегера. Нью-Йорк, 1962. Перевод с английского Б. Прянишникова.

Книга Артура Голдберга, быв. министра труда в правительстве Кеннеди, вышла на английском языке в 1956 году, вскоре после слияния главных организаций американского рабочего движения — Американской Федерации Труда и Конгресса Производственных Профсоюзов. В первой главе А. Голдберг объясняет, что взялся за этот труд для того, чтобы ответить на недоуменные вопросы, возникшие перед американским общественным мнением после подписания в феврале 1955 года соглашения о слиянии рабочих федераций: 1) Не поведет ли это слияние к образованию могучего монополистического «лейбористского» движения? 2) Не превратится ли объединенная федерация в рабочую партию британского образца? 3) Нет ли у рабочего движения, помимо чисто профессиональных интересов, каких-либо тайных программ и целей?

На эти вопросы А. Голдберг отвечает в 13 главах своей книги. Он начинает с истоков американского рабочего движения — с местного юнионизма; затем описывает промежуточные стадии — Национальный Союз Профсоюзов, Национальный Рабочий Союз, Орден Рыцарей Труда, Федерацию Организованных Ремесленников — и, наконец, Американскую Федерацию Труда, из которой, в порядке раскола, в свое время выделился Конгресс Производственных Профсоюзов.

Три главы этой книги посвящены расколу, междуусобной борьбе и многократным попыткам примирить цеховой юнионизм с юнионизмом производственным. Начало тридцатых годов было отмечено ростом промышленности массового производства и, следовательно, по-

явлением специфических интересов у рабочих, занятых в этих отраслях. Но руководство АФТ, придерживаясь традиционных взглядов цехового юнионизма, не отвечало на пожелания некоторых рабочих лидеров, стремившихся к созданию, в рамках АФТ, производственных профсоюзов. Из этих разногласий вырос острый конфликт, приведший к образованию в 1935 году новой федерации — Конгресса Производственных Профсоюзов. В новую федерацию, организованную по производственному признаку, влились такие мощные рабочие организации, как Союз объединенных рабочих автомобильной промышленности, Союз горнорабочих, Союз работников швейной промышленности и ряд других.

В течение двадцати лет раскола делалось не мало попыток для его преодоления. Но до 1955 года все эти попытки были неудачны. Немалое значение имело и взаимное отталкивание возглавителей обеих федераций — Вильяма Грина и Джона Льюиса.

Понадобились время и смена возглавления обеих федераций, прежде чем призывы к единству постепенно вылились в конкретные шаги по пути к слиянию федераций.

Двойственность в названии федерации после слияния в 1955 году отражает две разновидности американского юнионизма и служит как бы гарантией сохранения каждым из них своих специфических привилегий и соответствующей каждому сферы деятельности. Кстати, это подчеркивает и устав новой федерации, разбору которого автор посвящает тоже три главы.

На вопрос о том, не превратится ли объединенная федерация в рабочую партию, А. Голдберг отвечает исчерпывающе. Американский юнионизм есть прежде всего экономический юнионизм. Его главная деятельность — в обеспечении членам профсоюзов наиболее высокой оплаты и лучших условий труда. И здесь его поле сражения — стол для переговоров с предпринимателями по вопросу о заключении коллективного договора. Что же касается политических интересов рабочего движения, то они сводятся преимущественно к тому, чтобы через лидеров профсоюзов влиять на Конгресс, добиваясь улучшений рабочего законодательства. Такой ответ равносилен признанию, что чуждое социалистическим теориям американское рабочее движение никак не претендует на какую-то ломку или перестройку американского демократического общества. В рамках свободной экономики сильные профсоюзы достаточно эффективно обеспечивают экономические интересы своих членов.

Менее убедительна глава девятая этой книги, посвященная монополии профсоюзов. Несмотря, казалось бы, на «блеск аргументации», остается сомнение в том, что современные американские профсоюзы

не представляют собой монопольных организаций, властвующих на многих рынках труда.

Очень интересна следующая глава, десятая, о коммунизме и коррупции в профсоюзах. Как свидетельствует А. Голдберг, американское рабочее движение справилось с коммунистами в своей среде, сведя почти на-нет их влияние на рабочих.

Двенадцатая глава, посвященная общественно-политическому курсу АФТ-КПП, ярко говорит о методах, какими профсоюзы пользуются для достижения своих целей. Эти методы сильно отличаются от методов европейских профсоюзов, часто действующих через социалистические и рабочие партии. Не возражая против методов своих западно-европейских коллег, американское рабочее движение считает, что «в течение примерно 165 лет своей эволюции этот путь для него был наилучшим».

В заключение отметим обилие и разнообразие собранного в книге материала. А. Голдберг много лет связан с рабочим движением. Он был долгое время главным юрисконсультом Профсоюза Объединенных рабочих сталелитейной промышленности и главным юрисконсультом Конгресса Производственных Профсоюзов. Американское рабочее движение и его руководителей автор знает отлично. Поэтому его анализы исчерпывающи и, в меру сил человеческих, объективны. Каждый, интересующийся социальной жизнью США, прочтет эту книгу с интересом и пользой. Книга хорошо переведена.

М. К.

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

ГЕН.-ЛЕЙТ. А. Г. ШКУРО. *Записки белого партизана.* Изд-во «Сеятель». Буенос-Айрес. 1961 (286 стр.).

ЧТЕЦ-ДЕКЛАМАТОР. Изд-во Н. Н. Мартьянова. Нью Иорк. 1962 (462 стр.).

САУЛ К. ПАДОВЕР. *Джеферсон.* Жизнь и идеи великого американца. Перев. В. Гессена. Изд.-во Фредерик Прегер. 1962 (308 стр.).

ВЛАДИМИР ДУКЕЛЬСКИЙ. *Послания.* Стихи. Мюнхен. 1962.

Н. ГРАДОБОЕВ. *Десталинизация.* Разоблачения XXII съезда КПСС. Изд-во ЦОПЭ. Мюнхен. 1962 (106 стр.).

ГРИГОРИЙ АРОНСОН. *Россия накануне революции.* Исторические этюды. Нью Иорк. 1962 (202 стр.).

«МОСТЫ». Лит.-худ. и общ. альманах. № 9. Мюнхен. 1962 (285 стр.).

МУЗА ДИАСПОРЫ. *Избранные стихи зарубежных поэтов.* 1920-1960. Под ред. Ю. К. Терапиано. Изд-во «Посев». Франкфурт 1962.

Л. РЖЕВСКИЙ. *Язык и стиль романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго».* Институт по изучению СССР. Мюнхен. 1962 (82 стр.).

ЛЕОНИД ГАНСКИЙ. *На весу.* Стихи. Париж. 1962 (63 стр.).

ФЕДОР КУБАНСКИЙ. *Степи привольные, кровью залитые.* Историч. роман в 6 частях. Издание автора. Патерсон. 1962 (287 стр.).

И. ГУАДАНИНИ. *Письма.* Стихи. Мюнхен. 1962.

ЛОЛЛИЙ ЛЬВОВ. *Fiorenzia.* Стихи. 1956-57. Мюнхен. 1957.

ЛОЛЛИЙ ЛЬВОВ. *Царица.* Поэма о Москве первой половины 17 века. Мюнхен. 1958.

ЛОЛЛИЙ ЛЬВОВ. *Странствия.* 1938-1957. Стихн. Мюнхен. 1958.

ФЕДОР СТЕПУН. *Встречи.* Достоевский. Л. Толстой. Бунин. Зайцев. В. Иванов. Белый. Леонов. Товарищество зарубежных писателей. Мюнхен. 1962 (202 стр.).

ПСАЛТИРЬ. *На славянском и русском языках.* Ватнканская типография. Рим. 1950 (496 стр.).

Creating a Role by Constantin Stanislawski. Foreword by R. Lewis. Translated by Elizabeth Reynolds Hapgood. Theatre Arts Books. N. Y. 1962 (p. 271).

ALEKSANDER BLOK. *Between Image and Idea by F. D. Reeve.* Columbia University Press. New York and London. 1962 (pp. 268).

THE FIRST REVISIONISTS. *A Study of "Legal Marxism" in Russia by Richard Kindersley.* Clarendon Press. Oxford. 1962 (pp. 260).

VLADIMIR MARKOV. *The Longer Poems of Velimir Khlebnikov.* University of California Press. Berkeley and Los Angeles. 1962.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

ПЛАЧ О ЕСЕНИНЕ

Поэма

Изд-во «Мост» Цена 1 дол.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

1943-1958
СТИХИ

Вступительная статья **Романа Гуля**

Издание «Нового Журнала» Цена 2 дол.

А. И. ГЕРЦЕН

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА
к Н. И. и Т. А. Астраковым

Приготовил к печати **Л. Л. Домгер**

Издание «Нового Журнала» Цена 1 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ

СКИФ В ЕВРОПЕ

(Бакунин и Николай 1-й)

Издательство «Мост» Цена 2 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ

АЗЕФ

Исторический роман

Издательство «Мост» Цена 3 д. 50 ц.

Эти книги можно заказывать в редакции «Нового Журнала». Можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового Журнала» за исключением № 1—№ 9. До № 25 книги стоят 2 дол. (10 центов пересылка), начиная с книги № 26 — 2 долл. 25 цент. (10 центов пересылка).

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1962 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 дол. 25 цент.

Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня